№18(664)·1970

РЭМАН ГАЗЕТА

АЛЕКСАНДР ЧАКОВСКИЙ

БЛОКАДА

АЛЕКСАНДР ЧАКОВСКИЙ

У каждого писателя, как бы разнообразно ни было его творчество, есть излюбленная тема, с которой он входит в литературу, привнося свое видение мира. Для Александра Борисовича Чаковского такой темой давно стали героические дела тружеников первого города Революции, города Ленина.

И это не случайно. Его многое связывает с Ленинградом.

В годы Отечественной войны, будучи корреспондентом, он принимает участие в обороне города. На его глазах свершаются исторические события, и Чаковский пишет о них — и по горячим, как говорится, следам (первая книга известной трилогии „Это было в Ленинграде" выходит в свет в 1944 году), и тогда, когда страна возвращается к трудовым будням (две другие книги трилогии: „Лида" и „Мирные дни"). В этих произведениях он как бы начинает исследовать истоки народного подвига, истоки социальные и нравственные, которые лежат в характере советского человека.

В повестях и романах „У нас уже утро", удостоенном Государственной премии СССР (1950), „Год жизни" (1957), „Дороги, которые мы выбираем" (1960), „Свет далекой звезды" (1963), „Невеста" (1966) раскрываются новые черты дарования писателя: стремление к большим полотнам, глубоким социальным и психологическим обобщениям.

Новый роман Александра Чаковского „Блокада" — это широкое эпическое повествование, посвященное Великой Отечественной войне.

В первой книге, которая была издана „Роман-газетой" в минувшем году, много страниц отводит автор и предвоенным событиям. Совещание военных в Кремле с участием Сталина, визит Молотова в Берлин, тревожная обстановка на границе — от картины к картине, от главы к главе растет драматизм и напряженность сюжета книги. Автор то переносит действие из Москвы в Берлин, перебрасывает нас в логово Гитлера, то в Ставку советского Верховного главнокомандования, то вновь возвращает на улицы Ленинграда.

Повествуя о преступном нападении фашистов на Советский Союз, Чаковский впечатляюще передает массовый героизм наших людей, их страстное стремление дать достойный отпор врагу. Запоминаются образы героев романа; вместе со старым архитектором Валицким, рабочим-большевиком Королевым, майором Звягинцевым мы размышляем о высоком долге гражданина, волнуемся, любим и ненавидим.

Во второй книге мы опять встречаемся с теми же действующими лицами, но уже в более сложной обстановке. Чаковский рассказывает о первых военных неделях ленинградцев, о том, как мужали и крепли они в борьбе. Неотвратимостью справедливого возмездия дышат страницы книги.

На Лужском рубеже фашисты временно остановлены. Гитлеровский майор Данвиц, привыкший к мысли о непобедимости созданной фашизмом военной машины, не может смириться с тем, что его „доблестный" танковый батальон разгромлен. Мы присутствуем при разговоре Данвица с Гитлером, этим кровавым маньяком двадцатого века, и снова перед нами вскрывается страшная человеконенавистническая сущность фашизма.

Выразительно написан эпизод, повествующий о встрече Сталина с Гопкинсом, личным посланником президента США. Может быть, не столь подробно, как хотелось бы, но все же достаточно ясно и ярко раскрыты двойственность и непоследовательность политики англо-американских союзников.

Глубоким содержанием наполнены страницы, рассказывающие о прибытии в Ленинград маршала Г. К. Жукова в самые трудные для фронта и города дни.

Роман „Блокада" во многом публицистичен, публицистичен в самом лучшем смысле этого слова. Перед нами художник, страстно борющийся за победу коммунистических идеалов. Мягко, с любовью рисует он образы советских людей — мужественных, смелых, а в сущности, простых людей труда: рабочих, военных, инженеров, партийных работников. Но автор находит едкие, убийственно разящие эпитеты для характеристики противоположного, фашистского лагеря.

У Александра Чаковского как у писателя всегда было обостренное чувство времени. Новый роман его служит благородной цели воспитания советских людей.

АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ

РОМАН-ГАЗЕТА
ОСНОВАНА В 1927 г.
№ 18 (664)
1970
ИХЛ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА

АЛЕКСАНДР ЧАКОВСКИЙ

БЛОКАДА

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

Глава I

В жаркие, раскаленные летним солнцем июньские дни 1941 года Советская Армия вела тяжелые оборонительные бои по всему широкому фронту от Балтийского до Черного моря.

Высшее командование немецких вооружённых сил по два раза в день торжествующе сообщало затаившему дыхание, ошеломленному, со страхом пытающемуся предугадать свою судьбу миру о продвижении немецких армий в глубь советской территории. Но оно утаивало при этом, что впервые с начала второй мировой войны немецкие войска встретили на своем пути ожесточенное и с каждым днем все усиливающееся сопротивление.

До сих пор казалось, что нет на земле силы, способной противостоять немецкой армии. Она уже господствовала в Австрии, Чехословакии, Норвегии, Бельгии, Голландии, Греции и Югославии. Уже почти два года над поверженной Варшавой развевалось фашистское знамя со свастикой, чем-то похожей на корчившегося в муках человека. Такое же страшное полотнище реяло на самом высоком флагштоке Европы — Эйфелевой башне.

Пройдут годы и десятилетия, и люди начнут анализировать причины молниеносных побед гитлеровской армии. Они будут спорить о том, в каких случаях решающую роль сыграла ее подлинная мощь, в каких — трусость и предательство тех, кто в эти трагические годы стоял во главе подвергшихся нападению государств.

Но факт остается фактом: никто не смог оказать врагу действенного, решающего сопротивления. И когда в июне 1941 года оберкомандовермахт под аккомпанемент военных маршей, в которых, казалось, слышалось неотвратимое движение немецких войск — танков Гудериана, Хепнера и Манштейна, лязг гусениц, топот армейских сапог и гул самолетов люфтваффе, — сообщало о продвижении своих войск в глубь советской территории, миллионам потрясенных, запуганных и обманутых людей нашей планеты казалось, что нет такой силы, которая сможет остановить немцев на пути к мировому господству.

В те дни трудно было предположить, что пройдет меньше месяца с начала вторжения фашистских войск на советскую землю, и начальнику генерального штаба сухопутных войск гитлеровской армии Францу Гальдеру, с механической пунктуальностью заносящему в свой дневник события каждого дня войны, придется сделать первую роковую запись: «Мы недооценили силу русского колосса не только в сфере экономики и транспортных возможностей, но и в чисто военной...»

Но об этой записи Гальдера станет известно гораздо позже. И пройдут еще долгие годы, прежде

чем другой немецкий военачальник, фельдмаршал Эвальд фон Клейст, в беседе с английским военным историком Лиддл Гартом признается, что «уверенность Гитлера в победе была во многом связана с надеждой на то, что немецкое вторжение вызовет политический переворот в России...». Фон Клейст говорил это не без основания, ибо накануне вторжения Гитлер хвастливо заявил своему верному Йодлю: «Нам достаточно стукнуть в русскую дверь, и вся их социальная система немедленно развалится...»

Но в те жаркие июньские дни 1941 года, когда солнце заслонялось дымом пожарищ, когда короткие ночи разрывались языками пламени подожженных врагом советских городов и деревень, — в те дни немецкие военные сводки сообщали лишь об успехах. В сводках мелькали километры победно пройденного пути, названия населенных пунктов, перечислялись трофеи...

В этих сводках не говорилось о том, что на Украине советские войска сорвали немецкий план стремительного прорыва к Киеву. Не сообщалось, что неколебимо стояла осажденная Брестская крепость, что захваченный немцами Перемышль был отбит Красной Армией. Они, эти сводки, молчали о том, как героически сдерживали натиск врага четыре советские дивизии в Минском укрепленном районе, как стартовали в бессмертие летчики, таранившие вражеские самолеты...

И все же враг наступал. Для немцев это были дни опьянения успехами, ощущения близкой победы. Ничто: ни отчаянное сопротивление советских войск, ни замедлившееся на некоторых участках необъятного Восточного фронта продвижение немецких армий — не принималось тогда во внимание.

Уверенность в том, что практически Советский Союз и его армия уже разбиты, владела Гитлером и его генералами.

Все окна многокомнатного железобетонного бункера, в котором располагался Гитлер, выходили на север — фюрер не любил солнечного света. Он был рад, что солнце редко проникало сюда, в чащу дремучего Растенбургского леса, где находилась тщательно засекреченная ставка главнокомандования немецкими вооруженными силами.

Впрочем, Гитлер редко называл себя главнокомандующим, хотя специальным приказом и объявил себя таковым, одновременно ликвидировав военное министерство. Это звание казалось ему слишком обычным, будничным, земным, подобно таким, как «президент» или «рейхсканцлер».

То, что даже Наполеон, единственный человек в современной истории, которому, по мнению Гитлера, на какие-то мгновения удалось наиболее близко подойти к той цели, к которой ныне стремился он сам, — стать властителем мира, — не устоял и присвоил себе традиционный титул императора, умаляло его в глазах немецкого диктатора. Сверхчеловек, полубог не должен быть падким на звания, доступные простым смертным.

Слово «фюрер» казалось Гитлеру более значительным, всеобъемлющим, выделяющим его из всех сильных мира сего — королей, президентов и фельдмаршалов, поскольку он вкладывал в него понятие власти не только земной, обычной, но и мистической, право не только командовать людьми, но и быть властителем их сердец и мыслей.

По этой же причине военная резиденция Гитлера в Восточной Пруссии, в Растенбургском лесу, именовалась в официальных документах не просто «ставкой главнокомандования», а «ставкой фюрера»; сам же Гитлер предпочитал называть ее мрачно-романтически: «Вольфшанце» — «Логово волка».

Бетонные бункера — одноэтажные сооружения с бомбоубежищами под ними — много месяцев строились специальной «организацией Тодта». Сам Гитлер придирчиво обсуждал с Тодтом его проекты, поскольку считал себя не только выдающимся художником, похоронившим свой талант ради более великой цели, но и первым архитектором Германии.

Перед войной он был обуреваем идеей построить новые Мюнхен и Нюрнберг, города — памятники национал-социализму, а также создать новую столицу Германии вместо Берлина, климат которого ему не нравился. Ни одно сколько-нибудь значительное публичное здание не могло быть возведено в Германии без предварительного одобрения фюрера.

В Берлине, в новой имперской канцелярии, у Гитлера была специальная комната, где стоял стол, заваленный архитектурными проектами, в которых безвкусно сочетались модернизм и классика, «ампирность» и средневековая готика.

Гитлер был уверен, что создает особый стиль архитектуры, соответствующий идеям «нового порядка». Он не раз хвастливо заявлял, что если его проекты будут воплощены в жизнь, то эти сооружения переживут Парфенон и Колизей, и в течение тысячи лет люди будут восхищаться ими.

И тем не менее не просто стремление создать свой, «новый», архитектурный стиль вдохновляло Гитлера в его «творчестве». Его и здесь опьяняла власть, возможность мановением руки, по своему капризу изменять облик зданий и целых городов, разрушать их или возводить новые.

«Вольфшанце» было очередным детищем Гитлера. Готовясь развязать войну на Востоке, о которой он мечтал годами, к которой вожделенно призывал еще в книге, продиктованной им Гессу во время совместного тюремного заключения в 1924 году, Гитлер уже окончательно перестал считать себя простым смертным. Подобно богу Одину, он должен был иметь свою Валгаллу. И если Гитлер не мог создать ее на небесах, то лесные чащи и недра земли были к его услугам. Так в Восточной Пруссии появилось «Вольфшанце».

Сюда трудно было проникнуть настоящему волку и еще труднее — человеку. Вновь проложенные дороги, ведущие к Растенбургскому лесу, были перекрыты многочисленными шлагбаумами, явными и тайными, хорошо закамуфлированными заставами, от которых по обе стороны тянулось несколько рядов колючей проволоки под электрическим током высокого напряжения.

Для того чтобы проникнуть в ту зону лагеря, где в бетонных бункерах и деревянных строениях размещались квартиры штабных офицеров, канцелярии, залы для различных заседаний, узлы связи, столовые и гостиницы, где останавливались вызываемые в ставку офицеры, генералы и партийные функционеры, надо было многократно предъявлять пропуска. Для прохода же в «зону безопасности № 1», где помещался бункер Гитлера, постоянных пропусков не существовало вообще. Они менялись почти ежедневно, и, кроме того, каждый незнакомый охранникам из «лейбштандарта» фюрера человек, невзирая на пропуск, подвергался обыску.

Гитлер сам установил, где и как должны в Растенбургском лесу располагаться члены его штаба.

Только адъютанты Гитлера и его «особоуполномоченные по государству, партии и вермахту» жили в «зоне безопасности № 1». Впрочем, для одного офицера, невысокого по званию, Гитлер сделал исключение: им был подполковник Шерф, историограф, — ни одно событие, происходившее по воле фюрера, не должно было быть потерянным для потомков.

Даже Геринг, которого сам Гитлер объявил «вторым лицом» в государстве, был вынужден обосноваться отдельно. Впрочем, привыкшего к роскоши рейхсмаршала это только радовало. Он оборудовал командный пункт военно-воздушных сил по своему вкусу близ Ангенбурга, тоже в лесу, в нескольких десятках километров от «Логова».

День и ночь между Берлином и «Вольфшанце» курсировали поезда и самолеты, поскольку министерство иностранных дел и все остальные министерства и даже командование военно-морскими силами оставались в Берлине.

Лишь высшие руководители армии и военно-воздушных сил находились там, в Растенбургском лесу. Разделенные «зонами безопасности», они ежедневно сходились в бункере Гитлера. Дважды в день собирались они на совещания, чтобы неторопливо подсчитать, сколько уже по их приказу убито людей, сколько сожжено городов и деревень и сколько километров чужой земли вспахано артиллерийскими снарядами и авиационными бомбами.

Этот лагерь, окруженный колючей проволокой, с радиально расходящимися от него асфальтированными дорогами, телефонными и телеграфными проводами был похож на гигантскую паутину. И на северном краю этой паутины сидел чудовищный паук — человек с непропорционально длинным туловищем, короткими ногами, вытянутым худощавым лицом, на котором запоминались лишь прядь волос, закрывающая часть и без того маленького лба, и тускло-стальные, злые глаза. Сюда, к нему, сходились все основные нити, здесь располагались главные рычаги той огромной и безжалостной машины, которая называлась Третьим рейхом.

В тот день, как обычно, в десять часов утра штурмбаннфюрер СС Гейнц Линге, выполнявший обязанности личного лакея фюрера, постучал в дверь спальни. Гитлер проснулся не сразу — страдающий бессонницей, он, даже приняв сильную дозу снотворного, с трудом засыпал лишь под утро.

Как обычно, в первые минуты после пробуждения Гитлер находился в состоянии апатии. Чтобы прийти в привычное возбужденно-деятельное состояние, он проглотил две таблетки кофеина, запив их оставшимся в стакане с вечера настоем ромашки, и принял очень горячую ванну.

Завтрак — стакан молока, кусочек мармелада и две булочки — уже ждал его в спальне на столе. Здесь же лежала вчерашняя вечерняя сводка сообщений иностранных агентств и печати, подготовленная Риббентропом и переданная в «Вольфшанце» ночью из Берлина.

Гитлер жадно пробежал глазами сводку, прихлебывая из стакана молоко. Все обстояло прекрасно. Не только газеты Европы, но и печать Соединенных Штатов Америки были заполнены сообщениями о победном продвижении немецкой армии в глубь Советского Союза. Ни одной статьи, выражающей сомнение в успехе похода против России. Спорят лишь о сроках ее падения.

Чтение сводок опьяняло Гитлера. Он вообще все эти дни находился в состоянии некоей эйфории. Она начиналась вскоре после того, как фюрер разделывался с остатками своего тяжелого сна, и неизвестно, что больше способствовало ей — кофеин и горячая ванна или чтение сводок Риббентропа и утренние военные совещания.

Прочитав сводки, Гитлер подошел к висевшей на стене карте.

Скрупулезно расчетливый, держащий в своей болезненно развитой памяти номера дивизий, фамилии их командиров и названия захваченных населенных пунктов, Гитлер в то же время любил отдаваться во власть апокалиптических химер, вызывать в своем воображении картины невиданных сражений, представлять себе, как миллионы немецких солдат шагают по колено во вражеской крови, грохот немецких танков заглушает все иные звуки на земле, а армады немецких самолетов заслоняют бескрайнее небо.

В те дни Гитлеру казалось, что все подтверждает сверхчеловеческую точность его расчетов, связанных с ходом войны на Востоке.

Все шло согласно разработанному плану, войска противника отступали под мощными танковыми и авиационными ударами немецких вооруженных сил, и мысль о необходимости принятия новых стратегических решений, которые дадут возможность выиграть войну даже быстрее, чем предполагалось, стала неотступно преследовать Гитлера.

При составлении плана «Барбаросса» вопрос о том, куда направить удар после выхода немецких войск на линию Западная Двина — Днепр, — на север или в центр, на Москву, остался открытым.

• Генеральный штаб склонялся ко второму варианту, полагая, что с падением советской столицы война будет победоносно окончена. Гитлер же, планируя захват и уничтожение Москвы как завершающий аккорд войны, считал, что этому должны предшествовать решающие победы на севере и на юге. Только тогда падение советской столицы будет иметь не только символическое, но и реальное значение.

Но в декабре 1940 года, когда составлялся план «Барбаросса», этот вопрос был еще неактуален, и Гитлер отложил его окончательное решение. Теперь же, когда Германия находилась накануне победного завершения первого этапа рассчитанной всего лишь на несколько недель войны, Гитлер вновь вернулся к своей старой идее. Ему нужна была крупная победа, — не просто километры захваченной земли, но овладение таким городом, таким центром России, падение которого имело бы не только большое стратегическое значение, но и парализовало бы волю врага к сопротивлению, сломило бы его моральный дух. И теперь Гитлер опять склонялся к мысли, что таким городом должен стать Петербург (фюрер и его генералы называли Ленинград не иначе, как Петербургом).

Снова и снова Гитлер вызывал в своем воспаленном воображении этот город, который он никогда не видел воочию, но представлял себе по фильмам, фотографиям, книжным гравюрам.

Ему уже виделись флаги со свастикой на шпилях Петропавловской крепости, Адмиралтейства, на ростральных колоннах. Он видел шеренги немецких солдат, шагающих в торжественном марше по Дворцовой площади этого обреченного города, да, да, именно обреченного, потому что затем он должен быть разрушен, русское «окно в Европу», самонадеянно прорубленное Петром, наглухо забито, колыбель большевизма превращена в прах, в пепел... Балтийское море должно стать немецким!

Во всех своих расчетах Гитлер не принимал во внимание ни мощь Красной Армии, ни волю советского народа к сопротивлению. Но он хорошо усвоил одну из аксиом военной стратегии: нельзя быть сильным везде. Это означало, что на участке фронта, признанном в данный момент решающим, необходима максимальная концентрация войск.

Для того чтобы захватить Петербург, войска фон Лееба должны быть усилены. Но за счет кого? Бока? Или Рунштедта? Но тогда замедлятся темпы продвижения на Украине. С другой стороны, если усиленные армии Лееба смогут захватить Петербург в кратчайший срок, то перекинуть высвободившиеся войска на юг можно будет за считанные часы и дни. Итак, на север или на юг — вот в чем заключался вопрос, который занимал Гитлера в течение последних суток и который звучал в его ушах непрерывно и сейчас, когда он в пижаме и ночных туфлях стоял, устремив пристальный взгляд на карту.

Без двадцати двенадцать Гитлер начал одеваться. Свежая рубашка (он сильно потел и поэтому менял рубашки три раза в день, хотя говорил, что делает это, осуществляя мечту тех лет, когда был беден: достигнув высокого положения, иметь несколько дюжин рубашек), френч с Железным крестом I класса на груди рядом с бронзовым значком за ранение, галстук, булавка-заколка с нацистской эмблемой, красная нарукавная повязка с белой свастикой — все это было приготовлено для фюрера еще с раннего утра.

Когда ровно в двенадцать Гитлер, последний раз оглядев себя в зеркале и по давней привычке положив отделанный перламутром маленький пистолет «вальтер» в задний карман брюк, появился на пороге своего кабинета, все, кому надлежало присутствовать, были уже в сборе: командующий сухопутными войсками Германии Браухич, начальник штаба верховного командования Кейтель, начальник штаба сухопутных войск Гальдер, начальник штаба оперативного руководства, который фактически являлся и личным штабом фюрера, Йодль, адъютанты фюрера, историограф Шерф, офицеры из оперативного управления и разведки. Несколько в отдалении сидел Гиммлер. Он, как правило, в военных совещаниях не участвовал, но сегодня, приехав из Берлина, чтобы повидать фюрера, присутствовал тоже. Не было только Геринга: он опаздывал.

Все эти люди, собравшиеся для очередного подведения итогов начавшейся совсем недавно грандиозной битвы, объединенные жаждой власти над миром, испытывали тщательно скрываемую неприязнь друг к другу. Браухич, кадровый военный, офицер генерального штаба в первой мировой войне, опытный штабист, но отнюдь не полководец по своим способностям, и Гальдер, претендующий на роль главного стратега восточной кампании, — оба они с затаенной неприязнью относились к Йодлю, безвестному артиллерийскому генералу, выскочке, пользующемуся особым доверием фюрера. С другой стороны, Йодль и Браухич не любили Гальдера, высокомерного баварца, попавшего на высокий пост, который ранее традиционно занимали пруссаки. И все трое с завистью и тщательно скрываемым высокомерным презрением относились к Кейтелю, этому «связному фюрера», передававшему его указания, которые Гитлер легко мог бы давать как Браухичу, так и Гальдеру непосредственно.

Втайне не любили друг друга и адъютанты Гитлера — краснолицый, огромный обергруппенфюрер Брюкнер, претендующий на старшинство, поскольку он сидел вместе с Гитлером в ландсбергской тюрьме, мрачный, постоянно носящий черную форму СС Шауб, Фегелейн, получавший одно за другим военные звания с тех пор, как женился на сестре Евы Браун, тайной любовницы фюрера. И все они втайне завидовали «шеф-адъютанту» подполковнику Шмундту и презрительно относились к ныне отсутствующему Данвицу, променявшему, как им казалось, близость к фюреру на военную карьеру.

Рейхсфюрер СС Гиммлер, тихий, вежливый человек с блеклым, невыразительным лицом, терпеть не мог Геринга. Всячески афишируя свой аскетизм, спартанский образ жизни, он в душе завидовал Герингу, который мог позволить себе опоздать на совещание у фюрера, завидовал, поскольку этот жирный, плотоядный боров был назначен фюрером «вторым лицом в государстве».

В воспаленном мозгу шефа гестапо постоянно роились кровавые планы, и он был уверен, что никто, кроме него, не в состоянии столь глубоко проникнуть в замыслы фюрера и успешно их реализовать. Воображение Геринга казалось Гиммлеру слишком бедным, а страсть рейхсмаршала к обжорству, любовь к побрякушкам, шумная, наглая манера держаться раздражали

его. Что же касается генералов, то рейхсфюрер СС, убежденный в том, что обладает талантом полководца, и считающий себя способным занять самый высокий командный пост в армии, испытывал к ним естественную нелюбовь.

И все эти люди, вместе взятые, боясь признаться в этом даже самим себе, неприязненно относились к Гитлеру.

Это была особая, до времени ни в чем реальном не проявляющаяся неприязнь, особая потому, что причиной ее были не какие-то существенные разногласия, а неудовлетворенное тщеславие, мысль, что другой, а не он, пользуется большей благосклонностью фюрера.

Не любил их и сам Гитлер. Кейтеля он считал бездарным полководцем, Гальдеру внутренне не доверял, хотя тот без конца афишировал свое «национал-социалистское мышление», не доверял из-за его претензий на роль «главного стратега». Подозрительно относился Гитлер и к профессиональному военному Браухичу, потому что вообще сомневался в благонадежности старого, кадрового офицерства, хотя оно лезло из кожи вон, чтобы доказать свою преданность.

Противоречивые чувства испытывал Гитлер и к Герингу, где-то в тайниках подсознания не прощая ему популярности среди нацистов, смутно подозревая, что властолюбие этого человека в решающий момент может возобладать над преданностью фюреру.

И тем не менее все эти люди, объявившие совесть и мечту о человеческом равенстве химерой, сделавшие насилие и убийства главным средством достижения своих целей, снедаемые честолюбием, завидующие друг другу и раболепствующие перед Гитлером, — эти люди в те дни были едины в своих помыслах и поступках. Ибо тогда им казалось, что цель, которую они вынашивали годами, уже близка.

Итак, ровно в полдень Гитлер появился на пороге своего кабинета и, небрежно махнув рукой с чуть откинутой ладонью, предложил вскочившим со своих мест за длинным, устеленным картами столом генералам и офицерам садиться.

Он скользнул недовольным взглядом по пустующему креслу главнокомандующего военно-воздушными силами, подошел к торцу стола и, опершись о края его руками, негромко, но повелительно сказал:

— Гальдер!

Начальник штаба сухопутных войск поднялся со своего места.

— Мой фюрер, — начал Гальдер, — наш расчет полностью себя оправдал, фактор внезапности нашего вторжения, несомненно, еще долго будет сказываться на действиях русского командования. По моему мнению, русские вообще не в состоянии организовать оперативное противодействие нашему наступлению. Повсюду, где противник пытался оказать сопротивление, мы откинули его и с боями продвигаемся вперед. Таким образом, путь нашим подвижным соединениям открыт.

— Говорите конкретнее, — сказал, почти не разжимая своих тонких губ, Гиммлер.

Однако Гитлер, недовольный тем, что кто-то, кроме него, позволяет себе прерывать докладчика, бросил:

— Дальше!

— Разрешите начать с действий группы армий «Центр», — продолжал Гальдер. — Несомненно, в ближайшие же дни нашим войскам удастся полностью разбить силы противника, сконцентрированные между Минском и Смоленском. Я уверен, что...

— Мой фюрер, — снова прервал Гальдера Гиммлер, на этот раз обращаясь уже непосредственно к Гитлеру, — мы располагаем сведениями, что отдельные русские соединения и части проявляют упорство.

— Разумеется, — осторожно согласился Гальдер, — такие случаи имеют место. Обреченность порождает отчаяние, которое, в свою очередь, толкает людей на поступки, трудно объяснимые с точки зрения логики и здравого смысла. Наши преимущества в количестве войск, видах вооружения и компетентности руководства столь велики, что русским следовало бы попросту сложить оружие. Однако отчаяние толкает их на сопротивление даже тогда, когда превосходство наших сил несомненно.

— Я уверен, — снова вмешался Гиммлер, — что несколько сотен дополнительно расстрелянных или повешенных комиссаров, причем, — я подчеркиваю это, — повешенных на глазах пленных русских солдат или населения, значительно уменьшило бы упорство русских.

Он откинулся на спинку кресла, блеснув стекляшками пенсне.

— Гиммлер прав, — заметил Гитлер, в котором склонность стравливать своих ближних сотрудников взяла верх над недовольством, вызванным вмешательством Гиммлера. — Дальше!

Гальдер почтительно наклонил голову.

— Таким образом, возвращаясь к положению на фронте группы «Центр»...

Он продолжал свой доклад, с трудом выговаривая непривычные названия местностей и населенных пунктов, называл номера дивизий и фамилии командиров...

Но Гитлер уже не слушал Гальдера. Ему достаточно было знать, что наступление развивается успешно. Он уже принял решение, которое через несколько минут объявит собравшимся.

И как обычно, когда Гитлер принимал то или иное решение, он стал думать о форме, в которую его облечет.

Что это будет — приказ, резкий и короткий, как выстрел, или речь, начатая издалека?..

Он размышлял. До него по-прежнему доносились какие-то цифры и названия, он рассеянно следил за движением остро отточенного карандаша, которым Гальдер время от времени делал отметки на карте, и предвкушал момент, когда, выслушав до конца доклад, произнесет слова, следствием которых будет то, что тысячи немецких солдат, сотни тяжелых орудий изменят свое направление, подчиняясь воле фюрера. И во всех штабах, начиная от батальонных и кончая генеральным, операторы склонятся над картами, торопливо нанося новые линии и стрелы...

Он снова прислушался к словам Гальдера и вдруг, вопреки своему первоначальному намерению дослу-

шать доклад до конца, не в силах противостоять охватившему его возбуждению, прервал начальника штаба:

— Почему вы начали свое сообщение с центральной группировки? Я хочу знать, что происходит на севере. Как обстоят дела у Лееба?

Гальдер покорно склонил голову в знак готовности немедленно перейти к военным событиям на севере, поспешно перелистал несколько листков с отпечатанным текстом в своей папке, которую держал перед глазами.

— Наступление на севере, мой фюрер, имеющее своей целью соединение с финскими войсками и захват Петербурга, успешно продолжается на всем фронте! — произнес он, чуть повысив голос, и после секундной паузы уже тише добавил: — За исключением Двести девяносто первой дивизии, наступающей на Либаву.

Гитлер удивленно приподнял брови, его усики чуть дернулись.

— Дело в том, — поспешно продолжал Гальдер, — что на участке этой дивизии русские предприняли контратаки. Их не удалось пока выбить из города. Что касается усиленного правого крыла группировки фельдмаршала фон Лееба, то здесь удалось продвинуться к Укмерге...

Он опустил папку, взял карандаш и сделал на большой, занимающей всю середину стола карте отметку.

— Полагаю необходимым доложить, — сказал Гальдер, не отрывая взгляда от карты, — что на этом участке фронта русские сражаются упорно...

— Глупости, — неожиданным фальцетом крикнул Гитлер, — вы говорите глупости, Гальдер! Всем известно, что русские отступают по всему фронту, по всему! Они не способны даже на планомерное отступление, а вы говорите о каких-то контратаках! И вообще, какое значение могут иметь эти контратаки, если нам хорошо известно, что полное отсутствие крупных оперативных резервов начисто лишает русское командование возможности эффективно влиять на ход боевых действий!

Гитлер умолк, тяжело дыша. Его совершенно не беспокоили все эти контратаки, он не придавал им никакого значения. Он просто был зол на Гальдера за то, что тот своим неуместным замечанием об упорстве русских помешал ему использовать эффектный момент для объявления своих новых решений.

— Если мне будет разрешено заметить, — сказал молчавший до сих пор Кейтель, вынимая из глазной впадины монокль и держа его большим и указательным пальцами правой руки, — то из всех сосредоточений русских войск на севере, которые, разумеется, нет никаких оснований считать сколько-нибудь серьезными резервами, нам в настоящее время неясно местонахождение лишь псковской танковой группы русских. По данным разведки, ее на прежнем месте нет. Возможно, она переброшена в район...

Он выпустил монокль, который повис на черном шелковом шнурке, взял карандаш, склонился над картой и, проведя по ней жирную линию, сказал:

— Вот сюда. В район между Шауляем и рекой Западной Двиной. Полагаю, — снова выпрямляясь и вскидывая монокль, продолжал он, — если бы действия нашей авиации...

Но Кейтелю не удалось закончить свою мысль, потому что в этот момент раздался громкий, раскатистый возглас:

— Кто это позволяет себе говорить о люфтваффе в сослагательном наклонении?!

Все взоры обратились в сторону двери. На пороге стоял Геринг, огромный, толстый, пухлощекий. В руках он держал папку из красной сафьяновой кожи.

Геринг с самодовольно-наглой улыбкой оглядел присутствующих, вскинул правую руку и прогрохотал:

— Хайль, мой фюрер! Прошу простить за опоздание. Я немедленно оправдаюсь.

Затем он кивнул остальным и широким шагом, позвякивая шпорами, подошел к своему незанятому креслу, одиноко стоящему метрах в двух от того места, где находился Гитлер. Легкий запах духов пронесся по комнате.

Присутствующие едва заметно переглянулись. Нельзя сказать, что костюм Геринга — авиационный китель в сочетании с сапогами из красной кожи и золотыми шпорами — поразил их. Геринг вообще одевался экстравагантно, все уже привыкли видеть рейхсмаршала, министра и главнокомандующего военно-воздушными силами Германии, премьер-министра Пруссии, начальника прусской полиции, президента рейхстага, главного лесничего рейха и, что самое важное, официального преемника Гитлера то в черном шелковом двубортном фраке в сочетании с голубыми брюками, то в белом габардиновом кителе со множеством орденов и золотых нашивок и в кавалерийских брюках, заправленных в сапоги с лакированными голенищами. Иногда он носил им самим придуманную форму главного лесничего, сшитую по средневековой моде, — кожаная жилетка, перепоясанная широким ремнем, на котором болтался большой охотничий нож.

— Мой фюрер, я принес фотографии, которые вас, несомненно, заинтересуют. Перед вами — различные районы Петербурга, которые удалось сфотографировать моим летчикам. Если вы внимательно присмотритесь и сравните вот с этими снимками мирного времени, то увидите, что целые участки города меняют свое лицо из-за камуфляжа. В Петербурге идет лихорадочное строительство, там роют щели и траншеи. Теперь обратите внимание вот на эти фотографии. Здесь засняты подступы к Петербургу с юга. За исключением передвижения войсковых колонн вы не отметите здесь ничего необычного. Таким образом, в Петербурге, судя по всему, готовятся к нашим воздушным рейдам, но опасности с юга не ожидают. Если бы наша войсковая и агентурная разведка работала лучше, мы, несомненно, имели бы подтверждение тому, что я сказал. Это все, что я хотел доложить, мой фюрер. Простите за опоздание, — я ждал снимки.

Кейтель, Йодль, Гальдер и Гиммлер переглянулись. Никто из них не верил в то, что Геринг опоздал именно из-за этих фотографий. Просто рейхсмаршал, очевидно, слишком долго выбирал себе форму или задержался во время помпезной церемонии, каждый

раз сопровождавшей отправление четырехвагонного, выкрашенного в белый цвет дизельного поезда, в котором дважды в день он прибывал из своей ставки в «Вольфшанце».

Но как бы то ни было, рейхсмаршал знал, что делает. На его выпад по адресу сухопутной разведки можно было не обращать внимания, — в конце концов каждый из руководителей родов войск редко упускал возможность подчеркнуть свою наилучшую осведомленность в намерениях противника. Но в данном случае Геринг, несомненно, преследовал более серьезные цели. Он хорошо знал, что в штабе сухопутных войск зреет намерение предложить фюреру, в связи с несомненным отставанием фронта южнее припятских болот, рассмотреть возможность поворота основных сил от центра на юг.

Формально для такого предложения у генерального штаба были все основания, поскольку в свое время вопрос о направлении главного удара после завершения первого периода войны оставался нерешенным. Но каждый, кто общался с фюрером в эти дни, знал, что он, опьяненный первыми успехами, снова вернулся к идее, которую высказывал, еще когда составлялся план «Барбаросса», — о броске на север.

И вот теперь Геринг явно решил «подыграть» Гитлеру, лишний раз доказать, что мыслит так же, как фюрер.

Но разумеется, никто не высказал вслух своих сомнений, ибо все знали влияние Геринга, а также и то, что его широкая, такая добродушная улыбка может мгновенно уступить место беспощадному волчьему оскалу. Тем более что сам Гитлер с явной заинтересованностью рассматривал фотографии.

Наконец он оторвал свой взгляд от снимков и медленно произнес:

— Несомненно, с Петербургом надо кончать. И как можно скорее...

— Прикажите, мой фюрер, — воскликнул Геринг, — и завтра армады люфтваффе...

— Несколько позже, Геринг, — прервал его Гитлер. Он уже решил приурочить массированную бомбежку Ленинграда к моменту, когда войска будут готовы взять город штурмом.

Геринг слегка развел руками (блеснули многочисленные кольца и перстни на толстых пальцах), давая понять, что для его авиации нет ничего недоступного, хотя приказ фюрера является для него законом. Звеня шпорами, он сел в кресло и с самодовольной улыбкой обвел взглядом присутствующих.

Однако улыбка мгновенно исчезла с лица Геринга, как только он встретился взглядом с Гиммлером. Губы рейхсфюрера СС были тесно сжаты, бесцветные глаза иронически щурились за круглыми стеклами пенсне. Вот так же щурились они несколько месяцев тому назад, когда Гиммлер после одного из налетов англичан на Берлин сказал в присутствии Гитлера со сладкой улыбкой на лице:

— Если память мне не изменяет, Геринг, вы обещали фюреру, что ни одна ласточка не перелетит Ла-Манш без разрешения люфтваффе.

Тогда Геринг здорово отбрил его. Ответил:

— Если память мне не изменяет, мой Гиммлер, в свое время вы обещали фюреру, что некий Димитров будет говорить на суде то, что нужно, чего бы это вам ни стоило...

«Проклятый иезуит, грязный птичник!» — мысленно произнес сейчас Геринг.

Бывший летчик, один из немецких асов в первой мировой войне, он не мог примириться с тем, что человек, некогда разводивший птиц на своей ничтожной ферме, ныне занимал почти равное с ним положение в государстве.

Геринг много лет тесно сотрудничал с Гиммлером, они вместе и в полном согласии разрабатывали план поджога рейхстага и все последовавшие за этим операции: уничтожение коммунистов, арест Тельмана, еврейские погромы...

Но, будучи с давних пор связанным с Гиммлером кровавой порукой, Геринг не любил его, слегка боялся и в конечном итоге презирал.

Не любил и боялся потому, что хорошо знал дьявольское честолюбие шефа гестапо, его нежелание примириться с тем, что не он, а другой был назначен фюрером «вторым человеком в государстве», знал его изощренную страсть к интригам и заговорам. Презирал потому, что, в отличие от него, Геринга, человека земного, любящего женщин, драгоценности, деньги, хорошую еду, псовую охоту, Гиммлер всегда подчеркивал свой аскетизм.

Это было непонятно, чуждо Герингу: зачем же тогда жить, если не для того, чтобы заполучить в свои руки все богатства мира, самые крупные бриллианты, самые дорогие картины, самых красивых женщин?

Геринг мысленно усмехнулся, вспоминая, как однажды осадил этого пуританина в своем охотничьем замке под Берлином. Ведь Гиммлер явно хотел ему польстить, когда, остановившись у одной из картин, воскликнул:

— Какая прекрасная копия знаменитого Рубенса, Геринг!

— Копия? Это и есть знаменитый Рубенс, мой Гиммлер! — услышал он в ответ...

Впрочем, в самом главном их страсти совпадали. Они оба любили властвовать, оба ни в грош не ставили человеческую жизнь, оба испытывали наслаждение, планируя «акции», предусматривающие истребление сотен, тысяч, десятков тысяч людей...

Геринг лениво опустил веки. Ему вдруг стало скучно. Он мысленно перенесся в одну из своих резиденций — ту, что принадлежала ему как премьер-министру Пруссии. Он представил себе, что сидит в своем любимом кресле из черного мореного дуба за огромным резным столом, украшенным массивными серебряными подсвечниками, в окружении картин, доставленных сюда из знаменитых музеев покоренной Европы, редчайших книг из десятков библиотек разных стран и любуется развешанной на стенах коллекцией отделанных золотом средневековых мечей.

«Что ж, — подумал Геринг, — очень скоро я пополню свои коллекции. Судя по репродукциям, в ленинградском Эрмитаже есть кое-что заслуживающее внимания...»

Но в этот момент голос Гитлера оторвал его от приятных мыслей:

— Сегодня, после того, как стало ясно, что война с Россией практически выиграна, я хочу объявить вам свое важное решение относительно дальнейшего хода операций...

Он произнес эти слова медленно, по очереди вглядываясь в лица присутствующих.

— Я объявляю первоочередной задачей овладение Финским заливом, с тем чтобы обеспечить свободное плавание по Балтийскому морю. Очевидно, если к середине июля мы займем Смоленск, то Москва окажется в наших руках не раньше августа. Но еще до этого Лееб должен захватить Петербург и очистить весь север.

Гитлер сделал паузу и остановил свой колючий взгляд на Гальдере.

Генерал ощутил внутреннюю дрожь. Манера Гитлера останавливать свой взгляд на тех, кто придерживается иного, чем он сам, мнения, была хорошо известна начальнику штаба сухопутных войск. Разумеется, фюрер помнил, что в свое время он, Гальдер, предлагал основной удар направить непосредственно на Москву.

— Нам нужен сейчас Петербург, именно Петербург, в первую очередь! — громко и, как всегда в таких случаях, опьяняясь собственными словами, произнес Гитлер. — Нам нужен Финский залив, Балтийское море. Но дело не только в этом. Нам необходимо как можно скорее соединиться с финнами и обеспечить левый фланг для наступления на Москву...

Говоря это, Гитлер не сводил своего взора с Гальдера до тех пор, пока тот не опустил голову.

— ...Однако, — удовлетворенно произнес Гитлер, отводя взгляд от начальника штаба и переводя его на Браухича, который, как он знал, придерживался той же, что и Гальдер, точки зрения, — я не уверен в том, что войск, имеющихся у Лееба, будет достаточно для выполнения поставленной мной задачи...

Теперь настала очередь Браухича покорно склонить голову. Он схватил карандаш и стал поспешно делать заметки в блокноте.

— ...Поэтому,—продолжал Гитлер, глядя в пространство, поверх голов присутствующих, — на вечернем заседании Браухич доложит о возможностях усиления группировки Лееба за счет армий «Центр». Особое внимание следует обратить на скорейшее снабжение танковых групп воспламеняющейся смесью для огнеметных танков. А теперь запишите мой приказ, Йодль. Кейтель, карту!

От неожиданности этого резкого, командного окрика монокль выпал из глазной впадины фельдмаршала. Он вскочил, как школьник при вызове строгого учителя, и услужливо, обеими руками передвинул карту Северного фронта ближе к Гитлеру.

— Итак, — торжественно объявил Гитлер, — фон Леебу немедленно форсировать наступление. Подтянуть подвижные соединения сюда, — он ткнул пальцем в карту, — и продвинуть танковый корпус Рейнхардта на Екабпилс. Подвижным соединениям Хепнера выделить заслон для прикрытия Крустпилса — вот здесь, — он сделал ногтем отметку на карте, — и начать стремительное наступление на Остров и Плескау. Как это называется по-русски? Псков? Таким образом, советские войска в Прибалтике будут отрезаны и падение Петербурга станет фактом ближайших дней. Вопросы?..

В течение какого-то времени длилось молчание. Затем Гальдер неуверенно сказал:

— Это даже не вопрос, мой фюрер... Я не знаю, можем ли мы быть убеждены, что наступление на Петербург будет продолжаться теми же темпами, что и сегодня. Несомненно, что рано или поздно русские поймут наш замысел...

— Фантазия, Гальдер! — крикнул Гитлер. — Русские в Петербурге во власти своих традиционных представлений о противнике и ждут основного удара с севера, со стороны Финляндии. И кроме того, что они могут сделать?! Путь к Петербургу с юга для нас открыт! Почти треть всех наших войск мы бросим на Петербург!

И Гитлер, ударив ладонью по карте, резким движением отодвинул ее в сторону.

Глава II

— ...Что же, следовательно, мы знаем о противнике?.. — негромко и не то спрашивая, не то размышляя вслух, произнес после долгой паузы Жданов. — Известно, что немцы наступают силами двух армий — Шестнадцатой и Восемнадцатой. Правильно, товарищ Евстигнеев?

— Так точно, — ответил начальник разведывательного отдела штаба фронта комбриг Евстигнеев, небольшого роста, светловолосый, лобастый человек лет сорока. Он только что закончил свой доклад и все еще стоял, не отрывая взгляда от лежащей перед ним на столе разведывательной карты.

— Нам пока что неизвестны ни численность этих армий, — продолжал Жданов, — ни номера частей, ни вооружение. А все это нам знать необходимо, и как можно скорее!

Евстигнеев слегка развел руками.

— Мы предпринимаем все возможные меры. Вчера заслали дополнительно наших людей с радиосредствами в районы соприкосновения противника с войсками Северо-Западного фронта. Аналогичные меры приняты по линии НКВД.

Жданов нажал кнопку звонка и сказал вошедшему дежурному секретарю:

— Попытайтесь еще раз соединить меня с Северо-Западным фронтом. С командующим. Используйте все средства военной и гражданской связи.

— Плохо получается, товарищи, очень плохо! — сказал Жданов, когда секретарь вышел.

Все молчали, потому что собравшиеся в кабинете Жданова люди — секретарь горкома Васнецов, командующий Северным фронтом — так стал теперь называться Ленинградский военный округ — Попов, его заместитель Пядышев, начальник штаба Никишев, его заместитель Королев, начальник разведотдела Евстигнеев и начальник инженерных войск Бычевский — сказали уже все, что могли.

Было ясно одно: наступающие на северо-западном направлении немецкие войска имеют несомненное численное превосходство, и части Красной Армии, обороняющие Прибалтику, несмотря на отчаянное сопротивление, не выдерживают их рассекающих ударов.

Из далеко не полных данных, полученных из Разведывательного управления Генштаба, а также из штаба Северо-Западного фронта, связь с которым отсюда, из Ленинграда, уже к вечеру первого дня войны стала крайне неустойчивой, вытекал другой грозный факт: немцы обходят прибалтийскую группировку советских войск с юго-востока; стремясь отрезать ее от остальных частей Красной Армии, они форсировали Западную Двину и движутся к Пскову.

На финской границе пока спокойно. Но сколько времени продлится это спокойствие? Часы? Дни?..

Было также известно, что на Крайнем Севере стоит, готовая к прыжку, немецкая армия «Норвегия», включающая в себя и финские соединения. Ей противостоит наша 14-я армия. Следовательно, ее трогать с места нельзя.

К северу и западу от Ладожского озера и Карельского перешейка сосредоточились две финские армии. Им противостоят 7-я и 23-я наши армии. Значит, связаны и они.

И кто знает, что предпримут в эти часы и дни немцы? Высадку десантов? Массированные воздушные налеты на Ленинград? Намерен ли враг ограничиться разгромом прибалтийской группировки и сосредоточить основной удар в центре фронта — на Москву? Или лавина немецких войск продолжит свое движение с юга на север, то есть непосредственно к Ленинграду?

Таков был главный, неумолимый вопрос, который возникал сейчас перед каждым, кто сидел в кабинете секретаря ЦК и Ленинградского обкома партии Жданова за этим длинным, узким столом для заседаний, покрытым тяжелым темно-зеленым сукном. И никто из них не мог ответить на этот и многие другие вопросы, касающиеся ближайших намерений противника.

Они не могли ответить на эти вопросы, потому что меньше недели прошло с того дня, как началась война, и требовалось время, чтобы точно определить, с какими силами врага на том или ином участке гигантского фронта приходится иметь дело.

Но тем не менее никто из присутствующих не сомневался в том, что необходимо принять экстренные меры на случай, если немцам удастся и в дальнейшем развивать свое наступление.

Еще накануне возвращения Жданова члены Военного совета решили внести предложение, не предусмотренное мобилизационным планом, предложение, которое не только накануне войны, но и в первые часы после того, как она разразилась, могло бы показаться необоснованным и даже паническим.

Это предложение было решено высказать Жданову на первом же заседании Военного совета с его участием.

И вот теперь, когда каждый из находящихся в этой комнате людей внутренне решил, что не уйдет, пока не выскажет того, что считает сейчас самым главным, они ждали, что же скажет Жданов.

Но Жданов молчал...

Этот невысокий человек с одутловатым, болезненного цвета лицом, на котором выделялись своим живым блеском умные карие глаза, вообще ничего не делал поспешно.

Многие из людей, знавших Жданова не близко, считали его, в отличие от Васнецова, человеком спокойным, никогда не теряющим равновесия, и самому ему очень хотелось не только казаться, но и быть именно таким. Однако на самом деле Жданов был человеком горячим, вспыльчивым и безмерно требовательным и к себе и к людям.

Именно эта требовательность заставляла его в полной мере сознавать ту величайшую меру ответственности за Ленинград, за миллионы живущих в городе людей, которая лежала на нем лично.

И вот теперь, в те долгие минуты, когда всем собравшимся здесь людям казалось, что Жданов просто ждет, когда его соединят с командующим Северо-Западным фронтом, он напряженно размышлял о том, какое единственно правильное решение следует принять перед лицом грозных фактов.

Именно Ленинграду совсем недавно, во время войны с Финляндией, пришлось в течение нескольких месяцев быть не только прифронтовым городом, но и тем центром, из которого осуществлялось непосредственное руководство боями на Карельском перешейке. Поэтому теперь, когда началась большая война, Жданов с особой остротой ощутил нависшую над страной опасность.

По дороге в Ленинград из Сочи, где его застала война, Жданов остановился в Москве, чтобы заехать в Кремль. Сталин показался ему спокойным и уверенным, хотя с нескрываемой горечью говорил о том, что врагу удалось в первые часы войны уничтожить много наших самолетов непосредственно на аэродромах. В его голосе проскальзывали тревожные нотки, когда он касался положения на Минском направлении. Тем не менее, судя по всему, Сталин не сомневался, что в ближайшие дни общая ситуация на фронте резко изменится к лучшему. О судьбе Ленинграда вопрос вообще не поднимался, поскольку бои шли в Прибалтике и городу еще ничего не угрожало.

Но за то короткое время, что прошло с момента беседы Жданова со Сталиным, многое изменилось. И Жданов, с одной стороны все еще находящийся под впечатлением этой беседы, а с другой — под воздействием новых, неотвратимо надвигающихся грозных событий, сейчас думал о том, какое же решение, вытекающее из этих событий, следует принять.

Молчали и все остальные. Прежде чем внести то важное предложение, о котором договорились накануне приезда Жданова, они хотели быть уверенными, что секретарь ЦК и обкома партии, член Военного совета фронта высказал все, что имел им сообщить.

Однако молчание затянулось, и, когда наконец дверь распахнулась и в комнату снова вошел дежурный секретарь, все присутствующие невольно с облегчением вздохнули.

Секретарь поспешно пересек большой кабинет, подошел к Жданову и, чуть наклонившись, сказал вполголоса, но так, что слышали все:

— Удалось соединиться. Но командующего в штабе нет. Отвечают, что генерал в войсках и связь с ним в настоящее время установить невозможно.

В первое мгновение людям показалось, что Жданов

не слышит обращенных к нему слов, потому что какое-то время он сидел по-прежнему неподвижно, чуть опустив голову.

Затем он сказал:

— Хорошо. Спасибо. Идите.

Резко поднял голову, нахмурился, точно упрекая самого себя за столь долгое молчание, и твердо проговорил:

— Итак, товарищи, запомним главное: юг может стать для нашего фронта важнейшим театром военных действий. Следовательно, подробные данные о группировке немцев, наступающих на Остров, должны быть получены нами как можно скорее. И еще...

Жданов помедлил немного и продолжал:

— Будем говорить прямо: на сегодняшний день к встрече врага на юге мы, ленинградцы, еще не подготовлены. Не только с военной точки зрения, но и психологически. Мы всегда ждали потенциального противника с севера. Боюсь, что сегодня кое-кто видит в этом факте повод для внутреннего самооправдания. Я думаю, что с этим надо кончать. На объективные причины можно было ссылаться в мирное время... А сейчас нужно исходить из реального положения дел, нужно действовать.

Он снова умолк. И хотя никто из присутствующих на эти объективные причины вслух не ссылался, каждый из них понимал, что Жданов прав. Утешать себя мыслью, что никто не виноват в том, что враг появился там, где его не ждали и не могли ждать, то есть с юга, было сейчас не только бесполезно, но и вредно, потому что дело теперь заключалось не в оправданиях, не в чьем-то личном престиже, но в страшной, хотя еще и отдаленной угрозе, нависающей над городом.

Именно об этом думал и командующий фронтом Попов, слушая Жданова.

Он понимал, что совещание близится к концу, что сейчас Жданов предложит всем разойтись, потому что через час в его кабинете должно начаться совещание секретарей райкомов, к которому еще необходимо подготовиться.

Но именно это обстоятельство и тревожило Попова. Тревожило потому, что никто из присутствующих, в том числе и он сам, так и не высказал еще Жданову того важного предложения, с которым было решено обратиться к нему, как только он вернется в Ленинград и ознакомится с положением дел. Об этом же думал начальник инженерных войск фронта полковник Бычевский. Эти же мысли владели и заместителем начальника штаба полковником Королевым. Его длительный военный опыт, участие в финской кампании подсказывали ему, что Ленинград может оказаться перед лицом серьезной опасности. И готовый сурово подавить любое проявление панических настроений, он считал своим долгом до конца настаивать перед командованием на том, что ему, кадровому командиру и коммунисту, казалось нужным для пользы дела.

Но сейчас молчал и Королев, мысленно ругая себя за то, что годами воспитанное в нем, кадровом военном, чувство субординации не позволяло ему опережать своих непосредственных начальников на столь ответственном совещании.

И вот теперь, когда Королев едва сдерживал себя, чтобы не заговорить, а Попов с тревогой думал о том, что с минуты на минуту Жданов закроет совещание, и внутренне уже был готов взять слово, раздался голос Васнецова.

— Андрей Александрович, — произнес он, слегка наклоняясь к Жданову и выдвигая вперед свои узкие, острые плечи, — не знаю, удалось ли вам встретить в Москве Мерецкова, — он прибыл сюда в качестве представителя Главного командования в воскресенье двадцать второго и был вызван обратно в Москву в понедельник, — но перед отъездом Кирилл Афанасьевич высказал одно важное соображение, которое мы считаем необходимым вам доложить.

Васнецов произнес все эти слова быстро, как бы не подчеркивая их чрезвычайного значения.

— Какое предложение? — настороженно спросил Жданов, поворачиваясь к Васнецову.

— Речь идет о выборе и рекогносцировке оборонительных рубежей между Псковом и Ленинградом, — на этот раз уже медленнее произнес Васнецов.

— Где?! — переспросил Жданов и обвел взглядом присутствующих, как бы спрашивая, не ослышался ли он, и ожидая, что кто-либо из них подтвердит или опровергнет то, что сказал сейчас Васнецов.

— Между Псковом и Ленинградом, — твердо повторил Васнецов и, взяв карандаш, провел его тупым концом по лежащей на столе карте. — Товарищ Мерецков советует немедленно вслед за рекогносцировкой развернуть на этих рубежах оборонительные работы и привлечь для этого не только инженерные части, но и местное население. Нам кажется, что к совету бывшего начальника Генерального штаба стоит прислушаться. Это наше общее мнение.

Он с легким стуком положил карандаш на стол, откинулся на спинку кресла.

И хотя в первые мгновения после того, как Васнецов умолк, никто не произнес ни слова, все почувствовали какое-то внутреннее облегчение. Над всеми ими еще довлел годами складывавшийся образ военного мышления, не допускавший даже предположения, что какой-либо из крупных советских городов может оказаться под угрозой приближения к нему врага. И хотя уже в первые дни войны такая угроза стала тяжелой реальностью и люди практически делали уже все от них зависящее, чтобы эту угрозу предотвратить, отбить натиск врага, тем не менее еще далеко не все решались говорить вслух о ее размерах.

И поэтому предложение строить оборонительные сооружения севернее Пскова, означавшее, что, несмотря на отчаянное сопротивление советских войск, врага можно ожидать в столь близком от Ленинграда районе, при всем своем страшном смысле придало нависшей опасности более четкие очертания и, следовательно, бо́льшую определенность и ясность тем задачам, которые стояли перед командованием фронта.

Но если собравшиеся здесь военные руководители, а также секретарь горкома Васнецов уже имели время для того, чтобы свыкнуться с этой мыслью, то для Жданова, хотя он и, несомненно, отдавал себе отчет в

масштабах нависшей над страной опасности, она явилась неожиданной.

— Значит, вы полагаете, что враг может подойти столь близко?.. — медленно, как бы задавая вопрос не только присутствующим, но и самому себе, начал было Жданов, но в этот момент Попов, внутренне осуждавший себя за то, что не он все-таки внес это предложение, поспешно прервал его:

— Да, Андрей Александрович! Немцы, как известно, уже перешли Западную Двину. А ведь она на полпути между госграницей и Псковом.

— Так... — задумчиво сказал Жданов, придвинул к себе пачку «Северной Пальмиры» и закурил. Он курил молча, и людям, сидевшим за столом, казалось, что Жданов просто хочет отдалить момент принятия столь серьезного решения. А Жданову в эти минуты мучительно хотелось предугадать замыслы тех немецких генералов, которые где-то там, далеко, в неизвестно где расположенных штабах, склонялись сейчас над картами, планируя дальнейший ход военных операций против Советской страны. Жданов знал, что Гитлер и расчетлив и импульсивен, что успехи кружат ему голову и успешное продвижение немецких войск на северо-западном направлении может толкнуть его на новые, неожиданные авантюристические решения.

Он с тревогой думал о том, что происходит в Прибалтике, о том, что его уже не первая попытка связаться с командующим Северо-Западным фронтом заканчивается безрезультатно.

«В войсках... в войсках... Связи не имеем», — мысленно повторил он про себя стереотипный ответ, который и на этот раз дали ему из штаба.

Можно ли надеяться на то, что в ближайшие часы и дни обстановка кардинально изменится и войска Северо-Западного фронта станут надежным щитом на пути немецких полчищ?..

Военную целесообразность внесенного Васнецовым предложения Жданов оценил мгновенно. Однако он столь же быстро оценил и другую его сторону, связанную с привлечением к строительству широких слоев населения.

Сразу же по возвращении в Ленинград Жданов убедился, что в городе царит спокойствие. Кроме объявлений и военных плакатов на стенах домов, очередей у военкоматов, он не заметил никаких других внешних признаков особого положения.

Магазины торговали бесперебойно, народу в них было не больше, чем обычно, и улицы выглядели по-прежнему оживленными, хотя в скверах, парках и на бульварах люди рыли щели, оклеивали окна домов узкими бумажными лентами на случай воздушных налетов.

Но с мыслью о возможности таких налетов ленинградцы свыклись еще во время финской войны, когда с первых же дней боев в городе была введена светомаскировка. Тем более оправданными и закономерными должны были показаться людям мероприятия на случай проникновения вражеских самолетов теперь, когда началась большая война.

Однако из предложения, внесенного Васнецовым при несомненной поддержке командования фронтом, вытекало нечто другое. Одобрить его — значило обратиться с призывом к населению и, следовательно, открыто заявить, что немцы могут угрожать Ленинграду отнюдь не только с воздуха, признать возможность приближения армии врага к городу.

Обо всем этом напряженно думал сейчас Жданов. Он старался мысленно охватить, предусмотреть все возможные последствия шага, решиться на который ему предлагали.

Васнецов как будто угадал его мысли и сомнения.

— Андрей Александрович! — сказал он. — Еще до того, как официально была объявлена мобилизация, в военкоматы поступили тысячи заявлений от ленинградцев. После речи Молотова я объехал ряд военкоматов. И в каждый попадал с трудом из-за очередей. В моральном духе ленинградцев мы не сомневаемся ни минуты!

Последние слова Васнецов произнес громко и даже запальчиво.

— Никто не сомневался в состоянии морального духа ленинградцев, товарищ Васнецов, — строго заметил Жданов.

— Я понимаю, Андрей Александрович, все понимаю, — усилием воли заставляя себя успокоиться, произнес Васнецов.— Я только хочу сказать, что чем больше конкретных задач по обороне будет поставлено перед людьми, тем выше будет их боевая готовность.

Он сделал паузу и, наклонясь через стол к Жданову, продолжил уже совсем негромко:

— А вот если мы создадим у народа впечатление, что все сделает только армия и людям беспокоиться нечего, а потом выяснится, что враг прет на Ленинград,— вот тогда за моральное состояние будет трудно поручиться!

Он встал, сделал несколько шагов по комнате, потом остановился перед Ждановым и сказал уже обычным, будничным голосом:

— Кстати, горвоенком и секретари Кировского и Московского райкомов просят решить на бюро вопрос, что делать с добровольцами. Их записалось огромное количество, а каких-либо определенных директив нет.

Жданов молча, напряженно слушал Васнецова.

— Каково мнение оперативного управления штаба? — спросил он, когда Васнецов кончил.

Встал Королев.

— Товарищ член Военного совета, — сказал он, заметно волнуясь, — я служу в округе, как и товарищ Евстигнеев, уже двадцать лет. Здесь же, под Ленинградом, воевал в гражданскую...

— Вам нет необходимости напоминать свою биографию, товарищ Королев, — перебил его Жданов, — обком ее знает...

— Я позволил себе сказать об этом, товарищ член Военного совета, — чуть громче произнес Королев, расправляя плечи и одергивая гимнастерку, — чтобы напомнить о другом. О том, что Остров и Псков — это, так сказать, традиционное направление любого вражеского наступления через Прибалтику к Питеру. Вспомните Юденича, интервентов, историю гражданской войны... Товарищ Васнецов прав. Надо строить...

Жданов снова взял папиросу, закурил, сделал несколько торопливых затяжек и, положив папиросу на

край пепельницы, твердо сказал, обращаясь к Пядышеву, в компетенцию которого еще в мирное время входило общее руководство разработкой планов строительства укрепленных районов на территории округа:

— Покажите точно район предполагаемого строительства.

Все сидящие за столом оживились, торопливо сдвигая в дальнюю сторону стола разведывательную карту, в то время как полковник Бычевский поспешно расстилал новую, с уже нанесенными рубежами предполагаемых укреплений. Все склонились над картой. В тишине раздался голос Пядышева, докладывающего, где намечается создать линию обороны и какого рода необходимо строить укрепления.

— Товарищ Пядышев, — прервал его Жданов, — мы сейчас говорим о строительстве. Но есть другой вопрос, не менее важный: кто будет оборонять рубежи? — Он придвинул к себе карту, взял карандаш и продолжал: — До сих пор основные силы нашего фронта сосредоточивались на северном фасе обороны Ленинграда, от Карельского перешейка до Мурманска. Верно? — обратился он к Попову, но вопрос этот был уже чисто риторическим, поскольку все хорошо знали, что дело обстоит именно так.

Попов молча кивнул.

— Следовательно, — продолжал Жданов, — мы сможем перебросить какую-то часть войск на новое, южное направление, только изъяв их откуда-то с северного участка. Вы отдаете себе в этом отчет? — Он снова обратился к Попову.

— Несомненно, — подтвердил тот. — Если нельзя рассчитывать на то, что при вашем содействии, Андрей Александрович, Ставка выделит нам что-то из своих резервов... — Он увидел, как нахмурился Жданов, слегка развел руками и уже тише сказал: — Тогда нам придется перебросить на юг хотя бы две дивизии с Петрозаводского направления. Рискованно, но на это придется пойти...

— Есть еще один вариант, — вступил в разговор начальник штаба Никишев, — согласно мобплану, мы формируем сейчас две дивизии — стрелковую и горнострелковую. Формирование закончится дня через два. Мы можем бросить их не на север, как предполагалось по плану, а на новую, южную позицию. Некоторые ресурсы придется, видимо, черпать и за счет военно-учебных заведений. Если, разумеется... — Никишев сделал паузу.

Жданов настороженно и вопросительно посмотрел на него.

— Если... — нерешительно сказал Никишев после короткой паузы, — не произойдет другое.

— Что? — быстро спросил Жданов.

— Ну... если не произойдет перелома и войска Северо-Западного не остановят противника, — произнес, не глядя на Жданова, Никишев.

— Так... — проговорил Жданов. Потом спросил: — Скажите, товарищ Попов, и вы, товарищ Никишев, словом, все вы, товарищи. Скажите со всей откровенностью, как коммунисты и военные люди: как вы считаете, у нас есть основания надеяться на такой перелом в ближайшее время?

Наступило молчание.

— Хорошо, — как бы подводя итог этому молчанию, сказал Жданов. — Пусть, как на военных советах старого времени, слово возьмет младший по званию. Ваше мнение, товарищ Королев?

Королев встал.

— Товарищ член Военного совета, — произнес он громко и решительно, — оперативные данные, которыми мы располагаем, не дают оснований надеяться в ближайшее время на такой перелом.

Он одернул гимнастерку и сел.

— Так... — снова повторил Жданов. — Как остальные?

— Это наше общее мнение, Андрей Александрович, — негромко сказал Попов.

Жданов встал, подошел к висящей на стене карте Ленинградской области и долго на нее смотрел. Потом вернулся к столу и, не садясь, спросил, обращаясь к Пядышеву:

— Значит, вы полагаете, что со строительством укреплений одним войскам не справиться, даже если мы пойдем на срочную переброску двух дивизий с севера?

— Воинские части смогут решить эту задачу, — ответил Пядышев, — только в том случае, если Ставка даст нам дополнительно военно-инженерные войска из резерва. — Он сделал короткую паузу и добавил: — Однако, насколько могу судить, на это надежды нет.

— Да, на это надежды нет... — задумчиво повторил Жданов. — Что ж, придется привлечь население, — решительно и твердо сказал он.

Неожиданно резким движением он повернулся и направился к письменному столу, возле которого был маленький низкий столик со стоящими на нем в два ряда телефонами. Сняв трубку одного из них, он медленно набрал четыре цифры на диске.

— Товарищ Поскребышев? — спросил он через мгновение. — Жданов. Хотел бы поговорить с товарищем Сталиным.

И хотя уже в тот момент, когда Жданов положил руку на трубку телефона, в кабинете воцарилась тишина, теперь, после первых его слов, она стала еще ощутимей, весомей.

Все, кроме Васнецова и Попова, чуть приподнялись, как бы спрашивая, следует ли им уйти, но Жданов сделал им знак рукой, предлагая остаться. В течение какого-то времени, показавшегося всем очень долгим, Жданов молча прижимал трубку к уху. Потом слегка склонился над столиком и сказал:

— Товарищ Сталин, Военный совет полагает необходимым срочно начать строительство оборонительного рубежа в районе Луги.

Жданов произнес все это не поздоровавшись, без всяких вступительных слов, точно продолжая начатый разговор.

Несколько секунд он молчал, слушая ответные слова Сталина и прикрывая левой рукой микрофон трубки. Потом сказал:

— Нет. Речь идет о строительстве рубежей в полутораста километрах к югу от Ленинграда... Вы имеете перед собой карту?.. По реке Луге, почти на всем ее протяжении, а затем...

Он сделал едва заметное движение головой в сторону длинного стола, и Пядышев поспешно перенес карту на письменный стол, возле которого стоял теперь Жданов.

— ...а затем,— повторил он, склоняясь над картой,— по линии Мшага — Шимск, до озера Ильмень.

Жданов снова умолк. Каждому из присутствующих больше всего хотелось сейчас услышать, что говорит в ответ Сталин, но из трубки, которую плотно прижимал к уху Жданов, до них не доносилось ни единого звука.

Наконец Жданов сказал:

— Проблема, товарищ Сталин, заключается в том, что для строительства рубежей такой протяженности у нас не хватит свободных воинских частей... Нет, нет, я понимаю, на это мы не рассчитываем. Есть предложение привлечь к строительству широкие слои населения и...

Жданов неожиданно умолк.

И тогда все увидели, как его бледное, одутловатое лицо стало розоветь. Он медленно выпрямился.

И опять прошло несколько бесконечно долгих мгновений, прежде чем Жданов снова заговорил:

— Мы все понимаем, товарищ Сталин. И тем не менее обстановка требует пойти на это. Немцы находятся примерно на полпути между госграницей и Псковом. По данным, полученным из Генштаба, и сведениям нашей разведки...

По-видимому, Сталин опять прервал Жданова, потому что он умолк, не закончив фразы. Его короткие пальцы, сжимающие трубку, побелели.

— Я убежден, — снова заговорил Жданов настойчиво, — что партийная организация нас поймет. И население тоже. Нам легче будет объяснить все это сейчас, чем тогда, когда люди спросят, почему не было принято необходимых мер. Мы уверены, что...

Он снова замолчал. Стало слышно его тяжелое, астматическое дыхание.

Неожиданно Жданов произнес громко и даже резко:

— Мы все же полагаем и просим вас...

И опять Жданову не удалось закончить фразу.

Он стоял молча, потом отнял трубку от уха, медленно положил ее на рычаг.

Все напряженно смотрели на него.

Жданов понимал: они ждут. Но не было, пожалуй, ни одного человека, которому Жданов счел бы возможным в точности повторить все то, что говорил ему сейчас Сталин.

Жданов был в дружеских, даже в близких отношениях со Сталиным, его решения и мнения считал единственно правильными, а отрицательных его сторон или не замечал, или никогда не считал их таковыми. Жданов всегда брал пример со Сталина. Во всем.

Сталин с дружеским доверием относился к Жданову. Но на этот раз разговаривал с ним неожиданно резко.

Однако не в этом заключалась причина того, что Жданов решил никого не посвящать в детали их разговора, — вопросы самолюбия не играли для него никакой роли, когда дело касалось Сталина.

И не поэтому молчал сейчас Жданов, что Сталин не сразу дал согласие на привлечение гражданского населения к строительству оборонительных рубежей, — в конце концов его возражения совпадали с теми, которые мысленно выдвигал сам Жданов, когда тщательно взвешивал все «за» и «против».

Главное состояло в том, что он впервые почувствовал в голосе Сталина, в его необычно резком тоне особую встревоженность, которой не ощущал во время недавней личной встречи. «Плохо с Минском! — бросил, повысив голос, Сталин. — Положение очень серьезное, а ты еще хочешь устроить панику в Ленинграде».

И в этих словах «Плохо с Минском!» и «Положение очень серьезное!» Жданову послышалось тревожное обобщение: за то короткое время, которое прошло с момента, когда они виделись, положение резко ухудшилось.

Обо всем этом думал сейчас Жданов, стоя у столика с телефонами.

Наконец он повернулся и глухо сказал:

— Товарищ Сталин дал согласие... Вопрос о привлечении населения поставим сегодня же на совещании секретарей райкомов. Товарищ Сталин предупредил, что, прежде чем начинать такое строительство, надо провести серьезную разъяснительную работу. Я уверен, что ленинградцы нас поймут и поддержат. Кроме того, я хочу вам сообщить, что товарищ Сталин обещал перебросить в район Острова дивизию из резерва. Положение на Северо-Западном фронте ему известно. Далее. Сейчас в ЦК готовится важная директива. Очевидно, мы получим ее через день-два. Речь идет о том, чтобы все, что возможно, эвакуировать из прифронтовых районов в глубь страны. А то, что нельзя вывезти, уничтожать. Ничего не оставлять врагу. Ничего, что могло бы его поддержать, усилить. Ни действующих заводов, ни хлеба на полях, ни скота. Взрывать, сжигать все, что не можем эвакуировать. Скот угонять. Другого выхода нет, пока нам не удастся остановить врага и погнать его вспять... Но мы погоним его! — неожиданно звонко воскликнул Жданов. — Погоним! Не сегодня, не завтра... но погоним!

Он решительно подошел к письменному столу, сел в кресло, подвинул к себе лист чистой бумаги и сказал уже своим обычным тенорком:

— Вопросами строительства оборонительных сооружений по партийной линии будет заниматься Васнецов. Далее. Сегодня вечером мы соберемся и решим, кто будет отвечать за закладку баз для партизанских отрядов и диверсионных групп в тылу врага. — Он посмотрел на круглые настенные часы. — Все. Через двадцать минут начнем совещание секретарей...

Когда все ушли, Жданов нажал кнопку звонка. Вошел его помощник Кузнецов. Он увидел, что Жданов сосредоточенно и быстро пишет что-то на листе бумаги.

Кузнецов с блокнотом в руках подошел к письменному столу.

— Вот что, Александр Николаевич, — откладывая карандаш в сторону, сказал Жданов, — позаботьтесь, пожалуйста, чтобы была обеспечена полная сохранность ленинской комнаты в Смольном... Ну, на случай воздушных налетов. Надо все, к чему имел непосредственное отношение Владимир Ильич, заранее перенести в бомбоубежище.

Он умолк. Кузнецов сделал пометку в блокноте, несколько мгновений ждал, не будет ли какого-либо продолжения, потом спросил:

— Это все, Андрей Александрович?

— Нет, это не все, — не сразу ответил Жданов. — Подготовьте совместно с товарищем Васнецовым проект решения Военного совета...

Он взял карандаш, постучал им по стеклу, покрывающему письменный стол.

— ...Проект решения о приостановлении строительства Ленинградского метрополитена и Верхне-Свирской ГЭС. Механизмы передать в распоряжение штаба фронта для использования на строительстве оборонительных рубежей.

Кузнецов торопливо начал делать пометки, но не сводил взгляда со Жданова. Он видел, что на лбу его появились капельки пота, а лицо стало еще более землистым, чем обычно. Жданов тяжело дышал.

— Разве вам что-нибудь неясно? — спросил он, видя, что помощник не уходит, и голос его прозвучал неожиданно тихо.

И в этих словах Кузнецов, много лет проработавший со Ждановым, уловил нечто такое, чего не расслышал бы никто другой: просьбу не задавать никаких вопросов. Но Кузнецов не выполнил этой молчаливой просьбы. Он считал, что имеет на это право не только как многолетний помощник Жданова, но как ленинградец, как коммунист. Поэтому он спросил так же тихо, с трудом произнося слова:

— Значит, положение столь серьезно?

Жданов в упор посмотрел на него. Темные глаза его сузились, брови сдвинулись.

— Это война, Александр Николаевич, — глухо сказал Жданов, — война не на жизнь, а на смерть. Впрочем, смерть нам не нужна. А за жизнь будем драться. Поторопитесь с проектом решения.

Вечером того же дня работники оперативного и инженерного отделов штаба фронта получили указание готовить расчеты строительства оборонительных рубежей на реке Луге.

Среди них был и майор Звягинцев. Как и все остальные работники штаба, он не знал, сколь трудные размышления предшествовали принятию этого поначалу ошеломившего его задания.

И только поздно ночью, выйдя из кабинета Жданова, куда был столь неожиданно вызван, Звягинцев понял размеры угрозы, нависающей над городом.

Глава III

Над расчетами строительства Лужской оборонительной полосы работала большая группа штабных командиров и военных инженеров.

Это была трудоемкая работа. Она требовала учета рельефа местности, определения необходимого количества рабочих рук, строительных материалов, автотранспорта, различных механизмов. И закончить ее надо было в считанные дни.

На Звягинцева была возложена задача произвести все необходимые расчеты по строительству оборонительных сооружений на центральном участке той самой, пока существующей лишь на картах, схемах и в цифрах линии, которой предстояло протянуться на многие десятки километров от Нарвы и Кингисеппа на юго-восток до озера Ильмень и Новгорода.

Однако когда Звягинцев сдал свои расчеты, карты и схемы начальнику инженерных войск Бычевскому, то неожиданно получил новое задание.

Оно вытекало из решения командования не только построить оборонительные сооружения на Лужской позиции, но и создать перед ней на ряде участков минное предполье.

Оборудовать такое предполье перед центральным участком и было поручено теперь Звягинцеву. Минные поля должны были послужить преградой на пути противника непосредственно к Лужской оборонительной линии.

Звягинцев хотел как можно скорее выехать туда, к реке Луге. Но отправиться к месту назначения немедленно он не мог, потому что необходимого количества мин и взрывчатки ни на складах управления инженерных войск, ни во Взрывпроме собрать не удалось.

Генерал Пядышев сказал в ответ на жалобы Звягинцева:

— Вы прекрасно знаете, майор, что предполье будет строиться не только на вашем участке. Для вас мы выделили все, что было возможно.

— Но, товарищ генерал, — упрямо возразил Звягинцев, — вы сами говорили, что обратились в Главное управление. Мой участок — центральный. Дайте мне хотя бы часть того, что пришлет Москва.

Пядышев резким движением открыл ящик письменного стола, не глядя, выхватил оттуда какую-то бумажку и протянул ее Звягинцеву со словами:

— На, читай, тайны не делаю!

Звягинцев взял бумажку, оказавшуюся телеграфным бланком, и прочел:

ПОКРЫТИЕ ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИЗ ЦЕНТРА ИЛИ ПО ПЛАНУ ЦЕНТРА СЕЙЧАС НЕВОЗМОЖНО тчк ЕСТЬ БОЛЕЕ ВАЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЧЕМ ВАШЕ тчк ОРГАНИЗУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНЫХ РЕСУРСОВ тчк

Далее следовала подпись.

Звягинцев растерянно пожал плечами и медленно положил бланк на стол.

— Свяжитесь с горкомом, — сказал Пядышев, кладя телеграмму обратно в стол. — Товарищи Жданов и Васнецов обещали помочь.

— Разрешите один вопрос, товарищ генерал.

— Да.

— В батальоне, который назначен в предполье, есть специальный взвод с новой техникой — управления взрывом по радио.

— Знаю об этом. Что вы хотите?

— Право боевого применения этой техники предоставляется только по специальному решению командования фронтом. Я прошу такого разрешения мне на чрезвычайный случай.

Пядышев заколебался, потом махнул рукой:

— Хорошо. Доложишь об этом Бычевскому. А я скажу командующему фронтом. Но имей в виду — только на чрезвычайный случай! Приборы береги больше своей головы.

Звягинцев помчался в Смольный, к Васнецову.

Измученный круглосуточной работой, с красными, воспаленными глазами, Васнецов предупредил Звягинцева, что сможет уделить ему лишь несколько минут. Он тотчас же распорядился вызвать заведующего промышленным отделом горкома.

Пока того искали, Звягинцев воспользовался моментом и спросил Васнецова, каково положение на соседнем фронте.

— Плохо, — резко ответил Васнецов. — На правом берегу Западной Двины враг захватил обширный плацдарм. И выбить его оттуда не удается. Я не хочу сгущать краски. Но вы должны знать, сколь важны для нас Лужские рубежи.

Он склонился над столом, приближаясь к сидящему напротив Звягинцеву, и, чуть понизив голос, продолжал:

— Двадцать седьмая армия Северо-Западного фронта отходит на Опочку, открывая противнику дорогу на Остров.

— Как, без боя?! — воскликнул Звягинцев.

— С боями. С тяжелыми, кровопролитными боями. Мы не можем ни в чем упрекнуть ни бойцов, ни командиров. Тысячи наших людей уже предпочли смерть поражению. Но остановить врага пока что не удается... У них больше военного опыта. Больше танков. Больше самолетов. Больше автоматов. И скрывать это от вас я не хочу. Мы проходим сейчас кровавый университет войны. Сегодня у нас уже больше оружия, чем вчера. Завтра будет больше, чем сегодня. Наши заводы работают день и ночь. Люди сутками не уходят из цехов. Через несколько дней на Лужскую линию выйдут десятки тысяч ленинградцев. И если случится так, что враг дойдет до Луги, он должен найти там свою могилу.

Заведующий промышленным отделом горкома, которого вызвал к себе Васнецов, с такими же красными от бессонницы глазами, как у самого Васнецова, но подчеркнуто спокойный и медлительный в разговоре, выйдя со Звягинцевым в приемную, неторопливо внес в свою потрепанную записную книжку названные майором цифры и наименования. Потом сказал, как бы размышляя вслух:

— Взрывчатку, пожалуй, еще раз поскребем на законсервированных строительствах. А заказ на мины попробуем распределить по городским предприятиям.

— «Распределить»?..— с отчаянием воскликнул Звягинцев. — Но время, время!..

— Хочешь сказать — дороже денег? — с усталой улыбкой произнес заведующий отделом. — Что ж, эту истину, надо полагать, сейчас усвоили не только военные...

...Не прошло и суток, как взрывчатка и корпуса для мин в количестве, достаточном для начала работ на Лужской позиции, были отправлены на склады.

Правда, это были не обычные, «уставные» мины: из-за отсутствия готовых специальных штампов не удалось сделать металлические корпуса, и Звягинцев на свой страх и риск предложил делать деревянные.

Но так или иначе, менее чем через двадцать четыре часа рабочие предприятий, никогда не производивших вооружение, изготовили корпуса, вполне годные для использования, и теперь уже ничто не задерживало Звягинцева в Ленинграде: в ближайшее время он мог выехать.

Но неожиданно это «ближайшее время» сжалось, спрессовалось в часы и минуты. Ибо именно в эти часы далеко отсюда, в восточнопрусском Растенбургском лесу, в окутанном проволочными заграждениями, прикрытом густыми кронами столетних деревьев «Логове волка», опьяненный первыми военными успехами, невысокий, непропорционально сложенный черноволосый человек, столь далекий по всему своему внешнему облику от милого его сердцу образа «белокурой бестии», принял решение форсировать наступление на Ленинград. Разумеется, ни командование Северного фронта, ни тем более Звягинцев не знали и не могли ничего знать об этом решении, которое должно было, по замыслу Гитлера, приблизить победоносное окончание войны.

Но вот из телеграфных аппаратов «бодо» и «СТ», расположенных в штабе Северного фронта, точно змеи, стали выползать узкие бумажные ленты с сообщениями, что активизировались финны. Одновременно Москва предупредила о возрастающей опасности с юго-запада и теперь уже сама потребовала форсировать строительство оборонительных линий.

Военный совет Северного фронта во исполнение приказа Ставки принял решение всемерно ускорить строительство оборонительных рубежей на реке Луге. И поэтому Звягинцеву пришлось выехать к месту своего нового назначения немедленно.

Перед тем как покинуть штаб и отправиться в район Кировского завода, где в казармах располагался выделенный в его распоряжение батальон инженерных войск, Звягинцев решил позвонить домой к Вере, спросить, не вернулась ли она.

К телефону подошла ее мать. Узнав, кто говорит, она обрадовалась, но уже в следующее мгновение расплакалась и долго не могла успокоиться. Она рассказала, что дочери все еще нет, что муж — Иван Максимович — на заводе и домой почти не заходит, и она просто не знает, что делать... «Боязно мне одной, Алеша, милый, — сквозь слезы говорила она, — третью ночь к соседке спать ухожу...»

Звягинцев, как мог, утешил старую женщину, посоветовал дать дочери телеграмму с требованием возвращаться немедленно и, услышав, как она снова расплакалась, стал нарочито спокойно и даже беспечно убеждать, что нет никаких оснований для волнений, поскольку те места, где находится Вера, от фронта очень далеки. Эти слова давались Звягинцеву нелегко, но мать Веры, видимо, ничего не заметила.

Повесив трубку, Звягинцев почувствовал, что не может справиться с охватившей его тревогой за Веру. Он мысленно успокаивал себя, убеждал, что Вера вернется самое позднее через два-три дня, а за это время, конечно же, ничего катастрофического не может случиться...

Но интуитивно Звягинцев ощущал, что при нынешнем положении дел может произойти и нечто непредвиденное, и тогда это «нечто» станет непосредственной угрозой жизни Веры. И снова все его мысли, тревоги, сомнения сконцентрировались в одном непреодолимом желании: ехать, ехать, и как можно скорее.

Все указания и документы были получены, со всеми,

кроме полковника Королева, которого Звягинцев не застал на месте, он попрощался.

Звягинцев позвонил в гараж, назвал номер машины, которую выделили в его распоряжение, подхватил маленький, обитый дерматином чемодан и вещмешок, взял планшет, снял с вешалки шинель и вышел из своего кабинета, сознавая, что вступает в новый, ответственный и тревожный период жизни.

Шофером выкрашенной в грязно-зеленый цвет «эмки» оказался тот самый молодой, с белесыми глазами и в лихо сдвинутой почти до левой брови пилотке сержант, который так недавно вез Звягинцева по ночному Ленинграду в Смольный, к Жданову, всю дорогу допытываясь, правда ли, что наши высадили крупный десант под Берлином.

Увидев выходящего из ворот Звягинцева, он выскочил из машины и с тем особым шиком, который отличает молодых, но ретивых красноармейцев, откозырял:

— Товарищ майор, сержант Разговоров прибыл в ваше распоряжение.

Хотя Звягинцев и был внутренне доволен, что судьба свела его со знакомым, он никак не проявил этого внешне, хорошо зная, как можно разбаловать подчиненного, и особенно шофера, если с самого начала признать его право на особое положение. Он сказал сухо и строго:

— Продовольствием запаслись?

— Так точно, на пять суток! — весело ответил водитель.

— Шинель, оружие? — продолжал спрашивать Звягинцев, заглядывая в кабину и видя, что на сиденье ничего нет.

— А как же, товарищ майор! — с притворной обидой воскликнул Разговоров, но тут же снова широко улыбнулся. — Не к теще на блины едем! Карабин, скатка, противогаз, сухой паек, — все там, за спинкой сиденья, где инструмент.

Он, видимо, испытывал явное удовольствие от того, что все предусмотрел и теперь может ясно и четко ответить на любой вопрос майора.

— Место карабина не за спинкой, а в кабине, под рукой, — сказал Звягинцев все еще строго, но с трудом сдерживаясь, чтобы не улыбнуться.

— Учту, товарищ майор!

— Тракторную улицу знаешь? — спросил Звягинцев.

— Это в районе Кировского? — спросил Разговоров.

— Да. Вот давай туда, на Тракторную, в казарму.

— Есть на Тракторную! — весело откликнулся Разговоров и резким движением включил зажигание.

В казарму Звягинцев прибыл уже под вечер и был встречен командиром отдельного инженерного батальона капитаном Суровцевым.

О том, что батальон поступает в распоряжение майора Звягинцева, капитан знал и теперь был уверен, что майор прибыл для предварительного разговора. Он отдал рапорт и доложил, что его заместитель по политчасти сейчас проводит в клубе политзанятия по разъяснению решения обкома о формировании частей народного ополчения.

Затем Суровцев провел Звягинцева в штаб и, приглашая майора занять стул командира за столом, сам устроился сбоку, на табуретке.

— Итак, — усаживаясь и кладя на стол свой планшет, сказал Звягинцев, — выступаем сегодня в ночь.

— Как? Сразу же и выступаем? — недоуменно переспросил Суровцев.

Звягинцев строго поглядел на сидящего рядом с ним человека. Капитан Суровцев был молод; высокий и худой, с веснушками на щеках, с большими, чуть оттопыренными ушами.

Заметив на себе недовольный взгляд Звягинцева, Суровцев покраснел и закашлялся. Он впервые видел этого светловолосого, крепко сбитого и, казалось, вросшего в военную форму майора. «Интересно, сколько ему лет? Вряд ли больше тридцати». Он украдкой, исподлобья, оценивающе поглядел на Звягинцева. Загорелое, обветренное лицо, резко очерченные скулы, густые темные брови почти сходятся на переносице.

«Знаю я этих штабных майоров, — подумал Суровцев, — сваливаются как снег на голову. «Доложите», «действуйте», «об исполнении донести», «можете быть свободны»...»

— Разрешите ознакомиться с заданием, — подчеркнуто официально сказал Суровцев.

— Разумеется, — сухо ответил Звягинцев. Он был недоволен собой, потому что, бегая по предприятиям и стройкам, не успел предварительно побывать в батальоне, познакомиться с командирами и составить о них мнение, недоволен этим очень уж молодо выглядевшим капитаном, который наверняка недавно получил и «капитана» и батальон. — Разумеется, — повторил Звягинцев, — но прежде всего прошу сообщить, сколько потребуется времени, чтобы подготовить батальон к выступлению.

И он, отдернув рукав гимнастерки, посмотрел на часы. Суровцев быстро просунул руку под полу гимнастерки, вытащил из брючного кармана металлические карманные часы, взглянул на них и сказал:

— Два часа, товарищ майор. В двадцать два тридцать можем быть готовы. — Он спрятал часы обратно в брючный карман и тут же добавил, как бы извиняясь: — Понимаете, у командиров — семьи...

— Хорошо, значит, в двадцать три ноль-ноль, — прервал его Звягинцев, сознавая, что два часа — это срок минимальный, и накидывая еще тридцать минут. — Надо забрать со склада взрывчатку и мины. Об инструменте, продовольствии ну и так далее я не говорю, это вам, конечно, ясно.

Он произнес последние слова скороговоркой, давая понять Суровцеву, что эти отпущенные ему два с половиной часа должны быть употреблены отнюдь не только на то, чтобы собрать отлучившихся к семьям командиров.

Но Суровцев лишь поспешно кивал головой и, когда Звягинцев кончил, сказал:

— Ясно, товарищ майор.

«Все ему ясно! — подумал Звягинцев, испытывая смутное недовольство от видимой готовности Суровцева со всем соглашаться и далеко не будучи уверен в его способности выполнить все, что обещает. — Знаю я этих молодых комбатов, — «ясно, товарищ майор», «так

точно», «будет исполнено», — главное, быстро ответить, а там — разберемся...»

Звягинцев посмотрел на Суровцева. Тот сидел выпрямившись, на лице его была написана готовность не пропустить ни одного слова из того, что скажет Звягинцев.

И вдруг без всякой связи с предыдущим Звягинцев подумал:

«А какого черта я им недоволен? Какие у меня для этого основания? Откуда этому комбату знать, почему решение выступать было принято так поспешно и почему я, думая, что имею еще два-три дня в запасе, не приехал в батальон раньше? И в конце концов какой он есть, этот капитан, таков и есть. Мне с ним работать».

Он спросил:

— У тебя, комбат, карта с собой?

— Так точно, товарищ майор, — поспешно ответил Суровцев и стал расстегивать свой планшет.

Вытащив сложенную вчетверо карту, он начал было разглаживать ее на столе. Но Звягинцев, едва взглянув на карту, сказал:

— Отставить. Нам нужен сейчас не Карельский перешеек, а район Луги — Пскова.

— Лу-уги? — недоуменно повторил Суровцев.

Звягинцев промолчал. Но он знал, что теперь до самого конца их разговора этот комбат будет повторять про себя слово «Луга» и думать только о нем.

Он станет отвечать на вопросы, произносить уставные формулы и, в свою очередь, спрашивать о минах, взрывчатке, инструменте... Но простое, двусложное слово «Луга» будет при этом, точно дятел, стучать в висках Суровцева. «Луга... Луга... Луга...» — станет повторять он про себя. «Но почему Луга? Какая опасность может грозить этому городу, расположенному менее чем в полутора сотнях километров к югу от Ленинграда?..»

— Ладно, капитан,— более резко, чем ему хотелось бы, сказал Звягинцев, — удивляться будешь потом. А пока — гляди.

И он, вынув из планшета свою карту, развернул ее и положил на стол поверх той, первой.

Суровцев оторопело смотрел на него. Он то раскрывал рот, как бы желая что-то сказать, то закрывал его, точно вытащенная из воды рыба.

Звягинцев сделал вид, что не замечает состояния капитана. Он слишком хорошо помнил, как его самого потряс, ошеломил приказ Королева приступить к расчетам оборонительных линий, и теперь считал своим долгом помочь Суровцеву преодолеть этот трудный рубеж.

— Так вот, — продолжал Звягинцев, — батальон будет работать на этом участке... здесь, между Псковом и Лугой. Район Струги Красные — река Плюса. Понятно?

Он показал уже нанесенные на карту отметки и знаки.

— Так точно, понятно, — ответил, не поднимая склоненной над картой головы, Суровцев. — Глубина участка? — деловито осведомился он.

— Наш район, или, скажем, зона, — тридцать километров по фронту и пятнадцать в глубину. Задача — создать на всякий случай минные заграждения, подготовить разрушение дорог и мостов...

— Но... но для какой цели? — изумленно спросил Суровцев. — Насколько я понимаю, речь идет о строительстве предполья...

— Раз понимаешь, значит, и хорошо, — сухо произнес Звягинцев.

Суровцев, видимо, истолковал слова Звягинцева как выговор за неуместное любопытство. Теперь он держал в руке блокнот и записывал что-то, не поднимая головы, чтобы не встретиться взглядом со Звягинцевым.

— Сколько берем взрывчатки, товарищ майор? — спросил, переставая писать, но не поднимая головы от блокнота, Суровцев.

— Пять тонн.

— Пять тонн? — переспросил Суровцев и посмотрел на Звягинцева. — Так много?

— Мало, — хмуро ответил Звягинцев, понимая, что вопрос комбата закономерен: ведь он не мог себе представить весь объем работ.— Придется еще завозить, это ясно.

Две тонны из пяти полученных были нужны для другой цели, и сказать о ней сейчас Суровцеву Звягинцев считал себя не вправе. Потому что эти две тонны взрывчатки он должен был заложить в тайниках в лесу, возле города Луги, на случай, если там придется действовать партизанам. И об этом-то до поры до времени Звягинцев не мог сказать никому.

— Какое имеете оружие? — спросил Звягинцев.

— Карабины, ручные пулеметы, — ответил комбат.

— Сколько пулеметов?

— Четыре, товарищ майор.

— Мало... Пулеметы, разумеется, взять. Затем продовольствие... скажем, на пять суток — пока не подвезут или не привяжут к чьему-нибудь тылу. Ну, походные кухни... Словом, все, что полагается. Еще один вопрос. Спецвзвод с рацией «ТОС» у вас подготовлен, как ему положено?

— Так точно, товарищ майор, но...

— Знаю это «но». Имею разрешение.

— Слушаю, товарищ майор. Спецвзвод в боевой готовности.

— Отлично, — кивнул Звягинцев. — Пункт сбора в районе Средней Рогатки, вот здесь, — он показал на карте, — движение туда займет минут сорок пять, верно? Значит, всего у вас три часа пятнадцать минут. Достаточно?

— Так точно, товарищ майор, — ответил Суровцев.

— Карту я вам оставлю. Перенесете отметки на свою. Потом заберу. А теперь давайте сверим часы. На моих двадцать один ноль-ноль. На ваших?

Суровцев снова вытащил свои большие карманные часы.

— Минута в минуту, товарищ майор.

— Почему не заведете ручные? Удобнее, — сказал Звягинцев.

— Дареные, — смущенно ответил Суровцев.

Потом он неловко повернул часы задней крышкой вверх.

«Старшему лейтенанту В. К. Суровцеву за отличную военную службу от командования», — прочел Звягинцев. Он встал, застегнул планшет.

— Значит, в ноль сорок пять у Средней Рогатки.

— Обратно, в город, — сказал Звягинцев, усаживаясь на переднем сиденье «эмки» рядом с шофером.

— Забыли чего, товарищ майор? — заботливо спросил Разговоров.

— Поезжай к Нарвской заставе, — как бы не слыша его, сказал Звягинцев.

Разговоров недоуменно взглянул на Звягинцева, но тут же сказал «есть!» и тронул машину с места.

Звягинцев сидел как бы в забытьи. Он уговаривал себя, что едет в город без всякой определенной цели, просто чтобы как-то убить свободное время, потому что батальон выступит еще не скоро, а все, что надлежало сделать по службе, он уже сделал.

Шел десятый час вечера, приближалась белая ночь. Окна в домах были открыты, но света нигде не зажигали.

Машина поравнялась с колонной, идущей посреди улицы. Шли люди в обычной гражданской одежде, хотя у некоторых пиджаки были перепоясаны широкими армейскими ремнями, и шагали они военным строем, по четыре человека в шеренге.

Разговоров свернул правее, уступая дорогу колонне, и медленно поехал вдоль тротуара.

— Добровольцы идут, — сказал он, — о-пол-чение!..

Он весело, по слогам произнес это необычное, знакомое только из литературы слово, казалось вынырнувшее из лексикона прошлого века и вызывающее в памяти толстовские образы.

Однако сейчас, после решения обкома создать из записавшихся добровольцев регулярные воинские части и назвать их дивизиями народного ополчения, несовременное слово это мгновенно стало одним из самых популярных в Ленинграде.

— У меня батька в ополченцы записался, — сказал Разговоров.

— Да? — рассеянно спросил Звягинцев. — Сколько же ему лет?

— Пятьдесят, но он еще ничего, крепкий, — охотно сообщил шофер, — на «Электросиле» мастером работает. У них там чуть не ползавода записалось... А на фронт по какой дороге поедем? — неожиданно спросил он.

— На Лугу, — машинально ответил занятый своими мыслями Звягинцев.

— Ку-да? — недоуменно сказал Разговоров, от неожиданности снимая ногу с акселератора.

Машина резко замедлила ход.

— Следите за управлением, — строго ответил Звягинцев.

— Но как же так, товарищ майор?! — точно не слыша слов Звягинцева, однако выравнивая ход машины, воскликнул Разговоров. — Разве мы не на фронт?

— Я сказал: на Лугу, — сухо повторил Звягинцев.

— А я-то думал, на Карельский перешеек! — разочарованно произнес Разговоров. — Что же, мы на Северо-Западном служить будем?

— Нет. Остаемся на нашем.

— Та-ак. Значит, не на фронт...

— На твою долю войны хватит, — угрюмо сказал Звягинцев.

— Какая у Луги война! — усмехнулся Разговоров.

А Звягинцев подумал о том, как мучительно горько знать то, чего еще не знают другие.

Он выглянул в открытое окно машины и неожиданно для самого себя приказал:

— Остановись!

Разговоров резко затормозил.

— Встань здесь, у тротуара, — сказал Звягинцев и вышел из машины.

Именно сюда влекло Звягинцева с той минуты, как он, выйдя из казармы, сел в машину. Звягинцев не признавался самому себе в этом желании, поскольку оно было глубоко личным, а он считал, что должен, обязан отрешиться от всего того, что не имело прямого отношения к возложенному на него поручению. Приказывая шоферу ехать к Нарвской заставе, Звягинцев не имел какой-то ясно осознанной цели, определенного намерения. Его просто влекло туда, влекло чувство, которое было сильнее логики, здравого смысла.

И вот теперь он стоял на той самой улице, где жила Вера. Ее дом был виден сейчас Звягинцеву — старый, небогатый петербургский четырехэтажный дом «вечной» каменной кладки.

— Подожди, пожалуйста, здесь, Разговоров! — сказал Звягинцев необычным, смущенным и даже просительным голосом шоферу, который, перегнувшись через сиденье, высунулся в не закрытую майором дверь машины и глядел на него с недоумением и любопытством.

Звягинцев медленно пошел вдоль тротуара. Поравнявшись с тем домом, он посмотрел на два крайних левых окна второго этажа.

Окна были плотно закрыты и зашторены изнутри. Звягинцев вошел в подъезд, быстро, перескакивая через ступеньки, поднялся на второй этаж. Он решил повидаться с матерью Веры, сказать ей несколько успокоительных слов.

Но в душе Звягинцев надеялся на чудо: ведь за несколько часов, которые прошли с тех пор, как он звонил сюда по телефону, она, Вера, могла приехать...

Звягинцев постоял в нерешительности на темной лестничной площадке, потом подошел вплотную к двери и, приложив к ней ухо, прислушался.

Ни звука не доносилось изнутри.

Звягинцев постучал робко, негромко и снова прислушался. За дверью по-прежнему была тишина. Он постучал сильнее. Никакого ответа. Его охватила тревога. Но в этот момент Звягинцев вспомнил слова матери Веры. Ведь она сказала, что уходит ночевать к соседке, — ну, конечно же, как он мог это забыть?!

Еще несколько мгновений Звягинцев постоял на лестничной площадке, потом стал медленно спускаться вниз.

Значит, Вера еще не приехала. Да, чуда не произошло.

Вот здесь, у подъезда, он так, казалось бы, недавно в первый раз прощался с Верой, еще не предполагая, какое место предстоит ей занять в его жизни. Перед тем как подойти к дому, они сидели в сквере. Вот он, этот маленький скверик, виден отсюда...

Звягинцев быстрыми шагами пошел вперед. Ему нестерпимо захотелось увидеть скамейку, на которой они сидели в ту ночь.

Но, уже подойдя к скверу, он убедился в тщетности своего намерения. Там уже не было скамеек, ни одной. Вся территория изрыта траншеями и щелями на случай воздушного нападения.

Одна из траншей была еще не закончена, тут же на куче земли были брошены ломы и лопаты. Над земляной горкой возвышался щит — кусок фанеры на палке. На щите красной краской было написано: «Все силы на отпор врагу!!»

Несколько минут Звягинцев стоял, глядя на щит, снова и снова механически повторяя про себя написанные красной краской слова. Потом посмотрел на часы. Было без четверти десять, в его распоряжении оставалось еще два с половиной часа. Звягинцев быстро, почти бегом направился к ожидавшей его машине.

— В штаб! — сказал он водителю, опускаясь на сиденье и резко захлопывая дверь.

Полковник Королев сидел за столом, обложенный картами, в облаках табачного дыма, но чисто выбритый, в застегнутом на все пуговицы кителе.

— Зашел попрощаться, Павел Максимович, еду, — сказал Звягинцев, отметив про себя, что с того дня, как началась война, полковник стал особенно тщательно следить за своей внешностью и одеждой.

— А мне сказали, что ты уже отбыл, — удивленно сказал Королев, вставая и выходя из-за стола.

— Выступаем в ноль сорок пять от Средней Рогатки, — доложил Звягинцев.

Он посмотрел на часы и сказал уже иным, неофициальным тоном:

— Еще около двух часов осталось. Решил попрощаться. Раньше заходил — не застал.

— Ладно,— сказал Королев, подходя близко к Звягинцеву. — О делах говорить не будем, все уже переговорено. Одно еще раз скажу: очень важное у тебя задание, майор.

— Знаю, — ответил Звягинцев.

— Войска начнут подходить завтра же. И людей на строительство начнем отправлять, — призыв обкома тоже завтра будет опубликован. Важно, чтобы твой участок был минирован как можно скорее...

— Знаю, — повторил Звягинцев.

— Ну тогда... бог в помощь.

Королев оглядел Звягинцева с головы до ног.

— Сапоги кирзовые взял? — неожиданно спросил он.

— В чемодане.

— Правильно, не на парад едешь. Шпалы смени на полевые, зеленые, интенданты должны были получить...

Звягинцев внутренне усмехнулся. Он понимал, как не важно было все то, о чем говорил сейчас Королев, и не сомневался в том, что и сам Королев понимает это, но просто не находит слов для прощания.

— Ну... — сказал наконец полковник и встал.

«Как же так, как же так? — думал Звягинцев. — Ведь мы сейчас расстанемся, а я...»

Да, с той минуты, как Звягинцев сел в машину и приказал ехать в штаб, он убеждал себя в том, что просто хочет использовать оставшееся время, чтобы попрощаться с Королевым.

Но он обманывал себя и знал, что обманывает. Другая мысль, иное намерение вело его в те минуты на площадь Урицкого.

Но, войдя в кабинет Королева и увидев полковника, поглощенного делами, по сравнению с которыми все, что было с ними не связано, казалось мелким и несущественным, Звягинцев почувствовал, как трудно, как мучительно тяжело ему произнести те слова, ради которых он вернулся сюда.

И видимо, волнение, которое охватило Звягинцева, отразилось на его лице, потому что Королев смотрел теперь на него с некоторым недоумением и настороженностью.

— Ну что же, майор, давай прощаться, что ли... — сказал он.

И тогда огромным усилием воли Звягинцев заставил себя заговорить:

— Павел Максимович, я очень прошу... позаботьтесь о Вере. О Вере, вашей племяннице... — повторил Звягинцев и, опасаясь расспросов, добавил поспешно: — Она в районе Острова, в Белокаменске. А Иван Максимович на казарменном и дома почти не бывает.

— В районе Острова? Верка? — еще более удивленно переспросил Королев. — А зачем ее туда понесло?

— Павел Максимович, это долго рассказывать, и не в этом сейчас дело, — чувствуя, что ему стало еще труднее говорить, сказал Звягинцев. — Факт в том, что она сейчас там. И со дня на день откладывает возвращение домой. Разумеется, ни она, ни ее родители не знают, что этот район может... подвергнуться опасности.

Королев внимательно посмотрел на Звягинцева.

— Вот глупость-то какая! — сказал он наконец и точно про себя. — Машину, что ли, за ней послать?

— Да, да, конечно, — торопливо подхватил Звягинцев, — хотя она дала телеграмму, что через день-два выезжает...

— Ну тогда гонять машину нечего. Могут разминуться, — уже успокоенно произнес Королев.

Звягинцев мысленно выругал себя за вырвавшиеся у него слова. Не надо, не надо было говорить о телеграмме, тогда Королев наверняка завтра же послал бы машину! Он не мог заставить себя сказать Королеву, что отъезд Веры зависит не от нее самой, что она и на этот раз может задержаться...

Королев снова пристально посмотрел на Звягинцева. Теперь он смутно начинал понимать, что в словах майора заключено нечто большее, чем простое напоминание о Вере. Честно говоря, он, Королев, в последнее время как-то забыл о существовании племянницы и ни разу не виделся со своим братом — ее отцом.

Правда, на второй или третий день войны он позвонил ему, но жена ответила, что Иван дома почти не бывает. О Вере Королев как-то и не подумал. Он привык считать, что с девушкой все в порядке, — она училась в медицинском институте, у нее был свой круг знакомых...

И вот теперь выяснилось, что Веру так не ко времени зачем-то понесло под Остров. Впрочем, там, кажется, живет сестра ее матери...

Все эти мысли быстро пронеслись в сознании Королева. В первое мгновение он не на шутку забеспокоился — ведь судьба Острова вызывала реальные опасения не только у него... Однако, услышав от Звягинцева, что

Вера не сегодня-завтра вернется, Королев успокоился: немцы были еще далеко от Белокаменска.

Почему же тогда так взволновался Звягинцев?

Королев по-прежнему пристально глядел на стоящего перед ним майора, стараясь прочитать на его лице невысказанные мысли.

Ему всегда нравился этот высокий, всегда подтянутый молодой человек, который по возрасту годился ему в сыновья. Нравился своей смелостью, честностью и прямотой, хотя в разговорах Королев нередко осуждал майора за вспыльчивость и «завихрения». Когда речь зашла о кандидатуре командира для выполнения ответственного задания на Лужском рубеже, Королев без колебания назвал Пядышеву именно его.

И вот теперь что-то подсказывало полковнику, что не только простое беспокойство за судьбу Веры владеет Звягинцевым.

— Послушай, майор... а почему именно ты...

Он не договорил, потому что Звягинцев прервал его, сказав громко и даже с каким-то вызовом:

— Я люблю ее, Павел Максимович!

Это было столь неожиданно, что Королев растерянно переспросил:

— Лю-юбишь?!

— Да, люблю! — повторил Звягинцев и внезапно почувствовал, что на душе у него стало легче.

— Так, так... — смущенно проговорил Королев.

Но Звягинцеву в этих словах послышалось осуждение. Краска бросилась ему в лицо.

— Я знаю... Вам кажется нелепым и странным, что военный человек, которому поручено важное боевое задание, не нашел другого времени и места, чтобы говорить о своих чувствах... — Он на мгновение умолк, чтобы перевести дыхание. — Но для меня сейчас все это слилось воедино. И война, и мое задание, и... то, о чем я сейчас говорю. И поделать с этим я ничего не могу.

— Так, так... — повторил после долгой паузы Королев.

Он сделал несколько шагов по комнате. Потом, снова остановившись против Звягинцева, спросил:

— А почему ты считаешь необходимым сказать это мне... а не брату? У Веры ведь отец имеется, верно?

Этот вопрос застал Звягинцева врасплох.

— Почему? Не знаю... — сказал он, как бы спрашивая и отвечая самому себе. — Может быть, потому, что вы... единственный человек, который...

Звягинцев оборвал себя на полуслове. Ему хотелось сказать, что он, Королев, кроме Веры, единственный близкий ему человек, что у него нет отца, а мать далеко, на Урале, что он привык говорить с ним о самом важном, ничего не скрывая... Но он не сказал этого, потому что боялся показаться смешным, сентиментальным мальчишкой, не умеющим даже в такое суровое время сдерживать свои чувства.

Наконец он произнес сухо и отчужденно:

— Забудьте все, что я вам сказал. Единственная моя просьба — позаботьтесь о ней. До свидания, товарищ полковник.

— Погоди, — остановил его Королев. — Ну... а она?..

Этого вопроса Звягинцев не ожидал. У него не было сил ответить. Даже самому себе.

— Не знаю, — глухо проговорил он.

— Значит, не знаешь... — медленно произнес Королев. Потом полез в карман, вытащил пачку «Беломора» и протянул ее Звягинцеву. — Что ж, покурим на дорогу, — сказал он негромко.

Звягинцев взял папиросу, но тут же скомкал ее, так и не закурив.

— Вот что я тебе скажу, Алеша,— еще тише и не глядя на Звягинцева, проговорил Королев.— Я человек старый, вы с Верой молодые... Если ты чувствуешь, что все это сейчас для тебя... ну, как ты выразился, «едино», тогда... тогда это хорошо. И не волнуйся. Все с Верой будет в порядке. А теперь езжай. Выполнишь задание — вернешься. Я к тебе привык...

Звягинцев почувствовал комок в горле. Он подумал о том, что вряд ли вернется скоро, потому что бесповоротно решил быть до конца войны там, где идут бои, но теперь говорить об этом показалось ему ненужным и неуместным.

На южной окраине Ленинграда, у Средней Рогатки, на обочине дороги, ведущей на Лугу, выстроилась колонна грузовых автомашин.

Командирская «эмка», закамуфлированная, как и машина Звягинцева, в грязно-зеленые цвета, стояла впереди — несколько поодаль от колонны.

Капитана Суровцева Звягинцев увидел еще издали — он стоял около «эмки» с каким-то военным, намного ниже его ростом. Звягинцева они заметили, лишь когда тот вышел из машины.

Суровцев побежал навстречу майору, на ходу вытаскивая из брючного кармана часы, взглянул на них и отрапортовал о готовности батальона к дальнейшему движению.

Капитан уже заканчивал свой рапорт, когда к ним подошел и второй военный, тот, маленького роста. Он оказался старшим политруком.

— Мой заместитель по политчасти, — доложил Суровцев.

Звягинцеву старший политрук Пастухов, как говорится, «не показался». И хотя, оглядев Пастухова быстрым, профессиональным взглядом, Звягинцев ни в манере его держаться — тот стоял «смирно», чуть откинув свою большую голову, — ни в одежде не заметил ничего заслуживающего порицания, — он почему-то усомнился в том, что этот немолодой, лет сорока человек — кадровый военный.

— Значит, порядок? — спросил Звягинцев, обращаясь к Суровцеву и Пастухову одновременно, хотя из только что услышанного рапорта вытекало, что все его указания выполнены.

Этот вопрос Суровцев расценил как разрешение говорить, уже не придерживаясь строго рамок субординации, и сказал:

— Как будто все в порядке, товарищ майор. Мы с Пастуховым проверили. Верно, старший политрук?

Тот ничего не ответил, только чуть развел в стороны ладони опущенных рук.

— Что ж, тогда двинулись, — сказал Звягинцев. — Кто поедет впереди, вы или я? — обратился он снова одновременно к командиру и к его заместителю.

— Как прикажете, товарищ майор, — ответил Суровцев. — А может быть, все втроем в моей «эмке» поедем? А вашу — в хвост и заместителя моего по строевой туда посадим, старшего лейтенанта. А?

Он произнес эти слова неуверенно, но очень просительно. Звягинцев посмотрел на Пастухова и увидел, что и тот смотрит на него так, точно крайне заинтересован в положительном ответе.

— Ладно, — сказал Звягинцев, — поедем втроем. Разговоров! — позвал он своего водителя.

Тот выскочил из кабины, подбежал к Звягинцеву и, остановившись шага за два, вытянулся. Лихо-замысловатым движением он поднес ладонь к виску и тут же резко опустил руку, неотрывно глядя голубыми глазами в упор на Звягинцева, как бы давая понять всем, что, кроме майора, никого за начальство не признает.

— Поедете со старшим лейтенантом, товарищ Разговоров, замыкающим.

— А вы, товарищ майор? — растерянно произнес водитель.

— А мы впереди. С капитаном и старшим политруком. Ясно? — спросил Звягинцев и, боясь какой-либо неуместной выходки со стороны своего водителя, не дожидаясь ответа, сказал: — Исполняйте.

Затем он повернулся к Суровцеву и приказал:

— Двинулись, товарищ капитан. Расстояние до места примерно сто пятьдесят километров. Значит, часа четыре пути. Прикажите следить за воздухом. Командуйте.

Суровцев козырнул, отбежал на противоположную сторону шоссе и звонким голосом крикнул:

— По ма-а-шинам!

Дорога была пустынной, ночь — светлой. Фар не зажигали.

Звягинцев сидел на переднем сиденье, рядом с шофером — сумрачным человеком лет тридцати, Суровцев и Пастухов — на заднем.

Сначала ехали молча. Потом Суровцев неуверенно сказал:

— Я, товарищ майор, с ваших слов примерно обрисовал замполиту задачу...

Звягинцев повернулся на сиденье и поглядел на капитана и старшего политрука.

— И что же, — спросил он, — задача ясна?

— Не вполне, — неожиданно сказал старший политрук.

Звягинцев и сам сознавал, что слишком лаконично обрисовал Суровцеву задачу, решив, что еще будет время для серьезного разговора. Однако он сказал, пожимая плечами:

— Чего же неясно-то? Задача определенная — создать минные заграждения, подготовить к разрушению в случае необходимости дороги и мосты... Обычная работа инженерных частей.

— Это мне понятно, — слегка кивая своей большой головой, сказал Пастухов, — но у меня есть вопросы...

Он умолк на мгновение, точно обдумывая, как, в какой форме следует ему поставить эти вопросы, и продолжал:

— Я ведь, товарищ майор, политработник. Мне важно понять не только сам приказ, но и...— он помолчал, подбирая нужные слова, — но и... какое он значение имеет. Ведь сами знаете, одно дело просто сказать бойцу: «Окапывайся», а другое — если он будет знать, что времени у него в обрез и с минуты на минуту по нему стрелять начнут. Верно?

Звягинцев нахмурился. В первое мгновение все эти иносказания показались ему проявлением неуместного желания знать больше, чем положено. Он хотел было указать на это старшему политруку, строго посмотрел на него и... сдержался. Немолодой человек смотрел на него спокойно, без всякого вызова, видно не сомневаясь в том, что поделился вполне естественным сомнением и уверен, что Звягинцев его разрешит.

— Товарищ майор, — снова заговорил Пастухов, точно догадываясь, о чем думает сейчас Звягинцев, — прошу вас правильно меня понять. Люди должны знать свою задачу. Не только где устанавливать мины и закладывать взрывчатку — это, разумеется, само собой, — но и для чего. Если бы работы производились на одном из северных участков, все было бы ясно. Но мы двигаемся на юг...

Он умолк, отвел взгляд от Звягинцева, вынул из кармана носовой платок, снял пилотку и вытер широкий вспотевший лоб, точно давая понять, что сказал все, что хотел, а дальнейшее уж от него не зависит.

Звягинцев посмотрел на хранящего молчание Суровцева. Тот пристально глядел в открытое окно кабины, всем своим видом подчеркивая, что к словам своего заместителя отношения не имеет и, как человек дисциплинированный, никаких дополнительных вопросов задавать не собирается.

И вдруг Звягинцев понял, что Суровцев с Пастуховым заранее договорились позвать его в свою машину и «выудить» то, что их так интересовало. Он уже собирался сказать комбату и старшему политруку, что раскусил их нехитрый замысел и что такого рода хитрости с ним, Звягинцевым, не удаются, но, взглянув на Пастухова, переменил намерение.

Старший политрук по-прежнему смотрел на Звягинцева спокойно и пристально, точно не сомневаясь, что сейчас услышит от него какие-то важные и нужные слова.

«А ведь он прав, — подумал Звягинцев, — мы ведь не на маневры едем, не на учения. И все равно по прибытии на место я должен буду созвать командный состав и рассказать, насколько серьезна обстановка. А потом об этом узнают — и должны узнать! — все бойцы».

Он вспомнил слова Жданова: «...не на жизнь, а на смерть!..» — посмотрел на шофера, сосредоточенно глядящего на дорогу и, казалось, совершенно не прислушивающегося к разговору, и сказал громко, не понижая голоса, давая понять, что слова его относятся ко всем:

— Вот что, товарищи. Нас послали на юг, потому что дорожные магистрали Остров — Псков — Луга наиболее благоприятны для действий танковых частей противника. По оценке командования не исключено, что немцы попытаются прорваться вперед, пробиться к Луге и выйти на главную магистраль, ведущую к Ленинграду... Ту, по которой мы сейчас едем.

Эти последние слова вырвались у Звягинцева помимо его воли. И хотя они были естественным продол-

жением слов предыдущих, сам Звягинцев почувствовал, как его охватила тревога. С мыслью, что здесь, в нескольких десятках километров от Ленинграда, могут появиться немцы, примириться было невозможно.

Звягинцев мельком взглянул на шофера. Тот невозмутимо глядел вперед, но Звягинцеву показалось, что губы его сжались крепче, вытянулись в сплошную линию.

Пастухов молчал, и по его лицу трудно было определить, какое впечатление произвели на него слова Звягинцева.

— Наша задача, — сказал Звягинцев, — выиграть время, дать возможность трудящимся Ленинграда и Луги создать оборонительные сооружения, вырыть противотанковые рвы, окопы, построить дзоты. Призыв обкома и горкома к ленинградцам будет опубликован завтра. А наша задача — оборудовать предполье южнее Лужского оборонительного рубежа.

— Так... — задумчиво сказал Пастухов, — вот теперь все ясно.

Некоторое время они ехали молча. В открытые окна «эмки» доносился ровный гул следующей за ней автоколонны.

Они проезжали мимо лесов и рощиц, мимо одиноко стоящих крестьянских домов с плотно прикрытыми ставнями или занавешенными изнутри окнами, и все это — леса, и рощи, и дома, и колодцы со вздернутыми над ними журавлями, — облитое призрачным светом белой ночи, казалось врезанным чьей-то властной и сильной рукой в белесый неподвижный полумрак, ощущающийся как нечто вещественное, материальное, сливающий воедино и землю и небо.

И чем больше Звягинцев вглядывался во все, мимо чего они проезжали, тем более невероятной казалась ему мысль, что сюда может дойти враг.

Он стал гнать от себя эту мысль и старался думать о том, что ему предстоит сделать немедленно по прибытии на выбранную позицию, хотя все это он уже не раз обдумывал до мелочей.

Повернувшись к сидящим позади командирам, он спросил:

— Давно служите в армии?

— Я? — поспешно отозвался Суровцев.

— Нет, — сказал Звягинцев, — я старшего политрука спрашиваю.

Пастухов, казалось, дремал.

— Четыре года, — ответил он, не поднимая век.

— Значит, кадровый? — снова спросил Звягинцев.

Пастухов наконец открыл глаза и задумчиво, точно выверяя правильность своего ответа, произнес:

— Теперь пожалуй, что так.

Неопределенность его слов не понравилась Звягинцеву, привыкшему к военной точности.

— По партийной мобилизации? — настойчиво спросил он.

— Да нет... Сначала отсрочки были, потом на действительную призвали. А потом так случилось, что остался.

— Понравилась военная служба?

— Товарищ майор, — вмешался в разговор Суровцев, — старший политрук на Халхин-Голе воевал. Как раз с концом его службы совпало.

— Вот как?! — произнес Звягинцев, не сумев скрыть удивления. И с еще большей настойчивостью продолжал спрашивать: — А образование имеете инженерное?

— Да нет, — в своей прежней манере ответил Пастухов. — Попал в саперы, так и пошло.

— А кем работали на гражданке?

— Я? — переспросил Пастухов. Неожиданно его светло-серые, казалось, бесцветные глаза чуть сощурились, и он сказал, на этот раз с несомненным вызовом: — Областным музеем заведовал.

— Музеем? — разочарованно переспросил Звягинцев. — Это каким же?

— Музеем Ленина, — коротко ответил Пастухов.

— Ин-те-ресно... — несколько смущенно проговорил Звягинцев.

— Старший политрук за Халхин-Гол медаль имеет. «За отвагу», — сказал Суровцев, и в голосе капитана послышалась обида на то, что Звягинцев недооценивал его замполита.

— Это хорошо, — произнес Звягинцев, ощущая неловкость, и спросил: — Почему не носите? Скромничаете?

— Какая тут скромность! — усмехнулся, пожимая своими широкими плечами, Пастухов. — Ленточка износилась, а новых в военторг не подвезли.

— Так-так, — сказал Звягинцев. — А я, честно говоря, как-то не подумал, что вы могли сражаться на Халхин-Голе.

— Почему же? — спокойно ответил Пастухов. — По возрасту вы, товарищ майор, меня моложе. Тем не менее участвовали в финской.

— Откуда вы знаете? — быстро спросил Звягинцев.

— А как же? Справлялся в политуправлении. Интересовался, под чьим началом будет батальон действовать. Для нас это небезразлично.

Пастухов сказал это обычным, будничным тоном, как нечто само собой разумеющееся.

— Значит, наводили справки? И что же, если бы не подошел, забраковали бы? — спросил он уже с явной усмешкой.

— Таких прав не имеем, — все так же спокойно ответил Пастухов. — А вот за то, что прислали боевого командира, командованию благодарны.

Неожиданно он улыбнулся доброй, обезоруживающей улыбкой и сказал:

— Меня Евгением Ивановичем зовут.

— Евгений Иванович? — переспросил Звягинцев и тоже улыбнулся в ответ. — Это хорошо, — добавил он уже совсем не к месту и, чтобы скрыть свое смущение, поспешно сказал: — А меня Алексей Николаевич. Ну, будем еще раз знакомы. — И Звягинцев протянул через спинку сиденья руку, поочередно Пастухову и Суровцеву, и на душе у него стало как-то легче.

Теперь он чувствовал явное расположение к Суровцеву за то, что тот точно в срок вывел батальон на исходные позиции, в прошлом был награжден именными часами, а главное, за то, что, видимо, гордился своим замполитом и был способен не на шутку обидеться, если кто-нибудь, даже начальство, недооценит старшего политрука.

Что же касается самого Пастухова, то Звягинцева

расположил к нему не столько факт участия в событиях на Дальнем Востоке, сколько несомненный прирожденный такт, умение спокойно и открыто говорить то, что в устах другого прозвучало бы обидно.

— Кажется, подъезжаем, — неожиданно сказал Суровцев, глядя на расстеленную на его острых мальчишеских коленях карту. — Километра два осталось, не больше.

Через несколько минут машина остановилась. Суровцев соскочил первым и, выбежав на противоположную сторону дороги, поднял руку, давая знак колонне прекратить движение.

— Здесь, точно, — удовлетворенно проговорил Звягинцев, — вот это и есть Плюса.

Он показал в сторону узенькой речки.

Их окружали луга и кустарники. Где-то в кустах начинали свое раннее пение птицы. Издалека доносился стук телеги и ржание лошади. Воздух был свежим, прохладным.

— Трудно поверить, что... — неожиданно произнес Суровцев. Он умолк на полуслове, но и Звягинцев и Пастухов поняли, что хотел сказать капитан.

«Нечего, нечего тут!.. — мысленно обрывая и себя и Суровцева, думал Звягинцев. — Надо работать, работать!..»

— Машины укрыть в кустарнике, — приказал он, обращаясь к Суровцеву. — Полтора часа бойцам на еду и отдых, — он посмотрел на часы,— затем соберем комсостав. В четыре тридцать приступим к работам. Через час доложите схему распределения работ — поротно и повзводно. Действуйте. Вам, старший политрук, наверное, нужно специальное время, чтобы побеседовать с политсоставом и бойцами? — обратился он к Пастухову.

— Поговорю во время еды и отдыха, — угрюмо и не глядя на Звягинцева, ответил тот.

Опустился легкий туман, и только где-то очень далеко краснел скорее угадываемый, чем видный, горизонт.

— Что это? — спросил, указывая туда рукой, Звягинцев. — Солнце?

— Солнце никогда не восходит на юге, товарищ майор, — с горечью сказал Пастухов. — Это — зарево.

Глава IV

Откровенность Васнецова произвела на Валицкого глубокое впечатление. Ему, старому архитектору, беспартийному человеку, секретарь горкома партии прямо сказал о неудачах на фронте и о той опасности, которой может подвергнуться Ленинград.

Узнав от Васнецова то, чего еще наверняка не знали миллионы людей в стране, Валицкий ощутил — скорее, правда, интуитивно, чем осознанно, — свою причастность к событиям, которыми сейчас жили не только ленинградцы, но и весь народ.

Федор Васильевич еще не знал и внутренне еще не был подготовлен к решению, что же должен делать теперь он сам. Но в том, что делать что-то нужно, он не сомневался.

Одно Валицкий знал твердо: из Ленинграда он не уедет. Разумеется, он не получил от Васнецова разрешения остаться. Однако то обстоятельство, что предложение уехать ни в коей мере не отражало — как он думал совсем недавно — недоверия лично к нему и не являлось административным приказом, несомненно, допускало определенную свободу действий.

Итак, он останется в Ленинграде. Уедет лишь его жена. Ее покоем, а может быть, и жизнью он распоряжаться не вправе. Валицкий принял это решение, так сказать, теоретически, потому что в течение десятков лет не разлучался с женой на длительное время и практически не мог себе представить, как будет жить без нее.

Как ни странно, но за судьбу сына Федор Васильевич сейчас не волновался. В том, что Анатолий сегодня или завтра вернется домой, Валицкий был уверен... Но неужели он не задавал себе вопроса: «А что будет дальше?» Неужели не понимал, что из всей его небольшой семьи именно Анатолию, молодому человеку призывного возраста, предстоит по логике событий в дальнейшем подвергнуться наибольшей опасности?

Нет, разумеется, Валицкий думал обо всем этом, в особенности теперь, после разговора с Васнецовым. Но он был убежден, что каждый человек должен в соответствии со своими знаниями, возрастом и объективно сложившимися обстоятельствами занимать свое, именно свое место в жизни, как бы она, эта жизнь, ни сложилась. Превыше всего ценя в людях честь и достоинство, Валицкий страдал от того, что сам он — не по своей, конечно, вине! — уже давно не занимает того места, занимать которое не просто имеет право — дело было совсем не в праве! — но обязан, именно обязан в силу своих знаний, способностей и опыта.

С Анатолием, говорил себе Федор Васильевич, все проще. Он будет на своем месте, на том самом, на котором обязан быть. Как это ни странно, но мысль о том, что это «место» может стать могилой для его сына, просто не приходила Валицкому в голову.

...После посещения им Смольного Валицкий в течение двух дней вообще не выходил из дому, ожидая новых телефонных звонков из архитектурного управления. Но никто не звонил. Наконец он не выдержал.

Ему захотелось хотя бы зрительно приобщиться к тому, что происходит вокруг, почувствовать себя хотя бы косвенным участником событий.

Медленно идя по раскаленному от жары асфальту, он внимательно присматривался ко всему, что его окружало, безотчетно пытаясь сопоставить услышанное от Васнецова с реальным окружающим его миром.

Валицкий шел, вглядываясь в лица прохожих, в окна домов, заклеенные узкими, перекрещивающимися бумажными полосами, в магазинные витрины, заложенные целиком или до половины мешками с песком.

Возле одной из таких витрин Федор Васильевич остановился и скептически осмотрел сооружение из мешков. «Глупо, — сказал он про себя, — глупо и безграмотно. Через день-другой это сооружение неминуемо развалится».

Федор Васильевич огляделся в надежде найти кого-нибудь, кто имел бы отношение к этой песчаной стене. Однако увидел только прохожих, озабоченно спешивших по своим делам.

Тогда Валицкий решительно вошел в магазин. Там

торговали галантереей и кожаными изделиями. Под потолком горела электрическая лампочка — свет с улицы сюда почти не проникал. За широким застекленным прилавком стояла девушка-продавщица и сосредоточенно наблюдала за светловолосым парнем, который тщательно разглядывал брезентовый рюкзак. Он вертел его, расправлял, пробовал крепость заплечных ремней.

— Вот что... — без всяких предисловий начал Валицкий, — скажите тем, кто возводил это идиотское сооружение, — он мотнул головой в сторону прикрытой снаружи витрины, — что оно через неделю развалится...

Продавщица удивленно посмотрела на длинного, как жердь, странного человека с галстуком-бабочкой — она видела такие лишь на сцене, в театре оперетты. Парень опустил рюкзак на прилавок и тоже недоуменно посмотрел на Валицкого.

— Я, кажется, ясно сказал, — повторил Валицкий. — Положить в основание три мешка и взвалить на них целую гору может только идиот.

— А вы не ругайтесь, гражданин... — с обидой в голосе сказала девушка за прилавком.

— Черт знает что! — еще более раздражаясь, прервал ее Валицкий. — Есть в этом... гм...м торговом заведении какое-нибудь ответственное лицо?

— Да в чем дело-то, папаша? — весело вступил в разговор парень, опуская на прилавок рюкзак.

— Не имею чести быть вашим родственником, молодой человек! — сверкнул глазами Валицкий. — Однако если вы способны что-либо соображать, то должны понять...

— В чем дело? — раздался за спиной Валицкого чей-то явно встревоженный мужской голос.— Вас плохо обслужили?

Валицкий обернулся и увидел на пороге маленькой, почти неразличимой в стене двери лысого мужчину в пиджаке, надетом прямо на майку.

— Я обхожусь без... лакеев и не нуждаюсь, чтобы меня об-служивали! — отчеканил Валицкий. — Я просто хочу обратить внимание на то, что это нелепое сооружение из мешков с песком...

— Прикрытие установлено в соответствии с указаниями Ленсовета, — начал было мужчина, но Валицкий прервал его:

— Тяжести держат не инструкции, а фундамент! Извольте распорядиться, чтобы все это перебрали! Основание должно быть шире! Вам понятно? Шире!

Он передернул плечами и, не дожидаясь ответа, вышел из магазина, хлопнув дверью.

Валицкий продолжал свой путь, мысленно повторяя разные бранные слова по адресу тупиц и невежд, которые даже такого простого дела, как технически грамотно уложить мешки с песком, не могут сделать. Однако где-то в глубине души он был доволен собой. Доволен неосознанно, безотчетно.

Разумеется, если бы кто-нибудь, наблюдавший его со стороны, сказал Федору Васильевичу об этом, он в ответ только чуть покривил бы свои тонкие губы и ответил бы, что все это сущие глупости и что он забыл о дурацком эпизоде с мешками в ту же минуту, как вышел из магазина.

Но он сказал бы неправду. Он, несомненно, был доволен собой и теперь еще более внимательно вглядывался в окна, витрины, в стены домов, придирчиво оценивая прикрытия из мешков с песком, бревен и досок.

У стенда со свежей «Ленинградской правдой» Валицкий остановился, вспомнив, что еще не видел сегодняшних газет, и поверх голов — впереди уже стояло несколько человек — стал читать военную сводку на первой странице. На бессарабском участке части Красной Армии прочно удерживали реку Прут. Однако моторизованным отрядам немцев удалось прорваться к Минску...

Некий пленный ефрейтор Отто Шульц обратился к немецким солдатам с призывом свергнуть режим Гитлера. В ряде городов Германии участились акты саботажа...

Валицкий читал эти столь неравноценные по значению сообщения, а в ушах его звучал голос Васнецова: «Пока враг сильнее...»

И горькая мысль снова овладела Валицким. Почему же так случилось, что он не может найти своего места, не знает, чем помочь родному городу в эти грозные дни?

До сих пор, страдая от изолированности, в которой он оказался, как был уверен, не по своей вине, Валицкий убеждал себя, что он пусть одиноко, но с достоинством и честно делает свое дело. Но теперь все обстояло иначе. Теперь он не имел права оставаться в стороне. Все его старые обиды заглушило, отодвинуло на задний план, в тень, сознание, что тупая, мрачная, жестокая сила угрожает всему тому, что является для него, Валицкого, самым дорогим.

Жажда участия в надвигающихся грозных событиях переплеталась в сознании Валицкого с самолюбивым стремлением доказать тем, кто недооценивал его, на что он способен.

Отказавшись уехать из Ленинграда, Валицкий уже сделал свой первый шаг в этом направлении.

Но каким должен быть второй?..

Федор Васильевич поспешно отошел от газетной витрины. Ему вдруг показалось, что окружающие его люди смогут услышать так неожиданно нахлынувшие на него мысли.

Но нет, эти мысли не были неожиданными. С того момента, как ему так категорически предложили покинуть город — нет, еще раньше, после разговора с Осьмининым, когда тот отмахнулся от своего старого друга, сказав, что «занят», «очень занят», — Валицким все сильнее овладевала мысль о бессмысленности своего существования.

Он гнал от себя эту мысль, но каждый раз она снова и снова возвращалась к нему. Он пытался убедить себя, что «и это пройдет», что и теперь он сумеет остаться самим собой, но уже понимал, какой наивной и даже жалкой выглядит его претензия на фоне разворачивающихся грозных событий.

Ну хорошо, он отстоит свое право остаться в Ленинграде. Но зачем? Что будет он делать, если не покинет города? Об армии ему нечего думать: он снят с военного учета много лет назад и даже не помнит, где его военный билет...

Что же он будет делать? По-прежнему консультиро-

вать архитектурные проекты? Но кому сейчас придет в голову заниматься новым строительством? Не до того.

«Ну хорошо, — продолжал свой диалог с самим собой Валицкий, — в конце концов я не один. В городе тысячи, десятки тысяч людей моего возраста. Не может же быть, чтобы они все уехали. Васнецов сказал, что эвакуируют тех, кто представляет особую ценность. Ну, а остальные?..»

Мысль о том, что «особая ценность» его, Валицкого, ныне официально признана, все же льстила ему. Он попытался сосредоточиться именно на этой мысли, но тщетно. Ему не удавалось раздуть этот чуть тлеющий, чуть согревающий его изнутри огонек. Он понимал, что успокоится лишь тогда, когда найдет свое место, докажет тем, кто пренебрегал им все эти годы, этому Рослякову, тому же Васнецову — нет, не только им, но и тем, кто уверен, что он, Валицкий, может быть только таким, каким он был,—Осьминину, сыну своему, наконец, что способен не только рассуждать, но и действовать.

В небольшом, примыкающем к дому скверике люди рыли укрытие. Человек двадцать мужчин и женщин, пожилых и молодых, стояли уже по грудь в траншее, энергично копали землю лопатами, наполняли ею ведра, которые затем передавали по цепочке наверх. Землю ссыпали тут же, неподалеку, а пустые ведра, передаваемые по цепочке, снова исчезали в траншее.

Валицкий остановился, несколько минут сосредоточенно глядел в глубь траншеи и вдруг крикнул:

— Прекратите!

Поглощенные своим делом люди до сих пор не замечали Валицкого, но теперь, привлеченные его внезапным резким выкриком, прекратили работу и как по команде подняли головы. Сначала на их лицах отразилось недоумение, потом появились улыбки.

Валицкий и впрямь выглядел комично на фоне этих полураздетых — их пиджаки, сорочки и кофты лежали тут же сложенные горкой, — людей.

Один из тех, кто стоял в цепочке — пожилой коротконогий мужчина с волосатой грудью, — добродушно спросил:

— В чем дело, гражданин?

Валицкий терпеть не мог, когда его называли «гражданином». Он считал, что это слово предназначено для очередей, домоуправлений и милиционеров и обращаться с ним можно только к обывателю. При слове «гражданин» он всегда вспоминал персонажей Зощенко.

— Кто вам разрешил копать здесь эту... яму?! — сердито спросил он.

Улыбки исчезли с лиц. Теперь люди смотрели на Валицкого неприязненно и подозрительно.

— Здесь нельзя копать! — продолжал Валицкий, видимо не замечая впечатления, которое производит на людей и своей внешностью, и своими словами. — Кто вам это разрешил? — еще громче повторил он.

Стоящие на краю траншеи люди поставили на землю свои ведра и стали медленно приближаться к Валицкому.

— Да вы кто такой будете? — спросил мужчина с волосатой грудью, меряя Валицкого взглядом с головы до ног — от его седой, похожей на нимб шевелюры до хорошо начищенных туфель.

— Это не ваше дело! — ответил Валицкий. — Вопрос не в том, кто я такой, а в том, что ваша работа есть не что иное, как... вредительство!

Теперь Валицкий стоял плотно окруженный раздраженными, взмокшими от пота людьми.

— Это кто — мы вредители? — спросил, задыхаясь от гнева, волосатый. Он, видимо, был здесь за старшего. — А ну, предъяви документы! — крикнул он и протянул свою руку.

Обращение на «ты» — это было уж слишком для Валицкого.

— Прошу не тыкать! — взвизгнул он. — Я...

— А ну, Василий, сбегай за милиционером, — повелительно сказал волосатый, обращаясь к парню в матросской тельняшке и закатанных до колен брюках.

Но оказалось, что милиционер был тут как тут. Он неожиданно вырос перед Валицким, оглядел его и спросил:

— В чем дело?

Люди наперебой стали объяснять милиционеру, что произошло, он выслушал их и, обратившись к Валицкому, строго сказал:

— Документы!

Сознавая, что он попал в глупую, неприятную историю, и вспомнив, что никаких документов он с собою, как обычно, не захватил, Валицкий произнес растерянно:

— При чем тут документы?! Это же нелепо...

— Тогда пройдемте, — еще строже сказал милиционер и решительно потянулся к плечу Валицкого. Тот отшатнулся, как от удара, и закричал:

— Вы, вы не имеете права! Я архитектор Валицкий!.. Я... я был в Смольном! Меня товарищ Васнецов принимал!..

Милиционер опустил руку, недоуменно пожал плечами и неуверенно проговорил:

— Вы можете наконец объяснить, что́ происходит?

— Конечно, конечно, — заторопился Валицкий, уже сознавая, что ведет себя глупо, и стараясь исправить положение, — я сейчас все объясню! Вы поймите: траншея такой глубины будет угрожать этому дому. — Он вытянул руку по направлению к стоящему рядом зданию. — Это же угроза фундаменту, вам каждый техник, каждый студент подтвердит! Фундамент через некоторое время неминуемо осядет, дом даст трещину, может произойти обвал.

Сам того не замечая, он схватил милиционера за портупею и все сильнее тянул его по направлению к дому.

Милиционер наконец мягко высвободил свою портупею из цепкой руки Валицкого и спросил, обращаясь к волосатому:

— По чьему указанию роете?

— То есть как это «по чьему»? — обиженно переспросил тот. — Ведь решение есть — рыть укрытия. Нам управхоз задание дал... Все, кто от работы свободные...

— Вы из какого дома? — спросил милиционер.

— Да из этого же, вон из этого, — загалдели люди, указывая на тот самый дом, о котором только что говорил Валицкий.

— Ну, вы смотрите! — победно и даже обрадованно

воскликнул Федор Васильевич. — Ведь они свой собственный дом подкапывают! Бог знает что!

Люди растерянно молчали.

— Ладно,—наконец решительно сказал волосатый,— прекратить работу, раз такое дело. Я сейчас до райсовета дойду, посоветуемся.

— Ну, конечно, ну, разумеется, — облегченно и даже обрадованно подхватил Валицкий, — там же есть и техники и архитектор!..

— Понятно, — сказал волосатый и пошел к горке сложенной одежды. — За совет спасибо, — сказал он на ходу, — а только вредителями нас обзывать ни к чему. И в такое время...

— Вы простите меня, — вырвалось у Валицкого помимо его воли, — но только для специалиста все это так очевидно...

— Ясно, — примирительно сказал волосатый, натягивая сорочку на свое короткое, широкое туловище, — только среди нас строителей нет. Слесаря есть, бухгалтер имеется, токарь вон тоже есть, — он кивнул в сторону парня, которого посылал за милиционером, — а вот строителей нет. Ладно!

Он отряхнул от пыли пиджак и надел его.

— Вопрос исчерпан, товарищ архитектор, можете продолжать следовать, — строго, но явно сдерживая улыбку, сказал милиционер и поднес ладонь к козырьку фуражки. — А документ все же надо носить при себе,— добавил он. — Время такое...

Валицкий пошел дальше. «Боже мой, — думал он, — как глупо, как нелепо я себя веду! Просто трагикомедия какая-то получается... Я совершенно разучился говорить с людьми...»

Но как ни старался Валицкий убедить себя, что ощущение неловкости и даже стыда, которое он испытывал, имеет единственной причиной только что происшедший эпизод, дело было не в нем, а в том главном, что занимало сейчас все мысли Федора Васильевича, — в неясности будущего, в нерешенности вопроса, что же ему делать дальше.

Теперь Валицкий шагал по Невскому. Он видел, как укрывают в деревянный футляр памятник Кутузову и роют траншеи в сквере перед Пушкинским театром, и ему казалось, что все, все люди, которые встречаются ему на пути, уже нашли свое место, уже знают, как им жить и что делать. Все, кроме него.

Неожиданно ему в глаза бросилось большое объявление:

ЗАПИСЬ В ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ БАТАЛЬОН

Объявление было приклеено прямо к гранитной стене большого старинного здания.

«Как все просто обстоит для тех, кто молод», — с горечью подумал Валицкий. И ему вдруг нестерпимо захотелось посмотреть на тех, кто записывается в этот батальон. Он сам не знал почему.

Со смешанным чувством горечи и любопытства Федор Васильевич вошел в широкий подъезд и стал медленно подниматься по мраморной лестнице. На первой же площадке он увидел новое, приклеенное к стене объявление — лист писчей бумаги, на котором тушью было выведено:

ЗАПИСЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ В КОРИДОРЕ НАПРАВО!

Широкая стрела указывала направление.

Валицкий вошел в длинный, освещенный тусклым электрическим светом коридор. В конце его толпились люди. Валицкому захотелось подойти поближе, он уже сделал несколько шагов к ним, но вдруг подумал, что и эти люди будут на него смотреть, как на музейный экспонат. Он повернулся и пошел назад, миновал лестничную площадку и направился в противоположный коридор. Там было пустынно.

Валицкий встал лицом к стене и, озираясь, украдкой, боясь, чтобы кто-нибудь не застал его за этим занятием, поспешно развязал галстук-бабочку и сунул его в карман. Затем так же торопливо снял пиджак, жилетку, свернул ее в комок, снова надел пиджак и расстегнул воротник сорочки. Попробовал сунуть скомканную жилетку в карман пиджака, но она туда не влезала. Тогда он зажал сверток под мышкой, снова воровато огляделся и широкими шагами направился обратно, туда, где стояли люди.

Очередь тянулась к небольшому столу, за которым сидел пожилой военный с двумя прямоугольниками в петлицах. К своему удивлению, Валицкий увидел, что состояла очередь совсем не из молодых людей, как он предполагал, а скорее из пожилых.

Валицкий подошел к ним. И в этот момент стоявший к нему спиной человек невысокого роста, в чесучовом пиджаке обернулся и сказал:

— Я буду перед вами, товарищ. Скоро вернусь. Если отлучитесь, предупредите того, кто за вами будет...

Валицкий успел разглядеть его морщинистое лицо и щеточку седых усов. В следующую минуту он уже увидел его спину — тот торопливо шагал по коридору к выходу.

Валицкий хотел было крикнуть ему вслед, что он сейчас уйдет, что он вообще здесь случайно, но человек в чесучовом пиджаке был уже далеко, и к тому же Федору Васильевичу не хотелось привлекать к себе внимания стоявших в очереди людей. Он нерешительно потоптался на месте, ожидая, пока кто-нибудь встанет за ним. Вот тогда можно будет предупредить, что тот, в чесучовом пиджаке, вернется, а самому спокойно уйти. Но, как назло, никто не подходил.

Он стал смотреть в спину стоящего перед ним узкоплечего человека, и тот, должно быть почувствовав на себе его взгляд, обернулся, поправил очки на носу, оглядел Валицкого с головы до ног и неожиданно спросил:

— А вы кто будете по специальности?

Валицкий уже был готов сказать привычное: «Архитектор», — но в последнюю секунду вдруг передумал и ответил: «Инженер-строитель», — что было в общем-то недалеко от истины.

Он произнес это так громко, что стоящие впереди люди обернулись.

— У вас, конечно, есть военная специальность? — снова спросил человек в очках.

— Гм-м... разумеется, — ответил Валицкий. Ему безотчетно хотелось продлить иллюзию своей причастности к этим людям, к тому делу, ради которого они пришли сюда.

— А вот я счетовод, — сказал человек в очках. — Как вы думаете, запишут меня?

— Я же вам уже разъяснял, папаша, — вмешался молодой голос, — в добровольцы зачисляют не по специальности. Здесь люди нужны. Конечно, если есть военная профессия, то лучше. Я, например, командиром взвода на действительной служил.

Валицкий присмотрелся к говорившему. Это был сухощавый парень лет двадцати пяти, высокий и с впалой грудью.

— Почему же, позвольте узнать, вас не призвали теперь? — спросил он и подумал об Анатолии.

Ему показалось, что парень смутился.

— Ждать не хочу! — сказал тот резко и даже с вызовом.

— Первым в Берлин желает попасть! — вмешался в разговор еще один из стоящих в очереди людей — мужчина средних лет, лысый и с маленьким чемоданчиком в руке.

— Судя по сводкам, до Берлина еще далеко! — вырвалось у Валицкого помимо его воли, и уже через мгновение он интуитивно почувствовал, как между ним и остальными людьми образовалась невидимая стена отчуждения. Ему захотелось немедленно пробить, сломать ее. Он сказал неуверенно: — Впрочем, наши войска от Перемышля и до Черного моря прочно удерживают границу...

Этого оказалось достаточно, чтобы примирить с ним людей, всем своим существом жаждущих ободряющих известий.

— Очевидно, там укрепления у нас сильные, — сказал человек в очках.

— Дело не в укреплениях,— возразил парень с впалой грудью. — «Линия Маннергейма» считалась неприступной, однако ее прорвали. Дело в людях...

— Нет, не скажите, — не сдавался счетовод, повышая голос.— Общеизвестно, что фортификации, — он отчетливо и подчеркнуто произнес это слово, — играют большую роль в современной войне. — Вот вы, — обратился он к Валицкому, — как инженер-строитель, должны знать...

— Кто здесь инженер-строитель?—неожиданно раздался громкий, всеподчиняющий голос.

Прошла секунда-другая, и люди расступились, образуя широкий проход, в конце которого стоял стол, а над столом, чуть приподнявшись, навис военный с двумя прямоугольниками в петлицах.

— Кто из вас инженер-строитель? — снова настойчиво спросил он.

— Вот, вот этот товарищ! — раздались рядом с Валицким голоса.

— Прошу подойти сюда, — требовательно сказал майор, обращаясь теперь уже непосредственно к Валицкому.

Растерянный, нерешительно шагая, Федор Васильевич приблизился к столу.

— Вы инженер, товарищ? — спросил майор.

— Собственно, я архитектор... — начал было Валицкий.

— Но со строительным делом знакомы? — прервал его майор.

Подобного невежества Валицкий перенести не мог.

— Было бы вам известно, что любой грамотный архитектор... — начал было он, но майор и на этот раз прервал его:

— Ясно. Где работаете?

— В архитектурном управлении.

— Сколько вам лет?

Валицкий почувствовал, как загорелось его лицо.

— Пятьдесят шесть,— неуверенно ответил он, убежденный, что его ложь немедленно станет очевидной.

— Хорошо, — не выказывая никакого удивления, сказал майор, — попрошу ваш паспорт.

Валицкий стоял, сгорая от стыда и растерянности. Что, что сказать этому военному? Что не собирался никуда записываться? Что зашел сюда случайно, из любопытства? Что ему не пятьдесят шесть, а шестьдесят пять?

— Я... я не захватил с собой паспорта, — пролепетал он.

— Как же так? — укоризненно покачал головой майор. — Идете вступать в добровольцы и не берете с собой документа? Где проживаете? Ваша фамилия, адрес?...

Будучи еще не в силах собраться с мыслями, Валицкий покорно отвечал на вопросы майора и видел, как тот вписывает в широкий разграфленный лист бумаги его фамилию и адрес.

— Пока все,— сказал майор, осторожно кладя ручку рядом с чернильницей. — Я записал вас условно. Когда пришлем повестку, явитесь с паспортом и военным билетом. — Он помолчал мгновение и сказал с усталой улыбкой: — Спасибо. Строители будут очень нужны. Следующий! — объявил он уже громко.

Точно в оцепенении, все еще судорожно сжимая под мышкой скомканную жилетку, Валицкий медленно спускался по широкой мраморной лестнице, ничего не слыша и никого не видя вокруг.

«Какая глупость, я сыграл недостойную комедию! — думал он. — Это же нелепость, бред какой-то! Ведь когда узнают, сколько мне на самом деле лет...»

Он ругал себя за то, что впутался в эту историю, обманул человека, занимающегося важным, серьезным делом, чувствовал себя школьником, по-детски нелепо совравшим учителю.

Валицкий шел домой и думал о том, что необходимо перехватить повестку. Но как? Он ведь никогда не выходил на звонок к двери. Ее обычно открывала домработница, иногда жена или Анатолий, если был дома. Что будет, если им в руки попадет эта повестка? Глупо, смешно. Жена испугается...

Федор Васильевич представил себе, что в течение ближайших дней должен будет прислушиваться к каждому звонку, к каждому шороху за дверью и бежать в переднюю, как мальчишка, как гимназист, ожидающий любовного письма.

«Мальбрук в поход собрался!..» — с горькой иронией подумал он.

Он был уже у подъезда, когда вспомнил о своем нелепом виде: в расстегнутой рубашке, со скомканной жилеткой под мышкой. Вошел в подъезд, огляделся и стал торопливо снимать пиджак...

Глава V

В начале второй недели войны как Главному командованию в Москве, так и военным и партийным руководителям в Смольном стали ясны ближайшие намерения немцев относительно Ленинграда. Понять эти намерения помогла интенсивная разведка, опросы пленных и прежде всего действия самих немцев, которые, форсировав Западную Двину, двигались на север теперь уже ярко выраженными группировками: одна из них, наиболее мощная, устремилась на Псков, другая — на Таллин.

Но понять намерения немцев еще отнюдь не значило предугадать их конкретные шаги. Развивая наступление, враг мог ударить на Лугу, в центр обороны, или по ее западному краю — на Кингисепп, мог попытаться прорвать восточные оборонительные рубежи в районе Новгорода. Наконец, не исключалось, что главную роль в захвате Ленинграда немцы все же отвели тем своим и финским войскам, которые концентрировались на северной границе, тем более что Маннергейм, хорошо помнивший недавние уроки, полученные от Красной Армии на Карельском перешейке, и поэтому в течение первых четырех дней после вторжения немцев трусливо выжидавший дальнейшего хода событий, теперь решил, что настал и его час: 26 июня Финляндия объявила войну Советскому Союзу. А спустя еще три дня командующий 14-й армией, охранявшей советские границы на севере, доложил в Смольный, что на Мурманском направлении в три часа утра враг после ряда воздушных налетов и мощной артиллерийской подготовки перешел в наступление.

Теперь уже большая часть ленинградских предприятий переключилась на производство военной продукции. Пять заводов начали выпускать артиллерийские орудия, одиннадцать — минометы.

В считанные дни на заводах, фабриках, в мастерских, кустарных артелях, занятых до этого выпуском продукции сугубо мирного характера — от турбин и станков до примусов и детских игрушек, научились ремонтировать танковые двигатели и авиационные моторы, производить корпуса снарядов, мин и авиабомб, огнеметы и армейские радиостанции.

Если в конце июня в предполье Лужской оборонительной полосы работы вели лишь выдвинутые к реке Плюсе кадровые инженерные и саперные части, то уже в первых числах июля по призыву Смольного на строительство оборонительных рубежей двинулись десятки тысяч жителей Ленинграда, Луги и прилегающих к ним городов и сел.

Однако не ждал и враг.

Пятого июля Остров, расположенный в трехстах километрах к юго-западу от Ленинграда, был взят немцами. Надежды на свежую дивизию, которую Ставка перебросила из глубины страны, не оправдались,—едва выгрузившись в самом начале июля в районе Острова, она попала под ожесточенные удары немецкой авиации и танков и отошла, так и не успев занять намеченные позиции.

Опасность, грозящая Ленинграду, стала вырисовываться еще яснее. И новые десятки тысяч ленинградцев устремились к реке Луге. Теперь уже свыше двухсот тысяч человек работали на строительстве оборонительных рубежей — рыли траншеи и противотанковые рвы, строили доты и дзоты, устанавливали лесные завалы и надолбы, а поезда и автомашины ежедневно перебрасывали туда все новых и новых людей, старых и молодых, мужчин и женщин — всех, кто был способен держать в руках лом, кирку, лопату.

И все же строительные работы были еще далеки от завершения.

На следующий день после взятия немцами Острова не сумевшая отстоять его дивизия вместе с бойцами Островского истребительного батальона и отрядов городского партийного актива попыталась отбить город. Но тщетно. Немцы значительно превосходили наши части в численности и вооружении. Ни мужество советских бойцов, ни их готовность стоять насмерть не смогли изменить положения. Танковые соединения немцев рвались вперед.

И хотя отдельным нашим подразделениям то тут, то там удавалось замедлить стремительное продвижение врага, остановить его они не смогли.

В соответствии с новыми указаниями Ставки на ближних подступах к Ленинграду началось сооружение еще одной зоны обороны. Военный совет фронта, идя на огромный риск, снял с северного—Петрозаводского направления и с Карельского перешейка две стрелковые и две танковые дивизии и бросил их на Лужское направление.

Однако положение оставалось угрожающим именно здесь, потому что именно сюда, к Луге, рвались теперь немецкие войска.

Луга! Это слово сотни раз повторялось в те дни в Смольном, где теперь размещались не только обком и горком партии, но и Военный совет, и на площади Урицкого, в старинном, полукругом расположенном здании, где работал штаб фронта.

Там, на реке Луге, теперь уже полмиллиона ленинградцев работали не покладая рук. Немецкие самолеты бомбили их день и ночь. Люди укрывались тут же, в только что вырытых ими траншеях и окопах, и снова брали в руки ломы и лопаты, едва затихал гул самолетов.

Они уже знали размеры народного бедствия, знали, что горят, стонут под немецкой бронированной пятой Белоруссия, Литва и Латвия, часть Украины и Молдавия. Они знали, что фронт проходит теперь у Житомира, Проскурова, Могилева-Подольского, по красным от крови рекам Пруту и Дунаю. Они видели воочию, как отступает Красная Армия, потому что днем и ночью по оставленным в минированных полях проходам шли с юго-запада на север отступающие части Северо-Западного фронта.

Люди старались не видеть, не замечать тех, кто отступал. Кинув на них взгляд горечи и осуждения, строители тут же опускали головы и еще сильнее вонзали в землю свои лопаты, кирки и ломы.

Работали под вражескими бомбами, под грозами и ливнями по двадцать часов в сутки. Успеть закончить работы до подхода врага! Не допустить его к порогу Ленинграда! На этом сконцентрировались сейчас мысли, воля, вся жизнь тех, кто меньше двух недель тому назад мирно трудился в родном городе и от кого ныне во многом зависела судьба Ленинграда.

К началу июля батальон, находящийся в распоряжении майора Звягинцева, выполнил свою задачу. Участок земли в тридцать километров по фронту и пятнадцать в глубину превратился в огромную ловушку для неприятельских войск. А на левом фланге этого участка были скрыты тяжелые фугасы, которые в любую минуту могли быть взорваны по радио. Только узкий, в километр шириной, коридор временно оставался свободным для прохода отступающих с юга и юго-запада советских частей и спасающегося от немцев гражданского населения. Все остальное пространство было густо заминировано, проезжие дороги разрыты или перегорожены лесными завалами, и мины, мины подстерегали вражеский танк или автомашину при любой попытке объехать препятствие.

Когда батальон прибыл сюда, в район Стругов Красных, в тылу его царила тишина. А сейчас там работали десятки тысяч строителей. Пустынно и тихо было тогда и на флангах батальона. Теперь на всем протяжении реки Луги, от Финского залива и почти до озера Ильмень, кипела работа: саперные и инженерные части делали на своих участках то же, что и батальон Звягинцева.

И к концу первой недели июля войска, которые Военный совет Северного фронта сконцентрировал на центральном участке Лужского направления, имели перед собой не только оборонительные сооружения, но и густо минированное предполье.

Что касается Звягинцева, то он выполнил и вторую часть возложенной на него задачи. Вместе с замполитом Пастуховым и несколькими бойцами-коммунистами он заложил неподалеку от города Луги, в пунктах, указанных на карте, запасы взрывчатки на случай, если здесь придется действовать партизанам...

Всю дорогу из леса обратно в штаб батальона Звягинцев и Пастухов ехали молча.

Проводив Звягинцева до его палатки, Пастухов сказал:

— Что ж, товарищ майор, очевидно, вы сейчас будете писать донесение, а я пойду к бойцам.

— Погоди, Пастухов, — угрюмо ответил Звягинцев, — донесение написать успею. Зайди.

В палатке было темно.

Звягинцев зажег фонарь «летучая мышь», стоящий на вбитом в землю одноногом столе, и присел на кровать, застеленную серым армейским одеялом.

— Садись, — кивнул он Пастухову на табуретку и, когда старший политрук сел, спросил: — О чем ты думаешь?

Тот слегка развел руками:

— Помыться надо. Одежду почистить. С бойцами поговорить.

— Не верю, — печально покачал головой Звягинцев, — не об этом думаешь, товарищ Пастухов...

Минуло немногим больше недели с тех пор, как Звягинцев познакомился с этим низкорослым большеголовым человеком, однако казалось, что с того дня, как он встретил его у Средней Рогатки, прошли долгие месяцы.

— Не верю, старший политрук, другие сейчас у тебя в голове мысли, — повторил Звягинцев.

— Какие же? — усмехнулся Пастухов. — Задание выполнено, время еще раннее, можно отдохнуть пару часов.

— И это все? А о том, что означает приказ заложить в лесу запасы взрывчатки не только перед нашими укреплениями, но и позади них, ты не думаешь?

— Что ж, думаю и об этом, — спокойно ответил Пастухов. — Только я полагаю, что на войне должна быть предусмотрена любая возможность. Пре-ду-смотре-на! — медленно, по слогам произнес он и добавил: — И если мы любую, даже самую страшную возможность не предусмотрим, то нам этого не простят. Ни народ, ни партия. И кроме того... есть вещи, которые надо делать, но о которых не надо много говорить...

«Как все просто у него получается, — с горечью подумал Звягинцев, — об этом можно говорить, о том — не надо, все для него ясно... Вот и сейчас... По существу он, конечно, прав. Разумеется, на войне надо все предусмотреть — это аксиома... Но ведь есть и реальность, которую трудно уложить в слова, есть горечь, страдания, которые трудно перевести на язык формул...»

У Звягинцева не было оснований быть недовольным Пастуховым, — он не покладая рук работал вместе с бойцами, причем брался за самую тяжелую физическую работу.

Однажды Звягинцев даже хотел сказать ему, что заместитель комбата не должен превращаться в рядового бойца, но тут же понял, что упрек этот был бы несправедливым, потому что любой перерыв в работе Пастухов использовал для исполнения своих прямых обязанностей. Однако способность Пастухова сводить самые сложные проблемы к простым, даже элементарным истинам раздражала Звягинцева.

«Подумать только, — мысленно негодовал он, — мы только что заложили взрывчатку в каких-нибудь полутораста километрах от Ленинграда, позади линий обороны, которую сами строим. Ребенку ясно, что это означает. А он спокойно рассуждает о пользе предусмотрительности, точно речь идет об иголке с ниткой, которые берет с собой в поход запасливый боец... Конечно, он прав, много говорить об этом не надо. Но не думать...»

Не думать об этом Звягинцев не мог.

— Разрешите? — раздался голос дежурного по батальону.

Войдя в палатку, младший лейтенант с красной повязкой на рукаве доложил, что командир отступающего с юга подразделения хочет видеть кого-либо из командования, а комбата на месте нет.

— Пусть войдет, — угрюмо сказал Звягинцев.

Он уже заранее чувствовал неприязнь к этому командиру, который ведет своих бойцов в тыл.

— Я, пожалуй, пойду, — сказал Пастухов, вставая.

— Нет, погоди, — остановил его Звягинцев. — Погоди, старший политрук! Может быть, попробуешь разъяснить герою насчет предусмотрительности, у тебя это здорово получается!

Пастухов послушно сел на свое место. Через мгновение в палатку вошел лейтенант. Вскинув руку к пилотке и тут же резко опустив ее, он застыл на пороге...

— Драпаете?! — едва взглянув на него, сказал Звягинцев. — Вот закрыть бы проход, чтобы знали: впереди — враг, позади — мины!..

Лейтенант ничего не ответил.

Оглядев его, Звягинцев с невольным удовлетворением отметил, что человек этот по своему виду резко отличается от тех отступающих бойцов и командиров, с которыми ему приходилось встречаться в первые дни.

Лейтенант был неимоверно худ, небрит, однако туго перепоясан, с автоматом в руках. На пилотке его темный след от, видимо, потерянной звездочки был жирно обведен синим химическим карандашом.

— Откуда? — угрюмо задал вопрос Звягинцев, тот самый вопрос, с которым он уже не раз в эти дни обращался к идущим с юга людям — военным и гражданским.

— Из-под Риги, — ответил лейтенант. У него был хриплый, простуженный голос.

— Из-под Риги, — усмехнулся Звягинцев и бросил мимолетный взгляд на Пастухова. — Я вас спрашиваю, когда в последний раз соприкасались с противником? Не от Риги же вы драпаете, надеюсь?

— Нет, драпаем из-под Острова, — в тон ему ответил лейтенант и посмотрел на Звягинцева зло и отчужденно.

— На меня крыситься нечего, я не немец, — сказал Звягинцев, — на врага злость надо было иметь. Чем командовали?

— Взводом, ротой, батальоном.

— За какие подвиги такое быстрое продвижение?

— Немец помог, — прежним тоном ответил лейтенант. — Ротного убили — стал ротным. Комбата убили — стал комбатом.

— Где в последний раз вели бой с врагом?

— На старой границе.

— Так почему же вы сейчас стоите здесь?! Уж если на новой границе не остановили, то хоть бы на старой! — не в силах сдержать горечь, воскликнул Звягинцев, понимая всю бесполезность этого разговора.

— Я стою сейчас перед вами, товарищ майор, потому что там не устоял. И сказать больше мне вам нечего, — ответил лейтенант.

Звягинцев пристально посмотрел на него. Лейтенант говорил резко, как человек, который сделал все, что от него зависело.

Среди отступавших Звягинцев видел разных людей. Одни громко радовались, что вышли к регулярным частям Северного фронта, кое-кто едва сдерживал слезы. Другие поспешно, сбивчиво и с явным желанием оправдаться рассказывали о численном преимуществе немцев, об их танках и самолетах...

Но этот лейтенант был совсем иным. Казалось, он был весь налит злобой — на врага, на себя, на Звягинцева, который, будучи здесь, в тылу, пытается его стыдить.

— Сколько с вами людей? — спросил уже мягче Звягинцев.

— Весь батальон.

— Вот как?!

— Только людей в батальоне осталось меньше, чем должно быть в роте. — Лейтенант криво усмехнулся и добавил: — Остальные лежат. И больше не встанут.

В голосе его была нестерпимая боль.

— Так... — глухо сказал Звягинцев. — Ладно, лейтенант. Сейчас ваших людей покормят, потом проведут в тыл, на переформирование. Идите.

— Я не за продовольствием пришел, — сказал лейтенант, не двигаясь с места, — мне доложить надо. Там у нас один гражданский есть, в лесу подобрали. У немцев был, теперь в Ленинград пробирается. Настаивает, чтобы провели к кому-нибудь из старших командиров. Говорит, задание у него важное.

— Ладно. С вами пойдет дежурный. Пусть приведет.

Лейтенант ушел.

Звягинцев вспомнил о безмолвно сидящем Пастухове.

— Что ж молчал, старший политрук? Прочел бы лекцию, что драпать на север... не положено, что Суворов не так воевал...

Пастухов поднял свою большую голову и, точно не слыша слов Звягинцева, проговорил:

— Товарищ Звягинцев, как вы могли сказать ему это?

— Что? — не понял Звягинцев, удивленный подчеркнуто гражданской формой обращения к нему старшего политрука.

— Ну, этому лейтенанту. Насчет того, чтобы закрыть проход.

Звягинцев уже забыл об этих в сердцах вырвавшихся у него словах и, не понимая, к чему клонит Пастухов, сказал:

— Нечего придираться к пустякам. Всем ясно, что закрыть или открыть проход зависит не от меня.

— Верно, — согласился Пастухов, — но дело сейчас в другом. Вам действительно не жалко этих людей?

Звягинцев встал, коснувшись теменем брезента палатки, и резко сказал:

— Дело не в том, жалко или не жалко! Я военный человек и мыслю по-военному. Меня учили, кормили, одевали и обували за счет народа для того, чтобы я, когда будет надо, защитил этот народ от врага.

— А если оказались не в состоянии? Не в силах? — мягко спросил Пастухов.

— Тогда — смерть. Мертвые сраму не имут!

— Красиво, товарищ Звягинцев, сказано, красиво... А вы их, мертвых, считали? Мало, думаете, в землю легли? — печально покачал головой Пастухов. — Товарищ майор, поймите меня. У нас разные дороги. Мне с моим батальоном всю войну воевать, вас, как работу окончим, наверняка обратно в штаб отзовут. Вот я и думаю, вдруг возле вас другого Пастухова не окажется, чтобы сказать: нельзя так о людях говорить.

— Вы слышали речь Сталина, — сказал Звягинцев. — Партия призывает нас к истребительной войне. Или враг нас, или мы его.

— Верно. И все это понимают. Но пока что отступают. Отступают, товарищ Звягинцев! — с горечью повторил Пастухов. — Вы думаете — почему? Родину свою не жалеют? Власть Советскую разлюбили? За жизнь свою дрожат? Ведь не может же вам прийти такое в голову! Я вот за эти дни с десятками людей из тех, что отступают, переговорил и понял...

— Ну, что ты такое понял, какое открытие сделал, скажи! — запальчиво произнес Звягинцев.

— Простое открытие, товарищ майор, очень простое. Сильнее нас пока немец. Вы в небо посмотрите, когда их самолеты над нашими строителями висят, — сколько ястребков на десяток «мессеров» приходится? Один? Два? Слишком велик перевес врага. Так что же теперь, мины своим в тылу расставлять? Пройдет время, люди привыкнут, научимся воевать. И отступать без приказа будут только трусы. Но сегодня... Ведь не столько же у нас трусов, товарищ майор!

— Не понимаю тебя, старший политрук, вот убей бог — не понимаю. Враг к Ленинграду прет, а ты объективные причины ищешь.

— К Ленинграду мы врага не пустим, — твердо произнес Пастухов. — Но «мы» — это не значит «я и майор Звягинцев». Подумайте, что значили бы наши минные поля, если бы тысячи людей не строили за ними оборонительные сооружения? И что значили бы эти сооружения, если бы за ними не стояли наши воинские части? А теперь я хочу вам вопрос задать, товарищ Звягинцев: почему они не бегут?

— Кто «они»?

— Ну вот те, что строят. Сна-отдыха не знают, на руках волдыри кровавые, крыши над головой нет, дожди их поливают, самолеты немецкие день и ночь бомбят, а они... не уходят. В чем дело? Люди понимают, — нет, не просто понимают, каждой частицей своего тела, души чувствуют, что за ними их дети, их город, их дома, вся их жизнь. И уйти — значит отдать и предать все это. Вот я и думаю, что когда каждый боец, где бы он ни стоял, почувствует, что за ним — не где-то там, а в двух шагах, рядом, его жена, сын, дочь, его дом, родина — все, чем он жив, — тогда он не отступит. Где бы он ни стоял — все равно за ним, в двух шагах!

— Но когда же, когда?! — с горечью воскликнул Звягинцев. — Уже не первый день идет война, а враг все наступает...

— А вам не кажется, что этот лейтенант уж совсем не похож на тех «отступленцев», с которыми мы встречались так недавно? Неужели вы этого не заметили?.. Вы спрашиваете: почему я молчал? Да потому, что не было необходимости говорить. Этому лейтенанту и так все ясно. Он уже свой университет прошел... А теперь, товарищ майор, — сказал Пастухов через мгновение уже официально, точно желая подчеркнуть, что весь их предыдущий разговор выходил за рамки военной субординации, — разрешите идти.

И он сделал шаг к выходу из палатки.

Звягинцев пошел за ним. Когда они оба вышли, Звягинцев неуверенно и точно извиняясь сказал:

— Что ж, очевидно, вы правы. Но бывают моменты, когда человеку трудно справиться...

— Но надо! — твердо ответил Пастухов. — Именно в эти моменты и надо...

Он приложил руку к пилотке и ушел.

Стоя у палатки, Звягинцев еще издали заметил, как в сопровождении дежурного младшего лейтенанта к нему приближается высокий, широкоплечий человек.

На нем был гражданский костюм, весь измазанный засохшей болотной грязью, туфля на одной ноге перевязана веревкой, поддерживающей наполовину оторванную, щелкающую на каждом шагу подметку, лицо покрывала густая щетина.

Подойдя к Звягинцеву, человек этот сказал сиплым голосом:

— Товарищ командир, мне нужно как можно скорее попасть в Ленинград. Я имею важное секретное задание.

Он произнес эти слова торопливо, точно боясь, что ему не дадут договорить.

Первой мыслью Звягинцева было направить его в Особый отдел дивизии. Он хотел уже отдать соответствующее распоряжение стоящему неподалеку дежурному, но еще раз взглянул на стоящего перед ним человека и вдруг, еще сам не веря себе, проговорил:

— Вы... Анатолий?

Тот отступил на шаг, поморгал, точно пытаясь убедиться, что видит именно Звягинцева, и дрожащим голосом проговорил:

— Да... да! Ведь мы знакомы, товарищ майор!..

Сам не сознавая, что делает, Звягинцев вцепился Анатолию в плечо и, едва выговаривая слова, спросил:

— Вера!.. А где же Вера?..

— Вера?.. — переспросил Анатолий.

— Я вас спрашиваю, где Вера! Ведь вы были с ней!

Анатолий молчал, мучительно решая, что ответить.

С того момента, как он, скитаясь по лесу, встретил группу отступающих советских бойцов во главе с лейтенантом, прошло два дня. Разве не могло быть, что и Вере удалось каким-то чудом уйти от немцев и она уже в Ленинграде?.. Что же делать, что отвечать? Рассказать, как он пытался защитить ее от немцев, как его избили, выволокли с чердака, и поэтому он не знает и не может ничего знать о ее дальнейшей судьбе?

Анатолий молчал. Он вспомнил, как шел по пустынной деревенской улице в сопровождении немецкого солдата. Откуда-то доносились редкие выстрелы, обрывки немецкой речи, чей-то плач...

...Как только Анатолий вышел из той страшной избы, его вырвало. В ушах звенело, он стоял, опершись руками о забор, содрогаясь от приступов рвоты. Сквозь звон в ушах до него доносились слова стоящего за его спиной солдата: «O, Schwein! O, russisches Schwein» [1], — но все это было ему безразлично.

Несколько минут тому назад Анатолий был вне себя от радости. Переводчик сказал ему: «Господин майор Данвиц одобряет ваше поведение. Он дал приказание — вы есть свободен. Он отпускает вас на Ленинград. Он приказывает вам рассказать всем — вашим родным и знакомым, что немецкий армия будет Ленинград очень быстро. Он найдет вас там. А теперь — идите».

Потом переводчик сказал несколько слов по-немецки одному из солдат, и тот, подойдя к Анатолию, подтолкнул его к двери.

Почувствовав облегчение после того, как его вырвало, Анатолий медленно шел, вздрагивая от прикосновения к своей спине дула автомата. Им снова овладел страх. Он думал о том, что следующий за ним по пятам

---

[1] Свинья! Русская свинья! (нем.)

немец наверняка получил приказание вывести его на окраину деревни и там расстрелять. То, что переводчик сказал ему, Анатолию, по-русски, ничего не значило. Теперь он был уверен, что немцы обманули его, просто захотели избавиться от крика, слез, от мольбы о пощаде! Может быть, сейчас или минутой позже за его спиной прогремит выстрел, или он вообще не услышит выстрела, — говорят, что тот, в кого попадает пуля, ничего не слышит, только чувствует удар, резкий удар...

Анатолий замедлил шаг и, с опаской повернув голову, взглянул на идущего сзади немца. Но тот молча ткнул в него автоматом и сказал негромко и равнодушно:

— Vorwärts! Vorwärts! Schnell! [1]

Они вышли на окраину деревни. В предутренних сумерках Анатолий различал силуэты немецких солдат, приглушенную немецкую речь, несколько раз неожиданно появлявшиеся из-за деревьев автоматчики преграждали ему дорогу, но шедший сзади солдат произносил несколько отрывистых слов, и автоматчики отходили в сторону.

Они вышли на проселочную дорогу. По обе ее стороны темнели воронки, наполненные черной водой, громоздились обломки разбитых, искореженных грузовиков. Где-то далеко впереди взлетела и рассыпалась зелеными брызгами ракета. Откуда-то донесся женский крик...

И тогда Анатолий остановился как вкопанный, — в это мгновение он вспомнил о Вере.

Да, да, он вспомнил о ней только сейчас. С того момента, как, кинувшись ей на помощь, он получил удар сапогом в живот и был вышвырнут с чердака на лестницу, Анатолий уже не думал о Вере. Страх за собственную жизнь вытеснил из его сознания все...

И лишь сейчас незнакомый, протяжный, тоскливо-безнадежный женский крик как бы связал в сознании Анатолия настоящее с прошлым, и он с ужасом подумал о том, что где-то там, позади, осталась одна, беззащитная Вера.

Сам не сознавая, что делает, Анатолий резко повернулся и бросился назад, мимо растерявшегося от неожиданности солдата.

Он услышал резкое: «Halt! Halt!», — потом несколько выстрелов, взвизгивание пуль и упал со всего разбегу плашмя, уверенный, что убит.

Но он не был убит. Подбежавший солдат больно пнул его ногой, приговаривая: «Auf! Auf!» Анатолий поднялся, удивляясь тому, что жив. Он не знал, что солдат стрелял поверх его головы, недоумевая, куда и за каким чертом бросился бежать обратно в деревню этот истеричный русский парень. Анатолий схватил солдата за рукав и стал, мешая русские слова с немецкими, сбивчиво, захлебываясь, говорить ему, что там, в деревне, осталась девушка, которую надо во что бы то ни стало найти, взять с собой. При этом он одной рукой гладил рукав солдата, стараясь умиротворить его, а другой отводил в сторону направленный ему в живот ствол автомата.

Но солдат, видимо, ничего не понял из путаной речи Анатолия.

[1] Вперед! Вперед! Быстро! (н е м.)

Несколько мгновений он недоуменно слушал его, потом сказал:

— Welches Mädchen? Was für eine Dummheit! Schweigen! [1]

Он резко повернул Анатолия в сторону, противоположную деревне, и больно толкнул его прикладом автомата в спину.

Они прошли по дороге еще несколько десятков метров. Впереди светлела покрытая высокой травой опушка, за которой густой, неразличимой стеной стоял лес.

— Leg dich hin! Kriechel [2] — приглушенно сказал немец.

Анатолий лег на живот и неумело пополз вперед.

С трудом преодолев несколько метров, он, не поднимаясь, со страхом обернулся и увидел, что сзади никого нет. Ветер донес до него слова невидимого уже солдата:

— Kriechel Die Russen sind dort! [3]

Вне себя от радости, Анатолий хотел вскочить, чтобы бежать вперед, но тут же понял, что его могут убить. Он еще плотнее прижался к земле, посмотрел на темнеющую впереди безмолвную громаду леса и вдруг почувствовал, что у него нет больше сил не только встать, но и ползти.

Он лежал в тишине, наслаждаясь покоем и сознанием, что всего лишь несколько десятков метров отделяют его от своих.

Анатолий представил себе, как увидит родные русские лица, услышит русскую речь... Он закрыл глаза, прижал лицо к мягкой душистой траве, и ему показалось, что он уже в Ленинграде, подходит к своему дому, видит бегущих ему навстречу отца, мать...

И в это мгновение он снова подумал об оставшейся там, позади Вере.

«Что с ней, что с ней?!» — мысленно воскликнул Анатолий, сознавая, что оставил ее там, в чужом, страшном мире, в этом четвертом измерении. Сначала он подумал обо всем этом безотчетно. Но потом мысли его стали приобретать некую последовательность. И тогда Анатолий представил себе, что уже очень скоро ему надо будет ответить на страшный вопрос: «Где Вера?»

Кому? Он еще сам не знал кому. Наверное, в первую очередь Вериным отцу и матери. Ведь ему придется увидеть их там, в Ленинграде. Придется?.. Ну, конечно, ведь он же пойдет к ним, обязательно пойдет, в первый же день, как вернется!

Но для чего? Для того, чтобы рассказать обо всем, что произошло с ней, об этом кошмаре?! Как он сможет убедить их в том, что ничем не мог помочь Вере, что пытался защитить ее, бросился в драку, но ничего не мог сделать один, без оружия...

Но может быть, произошло невероятное? Может быть, Вера уже дома? Может быть, ей удалось тогда выбраться из этой ужасной избы? После того что немцы сделали с Верой, она уже была им не нужна. И может быть, она сумела уйти из села незамеченной, пробраться к нашим и теперь рассказывает отцу и матери о том, как погиб он, Анатолий?

[1] Какая девушка? Что за глупости! Молчать! (н е м.)
[2] Ложись! Ползи! (н е м.)
[3] Ползи! Русские там! (н е м.)

При этой мысли он почувствовал облегчение. Ну, разумеется, Вера уверена, что его расстреляли. Разве он не бросился защищать ее? Разве его не выволокли на ее глазах, избивая, немецкие солдаты? Разве она не слышала выстрелов?..

Ведь он только чудом остался жить. Вера не могла знать, что произошло потом.

А если бы знала?..

Внезапно события минувшей ночи встали перед глазами Анатолия. Он до боли жмурился, вдавливая лицо в траву, в землю, чтобы избавиться от кошмарного видения, но оно не исчезало.

Он снова видел себя в той ярко освещенной комнате. Он глядел в окровавленное лицо Кравцова, в его остановившиеся, остекленевшие глаза, слышал его слова: «Стреляй, ну, стреляй же, сволочь!..»

Он видел себя лежащим на полу и судорожно обхватившим руками сапог немецкого майора, снова и снова переживал и страх смерти, и позор унижения, с ужасом сознавая, что был другим, совсем другим, таким, каким никогда, даже в кошмарном сне не мог представить себя.

И Анатолию вдруг почудилось, что все происшедшее ночью наложило на него какую-то печать. И когда он окажется среди своих, все заметят в нем эту перемену, заметят по выражению лица, по глазам, по каким-то признакам, о которых он, Анатолий, даже не будет знать.

«Нет, нет, я не стрелял в него, нет!» — хотел закричать Анатолий.

Он сознавал, что, лежа здесь, тратит дорогое время, что ему надо добраться до леса, пока не рассвело.

Но какая-то невидимая сила прижимала его к земле, и он лежал на сырой, холодной, покрытой предрассветной росой траве и думал: «Я трус, я негодяй, я предатель! На моих глазах опозорили, обесчестили девушку, которая меня любила. Она верила мне. Видела во мне единственную защиту. Она спрашивала: «Ты не бросишь меня?» И я отвечал: «Нет, нет, нет, Вера, родная!» А теперь она там, одна, беззащитная, а я здесь, в нескольких метрах от своих, жив, здоров, даже не ранен... В моих руках был пистолет, и я не воспользовался им, не убил немца, хотя бы одного, не выстрелил хотя бы в себя, я плакал, я валялся на полу перед врагом и просил пощады, а потом выстрелил в Кравцова, а потом радовался, что буду жить, и даже не пытался найти Веру...»

Анатолий лежал, охваченный нервной дрожью. Время от времени он приподнимал голову и всматривался в суровый, молчаливый, неподвижный лес, и ему казалось, что тысячи невидимых глаз смотрят на него с гневом и презрением, а он лежит, видимый отовсюду, беспомощный, жалкий, грязный...

Временами ему хотелось вскочить и бежать, но не к лесу, а обратно, туда, откуда пришел, вцепиться в горло первому же встреченному немцу, руками, зубами рвать его, душить, очиститься от позора...

Но он понимал, что никогда не найдет в себе силы сделать это. И, в мыслях своих переживая сладость воображаемого очищения, он продолжал лежать неподвижно.

Но постепенно другой, ранее молчавший голос сначала тихо, а потом все громче и громче стал звучать в сознании Анатолия.

«В чем твоя вина, в чем? — спрашивал этот голос. — Разве ты мог спасти Веру от насилия? Разве ты принадлежал в тот момент себе, ей, кому-то еще? Нет, на тебе лежало более важное, более высокое обязательство, — ведь ты не забыл поручения, которое дал тебе Кравцов? Допустим, ты вступил бы в борьбу с немцами, терзавшими Веру. Один, обессиленный после болезни, безоружный против нескольких озверелых вооруженных фашистов. Они уложили бы тебя первой же пулей. Что ж ты думаешь, твой труп помешал бы им надругаться над Верой?

Ты и так решился на многое — полез в драку. Все дальнейшее от тебя не зависело. Ты вел себя так, как должен был себя вести. Умело, правдоподобно рассказал о своем происхождении — слово в слово, как учил тебя Кравцов. Выдержал экзамен на сто процентов. Теперь ты коришь себя за то, что, получив в руки пистолет, не выстрелил в ближайшего немца. Ну и что было бы? Тебя расстреляли бы через мгновение. Кравцов же все равно был обречен. Он сам знал это. Знал с той минуты, как встретил Жогина, не сомневался, что этот бывший кулак выдаст его. Именно поэтому и доверил тебе тайну. И с этой минуты на тебе лежало только одно святое, непреложное обязательство — выжить. В этом заключался твой высший долг.

Но оставаться в живых ты мог, только подчиняясь приказанию майора Данвица. Иначе ты был бы расстрелян. И тогда погибли бы оба — и ты и Кравцов. И не мучай себя мыслью, что это ты убил Кравцова. Во-первых, он сам приказал тебе выстрелить. Сам! Он знал, что, если убьешь не ты, убьет другой. Но он понимал, что если спустишь курок именно ты, то останешься жить. Не наверняка. Может быть, один шанс из ста. Все зависело от каприза немецкого майора. Но Кравцов поставил на этот один-единственный шанс. И выиграл. Ты остался жив. Тайна в твоих руках. Приказ выполнен.

Да это и не ты убил Кравцова! Ты ведь закрыл глаза, когда стрелял. Наверняка промахнулся. Это Жогин убил его. Жогин, а не ты.

И уже после всего того, что произошло, ты был не вправе снова рисковать собой, отыскивая Веру. Ты больше не принадлежишь ни себе, ни ей. Пока не выполнишь поручения Кравцова, ты принадлежишь только государству.

А потом... О, потом ты за все отомстишь этим проклятым немцам! Пойдешь добровольцем в армию, в первый же день, в первый же час после того, как доберешься до Ленинграда и выполнишь поручение. Будешь драться в первых рядах. Первым пойдешь в разведку, в атаку!.. Но пока главное — это выжить. Добраться до Ленинграда. Прийти в Большой дом на Литейном. Увидеть майора Туликова. Сказать ему... сказать ему...»

Анатолий почувствовал, как на лбу его выступил холодный пот. Он забыл слова, которые должен был произнести при встрече с Туликовым. Но тут же вспомнил. Напряг всю свою память, восстановил весь тот

разговор с Кравцовым на опушке леса и вспомнил. Вот они, драгоценные слова: «Товары завезены, магазин откроется в положенный час». «Только бы не забыть их опять, только бы не забыть», — стучало в висках Анатолия. Он непрерывно повторял про себя: «Товары завезены... магазин откроется... товары завезены... магазин откроется...»

Анатолий успокаивался по мере того, как произносил эти магические слова. Они вливали в него силу. Они придавали иной смысл, иную окраску всем его поступкам. Он уверял себя, что ни одной минуты не был трусом! Он просто выполнял боевой приказ. Ради этого притворялся, вынужденный вести с немцами унизительную игру. Разумеется, если бы не приказ, если бы не сознание, что ты являешься единственным обладателем государственной тайны, с которой наверняка связан исход какой-то важной военной операции, ты вел бы себя иначе. Ощутив в своей руке пистолет, ты знал бы, в кого стрелять.

Но приказ есть приказ. Дисциплина превыше всего. Цель оправдывает средства. Если бы Кравцов воскрес, он бы наверняка одобрил твое поведение. С первой минуты до последней. Начиная с того момента, когда ты заплакал, стремясь ввести немцев в заблуждение, и кончая тем, когда выстрелил...

Нет, нет, убеждал себя Анатолий, ты не был трусом! Наоборот, ты вел себя, как умный, хитрый, предусмотрительный разведчик. Тебе не в чем упрекнуть себя. То, что погиб Кравцов, то, что осталась у немцев Вера,— это, конечно, трагично, но война не бывает без жертв...

Так говорил себе Анатолий, постепенно внутренне приободряясь.

На мгновение при мысли о Вере его вновь охватил стыд, но он тут же подавил это чувство. «Я ничего не мог сделать, — сказал он себе, — ничего. У меня был единственный шанс спастись, и я не имел права рисковать. Никто и никогда не сможет упрекнуть меня ни в чем. Ни Вера, если даже узнает все до конца, ни Кравцов, если бы воскрес из мертвых».

В эти минуты он верил в то, что сумеет оправдаться перед собой и перед людьми.

Он поднял голову и посмотрел на безмолвный лес, — на этот раз посмотрел без страха, без опасения за свою дальнейшую судьбу.

Почувствовав прилив сил, Анатолий энергично пополз вперед...

И вот он молча стоял перед Звягинцевым, со страхом и отвращением вспоминая все, что произошло, и думал: «Нет, нет, ни в коем случае! Ничего рассказывать не надо. Этот Звягинцев влюблен в Веру. Он не простит мне, что я оставил ее там, у немцев...»

На мгновение Анатолий ощутил чувство мужской гордости от сознания, что Вера предпочла именно его. Но тут же выкинул эту мысль из головы. Он взглянул на Звягинцева и понял, что больше медлить с ответом нельзя.

«Задание, — решил он, — задание! В этом сейчас выход, только в нем якорь спасения!»

— В данную минуту я ничего не могу сказать о Вере, — наконец произнес он, своим тоном давая понять, что и она, Вера, каким-то образом причастна к порученному ему делу, — я уже сказал, что имею секретное задание. И до тех пор, пока не выполню его, ничего не имею права говорить.

Он понизил голос и, наклоняясь к Звягинцеву, произнес:

— Мне надо как можно скорее быть в Большом доме.

— Но скажи мне хотя бы одно, — с отчаянием и мольбой воскликнул Звягинцев, — она... в безопасности?..

Ему хотелось спросить: «Жива?», — но выговорить это слово был не в состоянии.

— Конечно, с ней все в порядке, — уверенно сказал Анатолий, пытаясь этими словами убедить, успокоить не только Звягинцева, но и самого себя. — А сейчас прошу вас только об одном: помогите добраться до Ленинграда...

Был уже полдень, когда попутная полуторка доставила Анатолия на южную окраину Ленинграда.

Он вылез из кузова, где сидел между пустыми, гремящими бочками из-под бензина, и, с трудом передвигая затекшие ноги, медленно пошел к трамвайной остановке.

По дороге к Ленинграду он мучительно размышлял, куда ему следует прежде всего направиться: в Большой дом на Литейном, туда ли, где жила Вера, или до всего этого домой, на Мойку?

С одной стороны, Анатолий понимал, чувствовал, что, только посетив управление НКВД, он сможет снова обрести уверенность в себе, так сказать, легализоваться и уже не бояться смотреть людям в глаза. Основная версия, которой Анатолий решил твердо придерживаться, сводилась к тому, что ему удалось удрать от немцев. Его выволокли с чердака, заперли в какой-то неохраняемый сарай, откуда ему удалось выбраться, выломав одну из ветхих досок, потом он ползком пробрался в лес, где после двухдневных скитаний и встретил советских бойцов.

Однако Анатолия тревожило то обстоятельство, что он не знал дальнейшей судьбы Веры. Ведь ей каким-то образом могло стать известно, что́ с ним в действительности произошло после того, как их разъединили. И если Вере удалось добраться до Ленинграда, то идти в НКВД, предварительно не повидавшись с ней, было явно рискованно.

И вот теперь он медленно шел к трамвайной остановке, так и не приняв окончательного решения, куда ему направиться в первую очередь.

И вдруг Анатолий заметил, что встречные прохожие смотрят на него внимательно и настороженно. Он не сразу понял, что причина этих подозрительных взглядов — его вид: разорванные, покрытые грязными пятнами и присохшими кусками болотной тины брюки, такой же грязный пиджак и многодневная щетина на лице. А когда понял, то решил немедленно: прежде всего надо ехать домой.

Он представил себе, как увидит мать, отца, примет ванну, переоденется, и ему подумалось, что, оказавшись в стенах своей квартиры, вымывшись, надев свежее

белье, он как бы отгородится от всего того, что с ним произошло, от недавнего прошлого, очистится, станет прежним Анатолием.

«Домой, скорее домой, потом к Вере, а уже затем туда, на Литейный!..»

Он быстрыми шагами, почти бегом направился к остановке, сел в идущий к центру трамвай, нашел завалявшуюся в кармане пиджака монетку, взял билет и, оставшись на задней площадке, прижался лицом к стеклу. Он смотрел на город и не узнавал его. Ленинград был не таким, каким вспоминал его Анатолий в последние дни.

Он увидел, что на хорошо знакомых площадях стоят обнесенные бруствером из мешков с песком зенитные орудия, что в скверах на высоте трех-четырех метров над землей застыли привязанные тросами огромные диковинные баллоны, похожие на дирижабли, а под ними вповалку спят красноармейцы; увидел, что с детства знакомые памятники теперь обшиты деревянными каркасами. Несколько раз трамвай обгонял колонны бойцов и людей в гражданской одежде, но с винтовками за плечами и в пиджаках, перепоясанных ремнями.

Анатолию показалось, что он попал в какой-то незнакомый ему, чужой город, и он стал снова думать о доме, о своей квартире — единственном месте, где наверняка ничего не изменилось, где можно почувствовать себя так, как прежде.

На углу Литейного и Невского Анатолий вышел из вагона и торопливо, держась стен домов и стараясь не привлекать к себе внимание прохожих, пошел, почти побежал по направлению к Мойке. Сердце его заколотилось, когда он увидел знакомый подъезд. Несколькими прыжками преодолел он широкую лестницу и надавил кнопку звонка.

...Услышав звонок, Федор Васильевич Валицкий бросился в переднюю. Вот уже несколько дней подряд он, к удивлению жены и работницы, едва заслышав звонок или стук в дверь, сам спешил открывать.

Так и на этот раз он выбежал в прихожую первым, торопливо повернул защелку старинного английского замка и распахнул дверь.

Несколько мгновений он стоял ошеломленный, глядя на сына остекленелыми глазами, и вдруг громко, даже визгливо закричал:

— Анатолий! Толя... Толя!

Все смешалось в голове Анатолия. Как в тумане, он видел бегущих к нему мать и тетю Настю... И внезапно почувствовал себя ребенком, растерянным, беспомощным. Он был снова дома, все страшное осталось позади. Анатолий всхлипнул и громко зарыдал. Он плакал, судорожно ловя ртом воздух, и слезы текли по его грязному, заросшему щетиной лицу.

В первые минуты Анатолия охватило непреодолимое желание рассказать отцу все, что произошло с ним в эти дни.

Но он сдержался, а потом, приняв ванну, не спеша побрившись и плотно позавтракав, решил не торопиться с рассказом до тех пор, пока не побывает у Веры и на Литейном. Поэтому он сослался на неотложные дела и пообещал по возвращении подробно рассказать всю свою «одиссею».

Анатолий уже направился к двери, но вдруг вспомнил, что у него нет никаких документов, — паспорт и студенческий билет остались в горящем поезде.

Вернувшись в свою комнату, он достал из письменного стола приписное свидетельство, в котором говорилось, что он, Анатолий Федорович Валицкий, 1918 года рождения, состоит на военном учете и имеет отсрочку до окончания высшего учебного заведения. Теперь надо найти комсомольский билет. Анатолий хорошо помнил, что и свидетельство и билет лежали вместе в левом дальнем углу ящика. Однако свидетельство Анатолий нашел там, где оставил, а билета не было. Он стал поспешно рыться в тетрадях и блокнотах с записями лекций, ими был набит весь ящик, и вдруг с облегчением увидел, что комсомольский билет лежит с самого верха, прикрытый каким-то листком бумаги.

Анатолий схватил билет, торопливо перелистал его, с удовлетворением увидел, что взносы уплачены по июль, — уезжая, он заплатил их за месяц вперед.

Сунув комсомольский билет и свидетельство в карман, он поспешно вышел из дому.

Он шел к Вере, убеждая себя, что она вернулась, что он сейчас увидит ее. Он опишет ей во всех подробностях, как его били и истязали, как ему удалось бежать, вырваться от немцев... Он столько раз уже произносил мысленно эти слова, что постепенно сам поверил в эту свою версию. Он почти бежал к трамвайной остановке. В эти минуты ему казалось, что он любит Веру и действительно готов был защитить ее даже ценой собственной жизни.

...Быстро поднявшись на второй этаж дома, Анатолий постучал в дверь. Ему никто не ответил.

Как же быть? Что делать? Он не может уйти, не узнав, вернулась ли Вера. Он снова заколотил в безмолвную дверь. И вдруг услышал за спиной голос:

— Вам кого?

В испуге Анатолий обернулся и увидел, что дверь в соседнюю квартиру открыта и на пороге стоит, опираясь на костыль, старик в пижаме. Он недоуменно глядел на Анатолия через сползшие на нос очки в старомодной железной оправе.

— Мне... мне Королевых! — поспешно ответил Анатолий.

— А кого именно? Если Ивана Максимовича, то он на заводе, а Анна Петровна ушла куда-то, наверное, в магазин.

— А Вера? — вырвалось у Анатолия, и он весь сжался в ожидании ответа, точно игрок, сделавший огромную ставку и теперь боящийся взглянуть в свои карты.

— Вера? — переспросил старик. — Нету ее. Как перед войной уехала, так и не возвращалась.

— Вы... уверены? — чуть слышно произнес Анатолий.

— В чем уверен-то? — недовольно проговорил старик. — Насчет дочки? А как же! Только сегодня утром с Анной Петровной разговаривал.

— Хорошо. Спасибо... — пробормотал Анатолий и бросился вниз по лестнице.

— Подождите! — громким надтреснутым голосом окликнул его старик. — Кто вы будете, как передать-то? Анна Петровна скоро вернуться должна, подождите!

И он зачем-то постучал костылем по каменному полу лестничной площадки.

Но Анатолий был уже внизу. Он почти бежал, боясь встретиться случайно с матерью Веры.

«Что же мне теперь делать, как поступить? — в отчаянии думал Анатолий, идя по улице. — Я в Ленинграде, а она не вернулась! Но я ни в чем не виноват перед Верой. В ином случае разве я пошел бы к ней, разве стремился бы ее увидеть?.. Ведь я же люблю ее, люблю!» — мысленно повторял Анатолий.

Может быть, в эти минуты он и впрямь любил Веру, потому что воспоминания о ней связывали Анатолия не только с той страшной ночью, но и с мирным временем, когда все было так ясно и просто. Вера была для него как бы мостом в прошлое.

Потребность в таком мосте Анатолий ощущал с каждым своим шагом все больше и больше. Потому что он стал чувствовать себя как-то неуютно на ленинградских улицах. Он ощущал себя отчужденным от людей в военной форме, торопливо шагавших по тротуарам, застывших у зениток, от тех, кто в пиджаках или армейских гимнастерках проходил строем по улицам.

Да, весь этот город, изрытый щелями и траншеями, забаррикадированный мешками с песком, деревянными щитами, стены его домов, покрытые военными плакатами, — все это казалось Анатолию мрачным, чужим и даже глухо враждебным. Он попытался убедить себя, что через два-три дня это ощущение пройдет, что все изменится после того, как определится его дальнейшая судьба и он приспособится к тому, чем живет сейчас Ленинград, но, размышляя об этом, все более и более чувствовал себя каким-то неприкаянным.

И только тогда, когда Анатолий добрался наконец до большого серого здания, выходящего на Литейный проспект и улицу Воинова, он вздохнул с облегчением. Отыскав подъезд с черной узкой табличкой «Бюро пропусков», он открыл тяжелую дверь.

Он очутился в большой прямоугольной комнате, стены которой были окрашены серой масляной краской. В стене, противоположной входной двери, были прорезаны окошки, полуприкрытые изнутри деревянными ставеньками. На другой стене висели черные плоские телефонные аппараты. Анатолий подошел к одному из них, снял трубку, услышал, как мужской голос произнес: «Коммутатор», — и, едва сдерживая волнение, робко сказал:

— Пожалуйста, соедините меня с майором Туликовым.

Из здания Управления НКВД Анатолий вышел уже под вечер.

Все оказалось сложнее, чем он предполагал. Он думал, что дело займет несколько минут — он повторит сказанные Кравцовым слова: «Товары завезены, магазин откроется в положенный час», — и все.

Ему удалось придумать правдоподобную, как будто исключающую дополнительные вопросы версию. Он и Вера расстались с Кравцовым в деревне. Пошли ночевать в разные избы. Ночью нагрянули немцы. Его вытащили из избы, бросили в сарай. Но сарай был ветхий. Он сумел выбраться, отодрав доску, задами пробраться в лес...

Однако Анатолию пришлось не только подробно рассказывать Туликову, а потом еще какому-то человеку в штатском, где и когда он и Вера встретились с Кравцовым, но потом изложить на бумаге все, что он говорил.

Но и этим дело не ограничилось. Майор Туликов, пожилой усатый человек, скорее похожий на рабочего, чем на чекиста, предложил Анатолию указать на карте район, где произошла встреча с Кравцовым, и место, где был брошен в воду чемодан. А потом его попросили нарисовать по памяти план той местности, где все это происходило.

Тем не менее все кончилось хорошо. Туликов пожал Анатолию руку и поблагодарил за помощь. Потом спросил:

— Ну, а что дальше будешь делать, Анатолий? Пойдешь в армию?

— Конечно, в армию! — с радостным облегчением воскликнул Анатолий и тут же подумал, что не худо бы воспользоваться случаем и попросить содействия в получении новых документов. И тогда, сам в эту минуту веря в искренность своей версии, он сказал, что, хотя, по указанию Кравцова, там, в лесу, и уничтожил свой паспорт и студенческое удостоверение, однако комсомольский билет сохранил, запрятав его под подкладку пиджака.

С этими словами Анатолий вынул из кармана серую книжечку и положил ее на стол перед Туликовым.

Майор взял билет, полистал и медленно произнес:

— Сохранился в порядке...

Сердце Анатолия забилось сильнее. «Может быть, мне не следовало показывать ему билет, — подумал он, — надо было только упомянуть о нем, а не показывать, ведь не исключено, что он может как-то определить, носил ли я этот билет запрятанным или нет... И зачем я заговорил о том, что уничтожил остальные документы? Надо было сказать, что они сгорели в поезде...»

— Молодец, что сохранил комсомольский документ, — произнес майор почти торжественно и протянул билет Анатолию.

Тот схватил его обрадованно и стал просить помочь получить документы взамен уничтоженных.

Туликов кивнул, сказал, что поможет, записал номер отделения милиции, выдавшего в свое время Анатолию паспорт, и наименование его института.

Туликов уже протянул руку для прощания, когда у Анатолия, обрадованного тем, что все так хорошо кончилось, вырвалось:

— Если вернется Вера... помогите ей, пожалуйста!

Через секунду он уже ругал себя за эти помимо его воли вырвавшиеся слова.

Однако на Туликова они, видимо, произвели самое хорошее впечатление.

— Не волнуйся, парень, все будет в порядке! — сказал он и даже потрепал Анатолия по плечу.

Домой Анатолий возвращался уже совсем в ином настроении. Смело сел в трамвай, доехал до Невского

и уже не украдкой, не прижимаясь к стенам домов, а не спеша, уверенной походкой направился к Мойке.

Дверь ему снова открыл отец. Анатолий весело кивнул ему, сказал матери, которая звала обедать, что придет в столовую через минуту, и пошел в свою комнату, чтобы снять пиджак, — было очень жарко.

Он сбросил пиджак, галстук, расстегнул воротничок, засучил рукава голубой сорочки и удовлетворенно оглядел себя в зеркале.

«Что ж, — мысленно произнес Анатолий, обращаясь к собственному отражению, — все хорошо, что хорошо кончается».

В это время на пороге появился отец.

Федор Васильевич вошел в комнату, осторожно прикрыл за собой дверь и, обращаясь к сыну, сказал вполголоса:

— Слушай, Толя, я хотел тебя спросить... Эта девушка... Вера... Она тоже благополучно вернулась?..

Глава VI

Впервые в жизни Федору Васильевичу Валицкому так сильно хотелось изменить свои отношения с сыном, сделать их более близкими, сердечными.

И впервые в жизни его сын Анатолий делал все от него зависящее для того, чтобы отношения эти оставались прежними, то есть холодными, лишенными какой-либо сердечности и доверительности.

Отцу хотелось наверстать упущенное, расположить к себе Анатолия, почувствовать в сыне друга. С горечью сознавая, что он сам виноват во всем и что положение, которое создавалось годами, невозможно изменить за несколько дней, Валицкий отчаянно пытался разрушить ту самую стену, которая так долго стояла между ним и сыном. Он не подозревал, что человеком, меньше всего заинтересованным в том, чтобы эта стена рухнула, был сам Анатолий.

Возможно, что, если бы не война, у Валицкого никогда не появилось бы потребности установить новые отношения с Анатолием. Но именно теперь, отчетливо ощутив свою ненужность, одиночество, испытывая чувство горечи и унижения от этого сознания, Федор Васильевич обратил свой полный надежды взор к сыну.

Валицкому было радостно сознавать, что Анатолий с честью прошел свое первое военное испытание и не только отбился от немцев и вернулся к своим, но при этом еще выполнил какое-то секретное, крайне опасное поручение.

Рад был Валицкий и тому, что и с девушкой все благополучно,— ее судьба беспокоила его.

Узнав от Королева, что сын уехал в Белокаменск с Верой, Валицкий был недоволен Анатолием. Мысль, что его сын впутался в какую-то романтически-мезальянсную историю, раздражала Федора Васильевича. Разумеется, он с негодованием отверг бы любые попытки подозревать его в приверженности к сословно-кастовым предрассудкам. И тем не менее сознание, что «объектом» Анатолия, сына академика архитектуры Валицкого, стала какая-то «фабричная девчонка», совсем не льстило его самолюбию.

Однако по мере того, как шли дни, а Анатолий не возвращался, Валицкий стал ловить себя на мысли, что беспокоится не только о сыне, но и о той незнакомой девушке, за судьбу которой его сын волею обстоятельств теперь уже должен был нести моральную ответственность. Естественно, что он сразу же после возвращения Анатолия спросил его о Вере.

Ответ вполне удовлетворил Федора Васильевича: девушка вернулась в Ленинград, она в безопасности.

Теперь ничто не омрачало радости Валицкого. Он был счастлив, что вновь обрел сына, и всячески старался дать ему это понять.

Возможно, что перемена в отношении к нему отца, произойди она раньше, в другой ситуации, обрадовала бы Анатолия. Но теперь она была в тягость ему, потому что между ним и отцом встала новая, невидимая преграда — ложь. Анатолий воздвиг эту преграду в первый же час после своего возвращения, утаив то, что произошло с ним в Клепиках, сказав неправду о Вере.

Очень скоро его стало беспокоить сознание, что ответ отцу был не самым удачным. Он понял это, когда тот рассказал ему о разговоре с Королевым. Ведь если Королев один раз уже приходил сюда, то может прийти и во второй — и тогда ложь обнаружится! Однако придумать какую-нибудь новую версию после того, как сказал отцу, что Вера благополучно вернулась, Анатолий боялся.

Проблема отношений с матерью не волновала его: Марии Антоновне было достаточно сознания, что сын вернулся невредимым, чтобы чувствовать себя счастливой.

Но с отцом все обстояло сложнее. Ему было мало знать, что сын в безопасности, он хотел завоевать его душу.

И Анатолий понимал это. Он оказался в трудном, двойственном положении. Вначале ему казалось, что самым разумным будет держаться замкнуто и стараться реже встречаться с отцом.

Но именно замкнутость сына и побуждала Федора Васильевича еще более настойчиво пытаться расположить его к себе.

Он снова и снова заставлял Анатолия повторять свою «одиссею». Ему, видимо, доставляло особое удовольствие слышать, как находчиво, мужественно вел себя сын, в трудных условиях оказавшийся не маменькиным сынком, а настоящим мужчиной.

И тогда Анатолий понял, что именно на этом пути ему легче всего обезопасить себя, предотвратить возможность возникновения каких-либо подозрений. Поэтому он с каждым разом все охотнее рассказывал о своих подвигах, приводя все новые, иногда взаимно исключающие, чего он не замечал, подробности. Он следил только за тем, чтобы вновь не упоминать о Вере. Но отец, обрадованный, что ему удалось наконец, как ему казалось, расположить к себе сына, не вдумывался в детали.

Правда, ему представлялось странным, что Анатолий избегает разговоров о Вере. Однако в своем теперешнем стремлении видеть в сыне только хорошее он объяснял это естественным нежеланием Анатолия распространяться о своих интимных делах.

Однако другая, горькая мысль все более и более угнетала его. Это была мысль о неизбежности скорой разлуки. Каждый раз, когда Федор Васильевич откры-

вал сыну дверь, он ждал, что Анатолий сейчас объявит о своем уходе на фронт. Он боялся услышать эти слова и в то же время ждал их.

Газеты и радио — Федор Васильевич потребовал в домоуправлении установить ему «радиоточку», и теперь черная тарелка репродуктора висела в его кабинете над кожаной кушеткой — каждый день сообщали все новые и новые тревожные известия. Враг рвался к Ленинграду. Он был уже под Псковом. С заводов, из учреждений и институтов на фронт уходили все новые и новые тысячи добровольцев. Все новые отряды строителей спешили к Лужскому оборонительному рубежу, — работы там не прекращались ни днем, ни ночью.

Федор Васильевич не представлял себе иного места для своего сына, как в первых рядах защитников Ленинграда, хотя мысль, что он может потерять Анатолия, была для Федора Васильевича нестерпимой.

В первые дни, встречая возвращавшегося из института сына, Валицкий испытывал лишь радость и облегчение от сознания, что час разлуки еще не настал.

Но затем это стало его тревожить. Тревога была еще смутной, безотчетной; само предположение, что его сын старается избежать фронта, показалось бы Валицкому нелепым и оскорбительным.

Однако шло время, и с каждым днем эта мысль стала приходить Федору Васильевичу в голову все чаще, и избавиться от нее становилось все труднее. Он убеждал себя в том, что его тревога неосновательна, что Анатолий у всех на виду, ни от кого не скрывается, к тому же, по его словам, выполняет важную работу у себя в институте.

Но в то же время Федор Васильевич понимал, что нет такой силы, которая могла бы удержать здорового молодого человека, если он действительно хочет быть на фронте...

На другой день после возвращения в Ленинград Анатолий пошел в свой институт. Однокурсников — Анатолий учился на пятом — в институте почти не было видно. Хотя их и не мобилизовывали — оставили пока доучиваться, — многие ушли на фронт добровольно, других послали на строительство укреплений. Вообще в институте осталось меньше трети студентов, в основном те, кто не подходил для военной службы по состоянию здоровья.

В комитете комсомола остался лишь один из заместителей секретаря, парень, носивший очки с толстыми стеклами.

Он очень обрадовался Анатолию, понизив голос, сказал, что все о нем знает, потому что «оттуда уже звонили», а затем с возмущением и горечью стал рассказывать, как его уже дважды «завернули» из военкомата из-за проклятых очков с какой-то немыслимой диоптрией.

Замсекретаря предложил Анатолию поработать в комитете, потому что он один буквально «зашивается».

Работы и впрямь оказалось много. Надо было снимать с учета комсомольцев, уходящих в армию и в ополчение, помогать ректорату составлять списки на эвакуацию, ежедневно распределять дежурных по зданию, устанавливать ночные посты на чердаке, следить за состоянием противопожарного оборудования...

По институту быстро распространился слух, что Анатолий находится на каком-то «особом учете», что он, рискуя жизнью, выполнял важное поручение в тылу врага, сохранив при этом свой комсомольский билет, только что вернулся и заслужил право на короткий отдых.

Дома Анатолия охватывала тревога и недобрые предчувствия. А в институте он был героем. Поэтому он старался как можно реже бывать дома, тем более что работы у него хватало — и дневной и ночной.

Постепенно он успокоился бы окончательно, если бы не мысли о Вере.

Домой к Вере Анатолий больше не ездил, боясь встретиться с ее матерью, а еще больше с самим Королевым, но регулярно звонил по телефону в надежде услышать Верин голос.

Однако телефон или молчал, или слышался голос Анны Васильевны.

Обычно в таких случаях Анатолий молча вешал трубку и только один раз не удержался и, изменив голос, попросил к телефону Веру. «Верочки нет! — как-то надрывно ответила ее мать. — А говорит кто? Спрашивает-то ее кто?»

Анатолий и на этот раз молча повесил трубку.

Шли дни, а Анатолий был еще в Ленинграде. Если бы его спросили почему, он наверняка бы ответил, что ждет, пока восстановят его документы, и тогда он будет добиваться, чтобы его отправили на фронт.

Но где-то в глубине души Анатолий уже чувствовал, что не хочет покидать Ленинград, тем более что сводки в газетах с каждым днем становились все тревожнее.

При одной мысли, что ему снова придется встретиться с немцами, что в него будут стрелять, что там, на фронте, его уже не укроют стены домов, Анатолием овладевал страх. «Почему, собственно, я должен торопиться на фронт?» — оправдывался он перед собой. На его долю уже выпали испытания, через которые не прошел никто из окружавших его людей. Разумеется, чуть позже он пойдет на фронт. А сейчас, выполняя здесь, в институте, возложенные на него обязанности, он уже тем самым принимает участие в войне.

Днем Анатолий вызывал студентов в комитет комсомола, уточнял разные списки, снимал с учета, был непременным оратором на всех митингах и собраниях. По вечерам он руководил дежурством — то в институте, то в своем домоуправлении. Он вешал через плечо противогаз, надевал на рукав красную повязку и чувствовал себя уже не рядовым бойцом, а командиром. Резким, требовательным голосом призывал он дежурных по институту к еще большей бдительности, бранил жильцов за плохую светомаскировку, за попытки увильнуть от ночного дежурства на чердаке. Он разговаривал с людьми уверенно-снисходительно, как человек, который уже сделал для победы над врагом гораздо больше, чем остальные.

В своем ослеплении Анатолий не замечал, что отец, открывая ему дверь — он по-прежнему сам спешил на любой звонок, — все чаще смотрит на него с тревожным недоумением, точно тщетно дожидаясь ответа на какой то невысказанный вопрос.

Это случилось вечером, когда Анатолий еще не вернулся. В кабинете Федора Васильевича раздался телефонный звонок. Незнакомый мужчина спросил, не товарищ ли Валицкий у телефона, и, получив утвердительный ответ, произнес:

— Это говорит Королев. Вы меня, наверное, не помните. Я был у вас по поводу дочери...

— Нет, напротив, конечно, помню! — воскликнул Валицкий. — Очень рад, что все кончилось благополучно и ваша дочь вернулась.

— Моя дочь не вернулась, — раздалось в трубке, — я узнал номер вашего телефона, чтобы спросить... А ваш сын дома?

— Нет, его еще нет, — ответил Валицкий, понимая, что говорит неправду, потому что Королев, задавая свой вопрос, имел в виду совсем другое. Федор Васильевич тут же смешался и невнятно проговорил: — Значит, что-то случилось...

— Да. Значит, что-то случилось, — повторил Королев, и голос его на этот раз прозвучал как бы издалека. — Я позвоню вам еще раз. На всякий случай...

— Да, да, — торопливо проговорил Валицкий, чувствуя, как трубка жжет его ладонь, — вы обязательно позвоните... Завтра же позвоните... Боже мой, но как же это?!

— Вы не волнуйтесь, — сказал Королев, но Валицкий почувствовал, как упал, изменился его голос. — Я понимаю, вам тоже нелегко... Я еще позвоню. До свидания.

Раздался щелчок. Трубка на другом конце провода была повешена.

Некоторое время Федор Васильевич сидел неподвижно, все еще сжимая трубку в руке. Потом торопливо, точно боясь, что этот черный предмет может стать источником новых несчастий, бросил ее на рычаг.

Машинально вынул платок и вытер взмокший лоб. Почувствовал боль в сердце, но тут же забыл о ней, перестал ощущать. Одна сверлящая мысль владела теперь всем его существом, один вопрос неотступно звучал в его ушах: «Что же случилось? Почему Анатолий сказал неправду?»

Федор Васильевич старался успокоиться, взять себя в руки и трезво поразмыслить над тем, что произошло. Итак, Анатолий сказал, что эта девушка вернулась в город, хотя на самом деле она не возвращалась... Но может быть, между ними там, в Белокаменске, произошла какая-то размолвка? Допустим, они поссорились и Вера уехала в Ленинград раньше Анатолия, когда ей еще ничего не угрожало. И он мог быть уверен, что она уже в городе. Но тогда почему, вернувшись в Ленинград, он прежде всего не поинтересовался, здесь ли Вера? Впрочем, если они и впрямь поссорились, то и это объяснимо: оснований для беспокойства у Анатолия не было, а видеть ее он не хотел. В таком случае понятно и другое: почему Анатолий в рассказах своих не упоминал о Вере. Молодым людям в романических ситуациях свойственно преувеличение, обостренное отношение к поступкам друг друга...

Так рассуждал Федор Васильевич, вернее, старался так рассуждать.

Но хотя умозаключения его приобретали характер определенной последовательности, логической стройности, они тем не менее не успокаивали Федора Васильевича. Чем больше старался он мысленно оправдать сына, тем сильнее овладевало им тревожное предчувствие, смутная догадка, что Анатолий в чем-то виноват, как-то причастен к исчезновению Веры, что он, следовательно, сказал заведомую неправду.

Теперь Валицкому стало казаться, что в поведении Анатолия после его возвращения домой вообще была какая-то неестественность. Он вспоминал, что в рассказах сына каждый раз появлялись какие-то новые подробности, свидетельствующие о его безупречном, героическом поведении, но никогда не упоминалась Вера...

Эти невеселые, тревожные мысли переплетались с мыслями о том, что Анатолий все еще в Ленинграде и, судя по всему, вполне удовлетворен своим неопределенным положением...

От этих тяжелых размышлений Валицкого оторвал звонок в передней. «Наконец-то!» — подумал Федор Васильевич и поспешно направился к двери. Он надеялся, что это вернулся Анатолий и сейчас даст ему ответ на все вопросы, рассеет все сомнения.

Однако это был не Анатолий. На лестничной площадке стоял почтальон, на плече его, на широком ремне, висела большая кожаная сумка, в одной руке он держал узкую, в твердом картонном переплете разносную тетрадь, в другой — небольшой серый листок.

— Здравствуйте, Федор Васильевич, — на правах старого знакомого сказал почтальон, — тут вам... повестку прислали... Вот.

И, нерешительно протягивая серый листок бумаги Валицкому, посмотрел на него недоуменно и выжидающе.

Валицкий почувствовал, что краснеет, взял, почти вырвал из рук почтальона повестку и уже был готов захлопнуть дверь, но почтальон сказал быстро и с обидой в голосе:

— Расписаться же надо, Федор Васильевич!.. Вот здесь.

Стараясь не встречаться с ним взглядом, Валицкий расписался. Закрыв дверь, он зажег свет в прихожей и поспешно поднес листок к глазам.

Там было написано:

«Гр. Валицкому Ф. В.

С получением сего Вам надлежит явиться в Штаб дивизии народного ополчения по адресу: Балтийская ул., 225, имея при себе паспорт и военный билет.

За начальника штаба...»

Далее стояла неразборчивая размашистая подпись красным карандашом.

Валицкий стоял, читая и перечитывая повестку.

— Ну вот, ну вот и дождался! — произнес он вслух и уже про себя добавил: «Какая глупость! Сам устроил нелепый фарс...»

Валицкий давно решил, что будет делать, если получит повестку. Конечно, придется пойти и объяснить, что произошло недоразумение, что ему шестьдесят пять лет и он давно уже снят с военного учета.

Но теперь, когда повестка была у него в руках, Федор Васильевич подумал: «А может быть, вообще не ходить?..» Однако он тут же откинул эту мысль, сказав себе: «Нет, этого делать нельзя... я значусь в том списке. Меня могут счесть обыкновенным трусом».

«Может быть, просто написать письмо по указанному адресу, — пришла ему в голову новая мысль,— объяснить, что произошла явная ошибка?» Но снова возразил себе: для подтверждения ошибки надо предъявить паспорт! Никто не обязан верить, что ему столько лет, сколько он укажет в письме... Что ж, придется пойти.

I

Спрятав повестку в потертый, крокодиловой кожи бумажник, Валицкий успокоенно подумал, что теперь-то она уже никак не сможет попасться на глаза жене или сыну.

Вспомнив о сыне, Валицкий снова оказался во власти тяжелых мыслей. Снова и снова он восстанавливал в своей памяти то, что слышал от него.

Итак, Анатолий поехал отдыхать не на юг, который ему надоел, а в маленький городок Белокаменск.

Там он простудился и заболел воспалением легких. Несколько дней пролежал с высокой температурой. Мучился от сознания, что идет война, а он не в армии. Едва почувствовав себя лучше, сел в поезд, чтобы ехать в Ленинград. В вагоне познакомился с чекистом и потом, когда поезд разбомбили, получил от него важное секретное задание. Оказался в какой-то деревеньке, хотел там переночевать. Ночью в нее вошли немцы. Чекиста немцы схватили и, наверное, расстреляли. А его самого избили, заперли в чулан. Но ему удалось оттуда выбраться, потом скрыться в лесу. Там он встретил наших отступающих бойцов и вышел с ними к Луге.

Так рассказывал Анатолий.

И каждый раз, когда отец просил его снова рассказать, «как все это было», Анатолий дополнял свой рассказ новыми подробностями. Так, оказалось, что немцы избили Анатолия потому, что он вступил с ними в рукопашную. Выбравшись из сарая, он оглушил ломом солдата-часового.

В следующий раз Анатолий подробно рассказал о том, как, присоединившись к советским бойцам, несколько раз с винтовкой в руках участвовал в стычках с немцами, даже водил бойцов в атаку, и его, возможно, представят к награде...

Так говорил Анатолий.

«Но почему же все-таки он ни разу даже мимоходом не упомянул о Вере?» — снова и снова спрашивал себя Федор Васильевич, теперь уже сознавая, что те мотивы, которые он приводил себе в оправдание сына, неубедительны.

Валицкий обладал математическим складом ума и устранить раз возникшее сомнение чисто эмоциональными доводами был не в состоянии, ему нужны были конкретные доказательства.

Где была Вера, когда Анатолий заболел? Почему этот чекист дал именно Анатолию, то есть человеку, с которым только что познакомился, столь важное поручение? И почему фашисты так мягко обошлись с Анатолием, если он был захвачен вместе с этим чекистом и к тому же оказал такое сопротивление?

Судьба Веры тревожила Федора Васильевича все больше и больше.

...Так он и сидел в своем кабинете, с нетерпением ожидая прихода сына, втайне надеясь, что Анатолий сумеет разрешить все его сомнения, снять тот тяжелый груз, который так неожиданно лег на его плечи.

И когда наконец в передней раздался звонок, Федор Васильевич воспринял его как долгожданное избавление. Он знал, что это наверняка Анатолий — у жены и работницы были свои ключи, — побежал в переднюю, торопливо открыл дверь.

Он не ошибся, пришел Анатолий.

Кивнув отцу, он торопливо направился в свою комнату, бросив на ходу, что зашел на минуту и должен опять вернуться в институт.

Федор Васильевич твердым шагом пошел следом за сыном и, войдя в его комнату, решительно сказал:

— Мне надо поговорить с тобой.

— Потом, папа, после, — ответил Анатолий, снимая взмокшую от пота рубашку, — такая жара, я весь мокрый, забежал переодеться...

Он прошел мимо отца и направился в ванную. Валицкий услышал, как зашумела льющаяся из крана вода. Через минуту Анатолий вернулся, на ходу растираясь махровым полотенцем, подошел к комоду, открыл ящик и, вынув свежую рубашку, стал расстегивать на ней пуговицы.

Валицкий внимательно смотрел на пышущего здоровьем сына, на его широкую, мускулистую спину, чуть вздрагивающие мышцы загорелых рук.

— Сядь, Анатолий, нам надо поговорить, — сказал Федор Васильевич своим прежним, властным, не терпящим возражений тоном, от которого Анатолий уже успел отвыкнуть.

Поняв, что ничего хорошего это не предвещает, Анатолий, стараясь выиграть время, медленно надел рубашку, потом обернулся и с нарочитым недоумением взглянул на отца.

— Конечно, если это так срочно, — нерешительно сказал он, — только я очень тороплюсь.

— Я хочу спросить тебя, — произнес Валицкий, пристально глядя на сына, — что все-таки случилось с той девушкой, с которой ты уехал из Ленинграда?

От Валицкого не укрылось, что в выражении глаз Анатолия произошла какая-то едва уловимая перемена. Однако он тут же пожал плечами и ответил подчеркнуто равнодушно:

— Но ты же меня уже спрашивал об этом. И я...

— Ее нет в Ленинграде, — резко прервал его отец.

— Как нет? — с преувеличенным удивлением переспросил Анатолий. Потом снова пожал плечами и сказал: — Но при чем же тут я? Она уехала гораздо раньше меня.

— Когда? — требовательно спросил Валицкий.

Анатолию показалось, будто потолок комнаты стал ниже. Он уже понимал, догадывался, что в течение сегодняшнего дня что-то произошло. Но что именно? Неужели снова приходил Королев?..

Негодуя на отца, заставшего его так врасплох, на

себя — за то, что не может найти правильного, годного на все случаи ответа, Анатолий обиженно спросил:

— Это что, допрос?

— Нет. Но я хочу... Мне важно это знать! — настойчиво произнес Валицкий. — Ведь вы уехали из Ленинграда вместе?

— Ну, если тебе это так важно знать, — с иронией ответил Анатолий, — то да. Вместе.

— Ты приехал в тот город в канун войны. На следующий день, по твоему же рассказу, заболел. Верно?

— У меня была справка от врача, — зло ответил Анатолий. — К сожалению, осталась в поезде вместе с документами. Не знал, что она потребуется родному отцу.

— Анатолий, оставь свою иронию, это очень серьезно, — строго проговорил Валицкий. — Следовательно, получается так: эта девушка бросила тебя больного и уехала в Ленинград одна. Верно?

Такого поворота Анатолий не ожидал. В его планы меньше всего входило как-то порочить Веру. Однако он понял, что сам себе расставил ловушку, и стал поспешно искать из нее выход.

— Мы поссорились, — произнес он наконец. — К тому же в моей болезни не было ничего серьезного.

— Но как же так? Ты говорил, что заболел крупозным воспалением легких, не мог сделать ни шагу... И несмотря на это...

— К тому времени мне уже стало легче, — сказал Анатолий. Неожиданно улыбнулся и проговорил нарочито беспечно: — Не понимаю! Почему ты вдруг решил проявлять такое внимание к моим... амурным делам?

Эти его слова прозвучали так искусственно, так беспомощно, что Федор Васильевич на мгновение испытал чувство острого стыда за сына, оказавшегося в столь унизительном положении.

— Анатолий, — как можно мягче сказал Валицкий, — я прошу тебя, скажи мне правду, что наконец произошло?

В эту минуту ему больше всего на свете хотелось услышать от сына нечто ясное, неопровержимое, что разом уничтожило бы все сомнения.

Однако Анатолий лишь нервно передернул плечами и ответил резко и вызывающе:

— Я тоже прошу тебя... прошу объяснить, что все это значит?!

Валицкий почувствовал, как к лицу его прихлынула кровь.

— Это значит то, — медленно и не спуская глаз с Анатолия, проговорил он, — что мне звонил отец Веры и сказал, что она до сих пор не вернулась. Я скрыл, что ты здесь, обманул его. Но он позвонит еще раз. И я буду обязан — понимаешь, обязан! — сказать ему, что ты вернулся. И дать ясный ответ, что произошло с его дочерью.

Анатолий молчал.

Федор Васильевич подошел к сыну.

— Ты должен сказать мне правду, — настойчиво повторил он, — ведь, может быть, во всей этой истории нет ничего серьезного, а ты своим поведением заставляешь подозревать бог знает что. Давай вместе подумаем... Ведь я тебе друг!

Федор Васильевич увидел, как дрогнули губы Анатолия. Казалось, что сын вот-вот расплачется.

— Я жду, Толя, — не двигаясь с места, проговорил Валицкий.

— Ну... Ну хорошо, — с трудом произнося слова, сказал Анатолий. — Если тебе это так важно знать... Да, мы уехали из Белокаменска вместе. Потом попали под бомбежку...

Он умолк, точно потеряв нить рассказа, и облизал пересохшие губы.

— Ну, а потом, потом? — нетерпеливо и уже весь охваченный недобрым предчувствием, спросил Федор Васильевич. — Когда вошли немцы, ты... вы тоже были вместе?

— Да, да, вместе! — неожиданно громко и с истерическими нотками в голосе воскликнул Анатолий. — Но я защищал ее! Я дрался с немцами, дрался! Солдат ударил меня сапогом, тяжелым кованым сапогом вот сюда! — кричал он все громче, опуская руку ниже живота. — Меня выволокли... Заперли в сарай... Я задыхался от боли, меня рвало!..

— Ну... а потом? — тихо спросил Федор Васильевич.

— Я рассказывал тебе, что было потом, — с трудом переводя дыхание, сказал Анатолий. — Я пришел в себя... Отодрал доску в стене... Было темно... Я задами пробрался к лесу...

— А Вера? — тихо спросил Валицкий. — Она... осталась у немцев?

— Но что я мог сделать?! — снова воскликнул Анатолий. — Меня преследовали, стреляли вдогонку!

— Ты раньше рассказывал, что тебе удалось уйти незамеченным.

— Я говорил это отцу! Отцу, а не следователю! — уже с нескрываемой злобой крикнул Анатолий.

— Да, да, я понимаю, — как бы про себя проговорил Валицкий.

— Папа, ну пойми же, что я мог сделать? — уже иным, умоляющим голосом произнес Анатолий. — Не мог же я бродить по деревне, полной немцев, и отыскивать Веру! Я ничем не помог бы ей и погиб бы сам. К тому же у меня было задание, важное боевое задание, я ведь тебе говорил! И я выполнил его, хотя, если бы немцы узнали, если бы нашли мой комсомольский билет, который я спрятал под подкладку пиджака...

— Да, да, конечно, — глухо сказал Валицкий.

Эта новая ложь насчет комсомольского билета как-то мало поразила его, хотя Федор Васильевич хорошо помнил, как однажды, охваченный тоской и тревогой за сына, ночью потихоньку пошел в его пустую комнату, открыл ящик стола и стал перебирать вещи Анатолия. Тогда он и увидел комсомольский билет сына, раскрыл его, долго смотрел на фотографию...

Но сейчас он как бы пропустил слова Анатолия мимо ушей. Только одна мысль — о Вере — занимала Валицкого. И, не то спрашивая, не то утверждая, он произнес будто про себя:

— Значит, она осталась там. У немцев...

Анатолий молчал.

— Ну а почему ты не пошел к ее родителям, когда вернулся? — устало спросил Федор Васильевич.

— Но я был там, в первый же день! — торопливо и даже радостно, точно почувствовав твердую почву под ногами, ответил Анатолий. — Только я... никого не застал.

Валицкий молчал, пытаясь осмыслить все то, что услышал от сына. Да, теперь в его рассказе была внутренняя логика. Если все произошло так, как говорит Анатолий, то ему и в самом деле трудно было помочь Вере...

Но, размышляя об этом, невольно стараясь оправдать Анатолия, Федор Васильевич понимал, что непреложным оставался один факт, только один: Анатолий бросил ее. Оставил доверившуюся ему девушку у немцев. Сам спасся, а ее оставил. И, вернувшись, побоялся пойти к ее родителям, рассказать все, как было. Он повел себя, как трус. Трус...

Внезапно Валицкому пришла в голову новая мысль.

— Скажи, Толя, — с надеждой проговорил он, — ты рассказывал мне, что был там... Ну, в ГПУ. — Он всегда называл это учреждение по-старому. — Надеюсь, что ты им сообщил все, как было? Ведь, может быть, у них есть какие-нибудь возможности узнать, что с ней случилось, как-то помочь?

— Я сказал там то, что мне было поручено сказать. Или ты хотел бы, чтобы меня задержали для бесконечных допросов и расследований? Чтобы помешали пойти на фронт?..

— Ты действительно собираешься идти на фронт, Толя? — спросил Валицкий, и эти слова вырвались у него непроизвольно.

— То есть?.. Я не понимаю твоего вопроса, — ошеломленно, с испугом в голосе проговорил Анатолий.

До сих пор никому из окружающих Анатолия людей и в голову не приходило усомниться в чистоте его намерений. Но теперь такой человек появился. И человеком этим был его отец.

И, поняв, что отцу удалось проникнуть в то, в чем он не признавался никому, даже самому себе, Анатолий повторил, на этот раз уже громко и вызывающе:

— Я не понимаю твоего вопроса!

— Видишь ли, Толя, — неожиданно для самого себя спокойно и как-то отрешенно произнес Федор Васильевич,—очевидно, у нас разные взгляды на жизнь. Или... как бы это тебе сказать... на свободу выбора. Мне начинает казаться, что для тебя в любой ситуации есть альтернатива. А я думаю, что в жизни каждого человека бывают такие моменты, когда возможности второго решения нет.

— К чему все эти красивые слова? — сдавленным голосом сказал Анатолий. — Тебе не терпится получить на меня похоронную, стать отцом героя? Альтернатива! Ты всю жизнь умел ее находить для себя, всю жизнь, сколько я тебя помню. Все вокруг изо дня в день, из года в год критиковали тебя, а ты? Много обращал ты на эти разговоры внимания? Как же! «Ты царь, живи один!» И сейчас ты будешь по-прежнему сидеть у себя в кабинете, заперев дверь на ключ и выключив телефон, чтобы, боже сохрани, тебя кто-нибудь не обеспокоил, — и в тысячу первый раз читать своего Витрувия, а в меня в это время будут стрелять...

Анатолий умолк, задохнувшись.

Федор Васильевич стоял неподвижно, ссутулясь и низко опустив голову. Наконец он сказал едва слышно:

— Но я же стар, Толя, и я... люблю тебя!

— Ах, ты стар! Новый аргумент, последний довод короля! Он, видите ли, меня любит и поэтому посылает на смерть! Ты помнишь карикатуру в «Крокодиле» в прошлом году: Петэн обращается к закованной в цепи Франции: «Мадам, я уже стар для того, чтобы любить вас, но предать еще в состоянии». Так вот, гони меня под пули! В меня уже стреляли, я знаю, как это делается!

Валицкий молчал. Он чувствовал себя совершенно разбитым, униженным. Всего лишь полчаса назад он не сомневался в том, что имеет моральное право судить сына. Ему казалось, что сам он за эти дни, прошедшие с начала войны, изменился, стал другим... Что же, сын напомнил ему о его собственном месте в жизни. Такова расплата.

Анатолий же внутренне торжествовал. Слова, аргументы, столь вовремя родившиеся в его мозгу, несомненно, произвели на отца такое неожиданное впечатление, нанесли такой удар, что он явно не может оправиться. И Анатолий вновь почувствовал себя во всем правым, неуязвимо правым. Человека надо судить по тому главному, что он сделал, а не по каким-то деталям и сопутствующим обстоятельствам. В данном же случае главное заключается в том, что он получил важное задание и выполнил его. А на фронт он еще пойдет. Пусть не завтра и не послезавтра, но обязательно пойдет. К тому же разве он укрывается? Он студент последнего курса и имеет право на отсрочку.

Он победно и с сознанием оскорбленного достоинства посмотрел на поникшего, сгорбившегося отца и снисходительно сказал:

— Хорошо. Не будем об этом больше говорить. В конце концов я и не думал тебя обижать. Ты сам начал этот разговор...

Он застегнул наконец рубашку, надел пиджак и, вытащив из кармана красную нарукавную повязку, направился было к двери, но остановился и нерешительно проговорил:

— Если снова позвонит Королев, то ты ему скажи... Ну, что Вера уехала раньше и я о ней ничего не знаю... Впрочем, нет... — Анатолий умолк на мгновение, подумав, что снова окажется в двусмысленной ситуации, если Вера вернется и расскажет своему отцу все, как было в действительности. — Впрочем, нет, — повторил Анатолий, — просто скажи, что я зайду к нему сам и все объясню.

Он произнес эти слова, понимая, что таким образом выигрывает время. В конце концов, судя по тому, что Королев ни разу не подходил к телефону, он почти не бывает дома. Следовательно, всегда можно будет сослаться на то, что его трудно застать...

И, уже успокоенный, Анатолий направился в переднюю, на ходу надевая на рукав повязку.

...Некоторое время Федор Васильевич стоял неподвижно. Потом медленно пошел к себе в кабинет.

«Хорошо, что Маши нет дома», — устало подумал он, вспомнив, что жена ушла к приятельнице.

В кабинете Федор Васильевич окинул рассеянным взглядом книжные шкафы, картины на стенах, но не испытал при этом привычной радости. Все это: и кар-

чны, и книги, и любимый письменный стол, и мягкие, потертые кожаные кресла — показалось ему чужим и ненужным. Вернулся в столовую, написал жене записку, что устал и раньше ляжет спать. Взял из спальни белье, постелил постель в кабинете на кушетке. Закрыл дверь на ключ. Тяжело опустился в кресло.

Итак, он получил второй удар с тех пор, как началась война. Первый ему невольно нанес тогда, по телефону, его друг, доктор Осьминин. Но этот, второй, оказался намного сильнее.

«Ложь, ложь, — повторял про себя Валицкий, думая о сыне, — во всем ложь!

Но как это могло случиться, — мучительно размышлял он, — когда это началось? Он всегда казался мне прямым и честным... Казался, — мысленно повторил с горечью Федор Васильевич. — Но теперь обнаружилось, что у него нет совести. Именно в этом все дело — нет совести. Нет того стержня, который держит человека, заставляет его смело смотреть в лицо и людям и испытаниям. Жизнь — это переплетение дорог, прямых и окольных. Мой сын шел по окольной, делая вид, что идет по прямой. Отдает ли он себе в этом отчет? Ведь обмануть можно не только других, но и себя самого...

Почему он не плакал, не кричал, не бился головой о стенку, сознавая, что та девушка в руках немецкой солдатни?

«Право выбора... альтернатива...» — что я такое говорил, к чему?

Ведь все это для него пустые звуки, мертвые, книжные понятия. Все блага мира не стоят слезы ребенка, убеждал Достоевский. Ха-ха, «достоевщина»!.. Но за что-то он должен быть готов умереть?! Пусть не за доверившуюся ему женщину, пусть за комсомольский билет. «Спрятал его под подкладкой пиджака...» Боже мой, ведь его комсомольский билет мирно лежал в ящике стола! Зачем, зачем он лжет?

И защищается всеми способами... Он хорошо прицелился, ударил отца в самое уязвимое место».

И вдруг Валицкому мучительно захотелось поговорить о том, что произошло, с кем-либо из близких людей. В его сознании затеплилась надежда, что, может быть, кто-нибудь поможет ему найти выход, как-то преодолеть обрушившееся на него несчастье... Но с кем поговорить, посоветоваться? С женой? Нет, это бесполезно. И кроме того, было бы чрезмерно жестоко открыть ей правду о сыне...

Осьминин?..

После того как Андрей Григорьевич дал понять своему старому другу Валицкому, что резко осуждает его поведение, Федор Васильевич ни разу Осьминину не звонил.

Но сейчас ему больше всего на свете захотелось повидаться с человеком, с которым его связывала многолетняя дружба, который к тому же знал Анатолия, когда тот был еще ребенком...

Разумеется, Осьминин, несмотря на позднее время, находится у себя в больнице. Валицкий схватил телефонную трубку, назвал номер. Ему ответил женский голос.

— Пожалуйста, доктора Осьминина! — поспешно произнес в трубку Валицкий.

— Андрей Григорьевич здесь больше не бывает, — услышал он в ответ.

— То есть... как это не бывает? — недоуменно переспросил Валицкий. — Где же он?

— Попробуйте позвонить домой.

Федор Васильевич медленно положил трубку. «Что это значит? — подумал он. — Неужели Андрей переменил место? Ушел из больницы, в которой проработал столько лет?»

Он снова снял трубку, назвал номер домашнего телефона Осьминина. Голос Леночки, внучки старого доктора, он узнал сразу.

— Ты, Леночка? Это говорит Федор Васильевич. Твой дедушка дома?

— Нет, он не был дома уже три дня, только по телефону звонил, — ответил девичий голос.

— Но где же он, где?! — нетерпеливо воскликнул Валицкий.

— Разве вы не знаете, что он ушел в ополчение? — недоуменно сказала Леночка. — Разве он вам не говорил?..

Некоторое время Валицкий, ошеломленный этим известием, молчал. Наконец проговорил растерянно:

— Да, да... конечно...

И положил трубку на рычаг.

«Но как же так? — думал он. — Ведь Андрею почти столько же лет, как мне... К тому же у него грудная жаба...»

Значит, Осьминина нет. Ушел на фронт, даже не зайдя попрощаться, не позвонив по телефону... «Значит, я для него больше не существую, — с горечью подумал Валицкий. — Пустое место. Никчемный, бесполезный человек. Теперь вокруг меня никого нет. Совсем никого. Пустота».

Он долго сидел неподвижно. Из черной тарелки репродуктора, висящей на противоположной стене, до него доносились какие-то слова. Он попытался вслушаться.

Диктор говорил, что враг рвется к Пскову и Луге, ставя своей целью захватить Ленинград. Потом стал рассказывать о летчике, который, расстреляв весь свой боезапас, пошел на таран вражеского самолета, и обе объятые пламенем машины обрушились на скопление немецких войск... Некоторое время Валицкий слушал как бы два голоса параллельно — диктора и свой, внутренний. Потом откуда-то издали до него донеслись глухие удары зенитных орудий. «Что это? — устало подумал он. — А-а, самолеты».

Странно, что он не слышал сирены.

Однако вой сирены раздался в тот самый момент, когда он подумал об этом. И тотчас из черной тарелки донесся голос:

— Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога!

Федор Васильевич машинально отметил, что свет у него в кабинете не горит и в других комнатах тоже. Следовательно, можно не заботиться о маскировке. Он подошел к окну. Увидел, как на Невском замедлил ход и остановился трамвай. С передней и задней площадок поспешно выскакивали люди. Постепенно исчезали прохожие, их точно заглатывали подъезды домов, арки ворот.

«Надо идти в подвал... — подумал Валицкий. — Не пойду! — решил он неожиданно. — Не пойду! Не хочу прятаться. Плевал я на этих проклятых немцев! Пусть бомбят! Я никуда не уйду».

Снова раздался грохот зениток, теперь уже совсем рядом. В воздухе запахло гарью.

«Не уйду, не уйду, не уйду!» — с маниакальной настойчивостью повторял вслух Валицкий, выпрямляясь у открытого окна во весь свой высокий рост.

Теперь он уже знал, что ему надо делать.

...Он встал рано, когда в доме все еще спали. Побрился, тихо оделся и, не позавтракав, вышел из дома.

Он никогда не был там, куда сейчас направлялся, но быстро нашел нужный автобус, а затем пересел на трамвай. Через сорок минут он оказался перед большим четырехэтажным домом. К подъезду вела широкая, выщербленная каменная лестница.

«Интересно, кто строил этот дом?» — машинально подумал Валицкий. Он поднялся по лестнице, толкнул дверь, некогда застекленную, — теперь стекло заменяла фанера, — перешагнул порог и оказался в просторном каменном вестибюле. Здесь царил полумрак и было прохладно.

Валицкий разглядел, что стены вестибюля увешаны военными плакатами, а в отдалении стоит черная школьная доска, к которой кнопками приколоты листки бумаги с машинописным текстом. Некоторое время Валицкий нерешительно переминался с ноги на ногу, раздумывая, куда ему следует обратиться, потом поднялся по лестнице на второй этаж и пошел по коридору, присматриваясь к закрытым дверям. Наконец он увидел пришпиленный к двери кусок картона, на котором жирной тушью было выведено: «Штаб».

Федор Васильевич постучал, услышал «входите!» и толкнул дверь...

У окна, за письменным канцелярским столом, заваленным папками, сидел, склонившись над старинной, с огромной кареткой пишущей машинкой, человек в гражданской одежде, с красной повязкой на рукаве и сосредоточенно что-то печатал, с силой ударяя по клавишам указательным пальцем.

— Здравствуйте, — сказал Валицкий и поклонился.

Человек занес палец над клавиатурой, но задержал его в воздухе, поднял голову и вопросительно посмотрел на высокого седовласого человека в синем шевиотовом костюме.

Валицкий приблизился к столу, держа в вытянутой руке серый листок — повестку:

— Э-э... Простите великодушно! Куда мне надлежит обратиться?

Человек с нарукавной повязкой взял повестку и прочел вслух:

— Валицкий Федор Васильевич...

— Так точно, — поспешно сказал Валицкий, полагая, что это единственное знакомое ему выражение из военного лексикона будет здесь наиболее уместным. И тут же, боясь показаться невежливым, спросил: — А с кем имею честь?..

Сидящий за столом человек несколько удивленно посмотрел на него и ответил:

— Моя фамилия Сергеев. Помначштаба. Ваш паспорт и военный билет.

«Ну вот, ну вот!.. — застучало в висках Валицкого. — Сейчас все это и произойдет».

Он медленно опустил руку во внутренний карман пиджака, долго ощупывал бумажник, наконец, вытащил, достал из него паспорт и военный билет и положил документы на стол.

Сергеев взял их не сразу. Он отодвинул машинку, перебрал несколько папок из лежащей на столе стопки, выбрал одну, открыл и стал перелистывать подшитые бумаги, повторяя про себя: «Та-ак... Валицкий Фе Ве... Валицкий Фе Ве...» Потом сказал: «Есть, нашел» — и взял паспорт Федора Васильевича. Он долго изучал его, перелистал до последней страницы, снова заглянул в раскрытую папку, наконец, поднял голову и, глядя на Валицкого, неуверенно произнес:

— Тут какая-то путаница, товарищ. Мы, правда, строителей требовали... Но в списках вы числитесь с тысяча восемьсот восемьдесят пятого года рождения. А по паспорту с семьдесят шестого. Сколько же вам лет?

В другое время Федор Васильевич обязательно поправил бы человека, говорящего «с года рождения», ехидно заметив, что буква «с» здесь совершенно лишняя.

Но теперь ему было не до словесного пуризма. Более того, боясь обидеть Сергеева, он, подражая ему, сказал:

— Я действительно с тысяча восемьсот семьдесят шестого года рождения. Мне шестьдесят пять.

Эти последние слова Валицкий произнес таким голосом, будто признавался в смертельном грехе.

— Но тогда... — с еще большим недоумением начал было Сергеев, быстро взял военный билет Федора Васильевича, посмотрел его и закончил: — Ну, конечно! Вы же давно сняты с военного учета!..

Он улыбнулся, закрыл военный билет, взял со стола паспорт и, сложив их вместе, протянул Валицкому:

— Что ж, папаша, пусть повоюют те, кто помоложе. А у вас года солидные, заслуженные...

Валицкий заносчиво, срываясь на фальцет, крикнул:

— Я вас не спрашиваю, какие у меня, как вы изволили выразиться, года! Мне... мне лучше знать! Я получил повестку и явился. И, насколько могу судить, вы не уполномочены определять возрастной ценз! Мне доподлинно известно, что в ополчение принимают людей такого же возраста, как и мой!

— Не могу понять, чего вы расшумелись, папаша, — миролюбиво произнес Сергеев. — За то, что явились, спасибо от лица службы. И вообще молодец, что готовы бить врага... Но сами понимаете, что...

— Я ничего не понимаю и понимать не желаю, кроме одного, — оборвал его Валицкий, — я явился по повестке, чтобы быть зачисленным в ополчение! И со-бла-гово-лите произвести необходимое оформление!

— Но поймите же, это невозможно! — сказал Сергеев уже сердито. — Вам же шестьдесят пять лет!

— В речи Сталина не сказано, что имеются какие-либо возрастные ограничения, — отпарировал Валицкий, довольный собой, что сумел сослаться на Сталина, — потрудитесь перечитать эту речь!

— При чем тут речь товарища Сталина? — резко сказал Сергеев и встал. — Я же толком объясняю, что принять вас в ополчение невозможно. По возрасту невозможно! В конце концов, — продолжал он уже мягче, — вы можете участвовать в обороне иным путем, скажем, дежурить по подъезду или на чердаке, следить за светомаскировкой, оказывать первую помощь пострадавшим от воздушных налетов...

— К кому мне надлежит обратиться? — прервал его Валицкий и поджал свои тонкие губы.

— То есть в каком смысле? — не понял Сергеев.

— Я спрашиваю: какое руководящее лицо занимает здесь вышестоящее положение?

Сергеев пожал плечами:

— Начальник штаба. Но, повторяю, это совершенно бесполезно! К тому же его сейчас нет на месте.

— Но кто-нибудь же на месте есть? — уже с отчаянием воскликнул Валицкий.

— Есть комиссар дивизии. Но я еще раз повторяю, уважаемый Федор Васильевич...

— Не трудитесь. Где я могу найти... э-э... комиссара?

— По коридору направо третья дверь, — буркнул Сергеев, демонстративно подвинул ближе к себе пишущую машинку и ткнул указательным пальцем в клавишу.

— Честь имею! — бросил Валицкий. Он схватил со стола свою повестку и документы, круто повернулся и пошел к двери, стараясь идти так, как ходят военные на парадах, — откинув плечи, выпятив грудь и высоко поднимая ноги.

Валицкий узнал его сразу. Лишь взглянул на сидевшего за столом человека, на его изрезанное морщинами лицо, подстриженные ежиком короткие волосы, он понял, что отец Веры, приходивший к нему в самом начале войны и, следовательно, лишь вчера звонивший ему по телефону, и комиссар дивизии — одно и то же лицо. Он поспешно сунул в карман свои документы и, впадая в состояние, близкое к паническому, подумал: «Что же мне делать? Что делать?! Повернуться и уйти, скрыться, не сказав ни слова?» Но, пока Федор Васильевич, стоя на пороге, тщетно старался принять какое-нибудь решение, Королев его опередил.

Он, видимо, тоже узнал Валицкого, резко встал, быстро, почти бегом пересек комнату и, остановившись против него, глухо спросил:

— Что-нибудь о Вере, да? Вернулся ваш сын?

«Ну вот, — подумал Валицкий, — круг замкнулся».

— Говорите же! — резко и неприязненно сказал Королев и, так как Валицкий все еще молчал, снова спросил, но уже иным голосом: — С ней... что-нибудь случилось?

И в этот момент Федор Васильевич со всей остротой, с предельной ясностью понял, что не в его судьбе — старого и никому не нужного человека — сейчас дело, а именно в судьбе Веры, и он не может, не имеет права говорить сейчас с Королевым о чем-либо, что не связано с ней.

— Мой сын вернулся, — проговорил он тихо.

— Ну, а Вера, Вера?!

— Вы разрешите мне сесть? — спросил Валицкий, чувствуя, что ноги плохо держат его.

— Конечно, садитесь, — быстро сказал Королев, указывая на стул у стола и сам возвращаясь на свое место.

Валицкий пошел к стулу. Он двигался медленно, точно желая продлить это расстояние, увеличить его до бесконечности.

Наконец он сел, поднял голову и встретился глазами с Королевым.

И снова Федор Васильевич подумал, что он пришел сюда с повесткой, убежав от своих мыслей, от сына, которого больше не хотел видеть, а первый его долг заключался в том, чтобы отыскать Королева и сказать ему то, что должен был сказать.

— Ваша дочь осталась у немцев, — выговорил Федор Васильевич на одном дыхании, исключая для себя возможность какого-либо лавирования.

— Как... осталась у немцев? — ошеломленно повторил Королев.

— Они возвращались в Ленинград, но поезд попал под бомбежку. Они...

И он коротко, но точно, ничего не пропуская, будто на суде под присягой, пересказал то главное, что понял вчера из рассказа Анатолия.

Некоторое время Королев молчал.

Потом медленно, точно спрашивая самого себя, проговорил:

— Но... почему же он не пришел к нам? Ведь он бывал у нас дома, адрес знает...

— Анатолий утверждает, — сказал Валицкий, — что приходил тотчас же после возвращения, но никого не застал дома.

Он хотел добавить, что ему самому это объяснение кажется жалкой отговоркой, что Анатолий, конечно, мог бы отыскать родителей Веры, оставить, наконец, записку в двери... Но промолчал.

— Так... — произнес Королев, — не застал, значит.

И вдруг Валицкий увидел, что огромные кулаки Королева сжались и на лице его появилось жесткое, суровое выражение.

— Не хочу его защищать, — произнес Валицкий, — но я прошу понять... ведь он... почти мальчик... Ему ни разу не приходилось попадать в такую ситуацию...

Он умолк, понимая, что говорит не то, что вопреки самому себе пытается как-то защитить Анатолия.

— Си-ту-ацию? — недобро усмехнулся Королев, вкладывая в это, видимо, непривычное для него иностранное слово злой, иронический смысл. — Что ж, теперь ситуация для всех необычная.

— Да, да, вы, конечно, правы! — сказал Валицкий. — И... я не защищаю его, — сказал он уже тише, покачал головой и повторил: — Нет. Не защищаю...

Королев снял со стола свои длинные руки. Теперь они висели безжизненно, как плети.

Но уже в следующую минуту он проговорил спокойно и холодно:

— Ладно. Говорить, кажись, больше не о чем. Спасибо, что пришли, однако. Отыскали все-таки.

Он умолк и добавил уже иным, дрогнувшим голосом и глядя не на Валицкого, а куда-то в сторону:

— Как же я матери-то скажу...

И тут же, подавляя слабость, сказал снова спокойно и холодно:

— Ладно. Спасибо. Ну, а затем — извините. Дел много.

Он мотнул головой, чуть привстал, не протягивая Валицкому руки, затем открыл ящик стола и вынул оттуда какие-то бумаги.

Федор Васильевич не шелохнулся. Он чувствовал, что если встанет, то не сможет сделать и шага.

Королев поднял голову от своих бумаг и, нахмурившись, поглядел на Валицкого, точно спрашивал, почему он еще здесь.

И тогда Федор Васильевич сказал:

— Простите, но... я к вам по личному делу пришел.

— Так разве вы не все сказали? — быстро и с надеждой в голосе спросил Королев.

— Нет, нет, к тому, что я сказал, мне, к сожалению, добавить нечего. Только... видите ли, мы сейчас встретились совершенно случайно... Я вам сейчас все объясню, это займет совсем немного времени, — поспешно заговорил Валицкий, собирая все свои силы. — Дело в том, что я получил повестку. Вот...

Он опустил руку в карман, отделил листок бумаги от остальных документов, вытащил его и положил на стол.

Королев взглянул на повестку и на этот раз уже с любопытством посмотрел на Валицкого:

— Вы что же?.. Записывались?

— Да, да, совершенно верно, я записался. Но дело в том... речь идет о моем возрасте.

— Сколько вам лет?

— Шестьдесят пять.

Королев пожал плечами и сказал:

— Ну, значит, кто-то напортачил.

Он снова поглядел на повестку. Потом перевел взгляд на Валицкого, сощурил свои окруженные густой паутиной морщин глаза.

— Надо полагать, что, записываясь в ополчение, вы сделали это... ну, так сказать, символически. А теперь удивляетесь, что получили повестку. Мы запросили к себе в дивизию строителей из городского штаба, вот нам вас и передали... Что ж, вопрос ясен, товарищ Валицкий, бумажку эту вам послали по недосмотру. Сами понимаете, когда вступают десятки тысяч людей... Словом, вопроса нет. Тех, кто вас зря побеспокоил, взгреем. Повестку оставьте у меня.

Валицкий побледнел. Резкие слова были уже готовы сорваться с его губ, но он заставил себя сдержаться. Он вспомнил, как пренебрежительно и высокомерно принял Королева, когда тот пришел справиться о дочери. Точно старорежимный барин, стоял он тогда на до блеска натертом паркете в окружении своих картин, книжных шкафов и тяжелой кожаной мебели и неприязненно глядел на этого путиловского мастерового...

«Что ж, — горько усмехнулся Валицкий, — можно себе представить, какое у него сложилось обо мне мнение...»

— Вам никого не надо «греть», — сдержанно проговорил Федор Васильевич. — Дело в том, что я действительно хочу вступить в ополчение. Но ваш подчиненный — его фамилия Сергеев — решительно мне в этом отказал. Я знаю, что в вашей компетенции...

— Паспорт и военный билет у вас с собой? — прервал его Королев.

— Да, да, конечно!

Валицкий снова полез в карман, чувствуя, что ладонь его стала мокрой от пота, вынул документы и протянул их Королеву. Тот мельком просмотрел их, положил на стол, придвинул к Валицкому и сказал:

— Что ж, все верно. Вы тысяча восемьсот семьдесят шестого года рождения, необученный, с военного учета давно сняты. Товарищ Сергеев поступил совершенно правильно.

Из всего, что сказал Королев, Валицкого больнее всего уязвило слово «необученный». Оно показалось ему оскорбительным.

Но он сдержался и на этот раз.

— Я архитектор и инженер, — сказал он со спокойным достоинством, — и не сомневаюсь, что вам понадобятся не только те, кто может колоть... Ну, этим, штыком, или... э-э... стрелять из пушек. Наконец, я русский человек и...

— Ничего не могу сделать, — снова прервал его Королев.

— Но вы должны, вы обязаны что-нибудь сделать! — воскликнул Валицкий, чувствуя, что слова его звучат неубедительно, беспомощно.

Однако он с удивлением заметил, что именно это его восклицание как-то подействовало на Королева. Тот слегка наклонился к Валицкому и сказал уже менее сухо и отчужденно:

— Но как же вы не понимаете, что на войне каждый человек занимает свое место! Вы человек... немолодой, видный архитектор. Вас должны эвакуировать в тыл страны... Ваши руководители явно что-то прошляпили. Если хотите, я позвоню в Ленсовет и...

Слышать это было уже выше сил Валицкого.

— Вы никуда не смеете звонить! — взвизгнул он, теряя контроль над собой. — Если угодно знать, я был у самого Васнецова и решительно отказался куда-либо уезжать! Я понимаю, что глубоко несимпатичен вам, что мой сын...

Федор Васильевич запнулся, закашлялся и сказал уже тише:

— Но... это все-таки не дает вам права...

Он замолчал, поняв, что говорит совсем не то, что нужно, что его слова наверняка оскорбили Королева, и опустил голову, точно готовясь принять заслуженный удар.

Но удара не последовало.

— Вот что, Федор Васильевич, — неожиданно мягко проговорил Королев, — про это сейчас... не надо. Горе у меня действительно большое. Единственная дочь... Однако права вымещать свое горе на другом никому не дано, это вы правильно сказали. И не об этом идет речь. Но сейчас время суровое, враг рвется к Ленинграду. В ополчение и в истребительные батальоны уже вступили тысячи людей. И еще хотят вступить... Среди них есть люди и старые и больные...

Вот вы и подумайте: можем ли мы их всех принять? Ведь на фронте не цифры нужны, а люди, боеспособные люди. А цифирью баловаться сейчас не время. Вот я вас и спрашиваю: как бы вы поступили на моем месте?

— Сколько вам лет, Иван Максимович? — неожиданно спросил Валицкий.

— Мне? — переспросил Королев. — Что ж, лет мне тоже немало... Но жизнь-то моя была, наверное, не такой, как ваша. Я не в осуждение говорю, отнюдь, просто раз уж разговор зашел. Всю гражданскую довелось на фронтах провести, да и в мировую почти четыре года винтовку из рук не выпускал — вот как у меня дела сложились... А теперь, Федор Васильевич, хочу вам сказать: за желание фронту помочь — спасибо. Берите свои документы и спокойно идите домой.

— Я не могу, — почти беззвучно проговорил Валицкий.

— Это в каком же смысле не можете?

— Если я вернусь, значит... значит, мне ни к чему жить, — все так же тихо и будто не слыша вопроса Королева, проговорил Валицкий.

— Ну, — развел руками Королев, — это уж я, убейте, не понимаю.

— Я, наверное, не все правильно делал в жизни, — сказал Валицкий. — Вот и сына не сумел воспитать... Я очень одинокий человек. И если сейчас я не буду с людьми, не буду там, где решается их судьба, то жить мне не для чего. Я понимаю, что на словах все это звучит наивно. Но мне просто трудно сейчас выразить свои мысли. Я хочу сказать, что мне... мне страшно от сознания, что вы окончательно откажете. Для вас это вопрос чисто формальный. А для меня... Я просто тогда не знаю, как дальше жить...

Он умолк и подумал: «Ну вот. Теперь я сказал все. Все до конца».

Королев молчал.

«Наверное, я не сумел объяснить ему. Не нашел убедительных слов», — с отчаянием подумал Валицкий.

— Война — жестокая вещь, Федор Васильевич, — заговорил наконец Королев, — жестокая и простая. На войну идут не для... искупления, а чтобы разбить врага и защитить родину. Наверное, вам это покажется арифметикой, ну... вроде как дважды два. Но только сейчас в этой арифметике вся суть. Себя искать на войне — другим накладно будет. И если...

— Да, конечно, я понимаю, — перебил его Валицкий, — я знаю наперед все, что вы скажете — «интеллигентщина» и тому подобное. Да, да, согласен, заранее говорю: вы правы! Но сказать вам то, что сказал, я был должен, именно вам! Ведь это судьба какая-то, рок, что на этом месте оказались именно вы! Впрочем... — он устало и безнадежно махнул рукой, — наверное, я опять говорю не то, что нужно...

Королев усмехнулся.

— Слово «интеллигентщина» сейчас не в моде, интеллигенция у нас в почете... — И, сощурившись, он жестко сказал: — Очень много вы со своей персоной носитесь, товарищ Валицкий. — Он побарабанил пальцами по столу и уже более мягко добавил: — Что с вами и вправду несчастье приключилось, я понимаю, вижу. Только вы и в горе больше всего о себе страдаете.

Валицкий опустил голову. Он уже чувствовал, что не смог найти общего языка с этим суровым, точно из одного камня высеченным человеком, знал, что через минуту придется уйти, уйти ни с чем. Что ж, надо взять себя в руки. Попытаться сохранить достоинство.

— Значит, вы мне отказываете, — сказал Валицкий с трудом, стараясь говорить спокойно. — Что ж, видимо, вы правы.. — Он помолчал немного и, усмехнувшись, добавил: — Вряд ли кому-нибудь нужен шестидесятипятилетний необученный старик.

Королев некоторое время молча барабанил пальцами по столу. Потом неожиданно спросил:

— Строительное дело хорошо знаете?

— Но... но помилуйте!.. Я академик архитектуры! Я построил столько домов...

— Дома сейчас строить не ко времени, — сухо прервал его Королев. — Сейчас дома не строят, а разрушают. Я спрашиваю: в фортификационном деле разбираетесь? Ну, в строительстве оборонительных сооружений, траншей, дотов, заграждений?

— Каждый элементарно грамотный архитектор...

— Хорошо, — снова прервал его Королев.

Он взял лежащую поверх паспорта и военного билета повестку и несколько мгновений смотрел на нее, точно изучая. Потом обмакнул перо в стоящую на столе школьную чернильницу-«невыливайку» и что-то написал на уголке серого листочка бумаги. Придвинул повестку к Валицкому и деловито сказал:

— Пройдете в строевой отдел. Третий этаж, там спросите.

Валицкий схватил листок и прочел: «Зачислить. Королев». Ниже стояла дата.

Федор Васильевич хотел что-то сказать, но почувствовал, что не может вымолвить ни слова.

Наконец он произнес сдавленным голосом: «Спасибо», — встал и медленно пошел к двери, сжимая в руках повестку.

У самого порога он остановился и так же медленно вернулся к столу.

— Иван Максимович, — проговорил он едва слышно, — я никогда не видел вашей дочери. И мне хочется... Скажите, какая она была?

Он увидел, как по строгому, неподвижному и, казалось, недоступному для проявления каких-либо эмоций лицу Королева пробежала дрожь.

— Зачем это вам? — глухо спросил он.

— Я хочу знать. Я должен это знать, — настойчиво повторил Валицкий. — Я хочу представить... видеть ее... я прошу вас сказать...

Королев прикрыл глаза широкой ладонью:

— Росту невысокого... Маленькая такая... На врача училась...

Он хотел добавить что-то еще, но не смог. Едва слышно он повторил: «Маленькая...» И снова умолк. Потом сделал несколько судорожных глотков, встал и подошел к окну.

— Идите, товарищ Валицкий, — сказал он наконец, не оборачиваясь. — Ну? Идите же!..

Глава VII

Рано утром 11 июля в палатку Звягинцева вошел капитан Суровцев и доложил, что его вызывает командир дивизии, занявшей вчера позиции на центральном участке.

Звягинцев удивился.

— Может быть, он меня вызывает?

— Никак нет, приказано явиться мне, — ответил Суровцев, но пожал при этом плечами, как бы давая понять, что он и сам недоумевает, почему приказано явиться ему, а не майору, которому он подчинен.

Суровцев был чисто выбрит, свежий подворотничок узкой белой полоской выделялся на покрытой загаром шее, поблескивали голенища начищенных сапог — он явно готовился к предстоящей встрече с начальством.

«Странно, — подумал Звягинцев, — неужели в дивизии не знают, что батальон находится в моем распоряжении? К тому же я представитель штаба фронта, и об этом известно полковнику Чорохову. Но может быть, он не имеет отношения к этому вызову?»

— Вам сообщили, зачем вызывают? — спросил он.

Суровцев снова пожал плечами.

— Насколько я мог понять, для получения какого-то боевого задания. Приказано иметь при себе все данные о личном составе и вооружении. Разрешите взять вашу машину, товарищ майор? На моей резину меняют.

— Подождите, — сказал Звягинцев, — я что-то не пойму. Батальон подчинен мне, а я — штабу фронта. Вы об этом-то сказали?

— Пробовал, товарищ майор. — Суровцев виновато улыбнулся. — Только он на меня так гаркнул в трубку, что даже в ухе зазвенело.

— Кто гаркнул?

— Да комдив же! Полковник Чорохов. В моем ты, говорит, теперь подчинении, и точка!

«Нелепость какая-то! — с раздражением подумал Звягинцев. — Неужели это результат вчерашнего?..»

Накануне, возвращаясь из района работ батальона, Звягинцев решил заехать посмотреть, как идет строительство окопов и ходов сообщения в недавно прибывшей чороховской дивизии.

Там он увидел, как какой-то высоченного роста усатый военный в накинутой на плечи плащ-палатке медленно ходит вдоль только что вырытых окопов, измеряя суковатой палкой их глубину. Недавно прошел дождь, и военный скользил подошвами сапог по раскисшей земле. Он то спрыгивал в окоп, то с юношеской подвижностью выбирался на поверхность и, наконец, остановился у пулеметной позиции.

Пулеметчик, совсем еще молодой красноармеец, попытался было вскочить, когда подошел командир, но тот заставил его лечь, сам улегся рядом, взялся за пулемет и неожиданно дал длинную очередь.

Видимо, пули просвистели прямо над головами работающих впереди красноармейцев, потому что все они поспешно прижались к земле.

— Немцам тоже так кланяться будете? — гаркнул, вставая и выпрямляясь во весь свой огромный рост, усатый.

— Послушайте... товарищ! — возмущенно крикнул Звягинцев. — Что это за фокусы вы тут показываете? Людей перестреляете!

Он не видел знаков различия этого военного, но его звание сейчас мало интересовало Звягинцева.

Командир в плащ-палатке обернулся, оглядел Звягинцева с головы до ног, шевельнул длинными усами и спросил:

— А ты откуда взялся, майор?

— Не знаю, обязан ли я вам докладывать... — начал было Звягинцев, но человек, перед которым он теперь стоял, резко прервал его:

— Обязан, раз находишься в расположении моей дивизии.

Звягинцев понял, что перед ним полковник Чорохов.

По слухам, Чорохов был когда-то матросом, участвовал в штурме Зимнего. Говорили, что, окончив военную академию и став командиром, он так и не расстался с некоторыми привычками матросской юности. Это Звягинцев теперь и почувствовал.

Доложив о себе, Звягинцев, однако, не удержался, сказал сдержаннее, чем прежде, но все же осуждающе:

— Кругом же люди работают, товарищ полковник! Ваши же бойцы.

— Вот именно — бойцы! — протрубил Чорохов. Проворчал еще что-то и пошел дальше вдоль окопов. противотанковых рвов, проволочных заграждений.

И вот теперь, вспоминая об этом происшествии, Звягинцев подумал: «Может быть, между тем, что произошло вчера, и сегодняшним приказом Чорохова есть какая-то связь?»

Но тут же откинул эту мысль: в то, что Чорохов сводит мелкие счеты, он не мог поверить.

Суровцев вытащил из брючного кармана свои именные часы, взглянул на них и сказал:

— Так как же, товарищ майор, машину вашу взять разрешите?

Звягинцев раздумывал, как правильнее поступить. Отпустить Суровцева одного? Или протестовать? Этот Чорохов явно склонен к самоуправству. Видимо, следует немедленно связаться с генералом Пядышевым. Но как? У Звягинцева не было прямой телефонной связи с Гатчиной, где располагалось командование лужской группы войск. Чтобы позвонить туда, все равно надо ехать в дивизию...

— Хорошо, — сказал наконец Звягинцев нетерпеливо переминающемуся с ноги на ногу Суровцеву, — поедем вместе. Какие документы вы взяли?

— Данные о личном составе и вооружении.

— Захватите еще схему минных полей.

— Слушаю, товарищ майор. Я и сам думал...

Звягинцев сел в машину рядом с комбатом. Он умышленно сел не на переднее место, которое по неписаному армейскому закону обычно занимал старший начальник, а рядом с капитаном, как бы желая подчеркнуть, что в данном случае не претендует на старшинство.

Настроение у Звягинцева было испорчено: перспектива разговора с Чороховым мало улыбалась ему.

Молчал и Суровцев, видимо понимая состояние майора.

Штаб стрелковой дивизии Чорохова располагался в городе Луге, то есть примерно в тридцати километрах от района, где работал в предполье оборонительной полосы батальон Суровцева.

Они ехали по тому пути, который относительно недавно проделали в обратном направлении.

Но теперь эту дорогу нельзя было узнать. Пустынная, почти безлюдная той светлой июньской ночью, теперь она была совсем иной. Навстречу им двигались войска — бойцы, идущие строем и цепочками по дороге и обочинам, военные грузовики, тягачи с орудиями.

Разговорову приходилось то и дело прижимать «эмку» к обочине, пропуская воинские колонны, бронетранспортеры и танки.

Звягинцев смотрел в окно машины, и настроение его постепенно менялось. Он не знал, принадлежат ли все эти бойцы, грузовики, орудия и танки дивизии Чорохова, или они разойдутся по ответвлениям дороги на другие участки Лужского рубежа. Но как бы то ни было, вид больших войсковых колонн, орудий и танков радовал.

— Сила! — произнес Разговоров, в очередной раз останавливая машину, чтобы пропустить орудия крупных калибров — шестидюймовки, длинноствольные пушки, короткие гаубицы и противотанковые «сорокапятки». Он вышел из машины и стал у обочины, широко раскрытыми глазами глядя на проходящие войска.

Звягинцев тоже вышел и по появившейся в последнее время привычке взглянул вверх. А если внезапный налет немецкой авиации?

Однако сегодня было пасмурно, облака кучевые, низкие, уже накрапывал дождь. Вероятно, поэтому командование и рискнуло продолжать переброску войск в дневное время. «А может быть, противнику снова удалось продвинуться, и штаб фронта вынужден спешно перебрасывать войска, не считаясь со временем суток?» — подумал Звягинцев.

Работая в штабе округа, а затем — фронта, Звягинцев оперировал масштабами дивизий, корпусов, армий. А теперь он превратился в обычного армейского майора, живущего прежде всего интересами своей части. И сейчас ему было трудно представить себе характер предстоящих операций. «Что это за войска? — спрашивал себя Звягинцев. — Переброшены ли они сюда с других участков фронта, или это резервы, присланные Ставкой? Один факт несомненен: на Лужской линии обороны сосредоточиваются крупные силы».

Но раз это так, то, следовательно, именно здесь решено дать сокрушительный отпор немцам, отбросить их, погнать назад, разгромить.

— Смотрите, товарищ майор, а ведь это курсанты! — обратился к нему Суровцев.

Звягинцеву достаточно было чуть приглядеться, чтобы по петлицам узнать курсантов артиллерийских училищ. Радость сразу померкла. «Даже курсанты! — подумал он. — Значит, всех собрали, всех, подчистую!.. — И снова вспыхнула тревога: — А как же я? Неужели опять стану штабистом-тыловиком?»

— Слушай, капитан, — еще раз с тайной надеждой спросил он Суровцева, — ты уверен, что тебе сам Чорохов звонил?

Суровцев повернулся к нему.

— Как же тут ошибиться? Ко мне из штаба дивизии связь вчера ночью протянули. А на рассвете сразу звонок. «Кто?» — спрашиваю... В ответ бас, точно труба иерихонская: «Не «кто», а полковник Чорохов. Комбата Суровцева мне!» Прямиком, без всякого условного кода по таблице. И фамилию знает.

— Так, значит, «прямиком»... — задумчиво повторил Звягинцев.

— Товарищ майор, — сказал Суровцев, и в голосе его зазвучало что-то вроде обиды, — вы уж не думаете ли, что я сам в дивизию ехать напросился? Я даже с Пастуховым советовался, как быть. Он говорит: «Приказ старшего начальника. Ехать надо. Только майору доложи».

Он умолк.

— Ты правильно поступил, капитан, — твердо сказал Звягинцев и добавил как бы про себя: — Хотелось бы мне увидеть, как фашистские танки на наших минах взрываться будут...

Было около восьми утра, когда они въехали в Лугу.

Город уже стал фронтовым. Кое-где виднелись разбитые авиацией дома, на улицах чернели воронки от фугасных бомб. Связисты тянули провода, то и дело проходили военные грузовики, на перекрестках дежурили красноармейцы-регулировщики.

Командный пункт дивизии размещался в небольшом домике на северной окраине города. Над дверью еще висела вывеска «Городской совет Осоавиахима». Неподалеку стояли два грузовика-фургона, прикрытые зелеными сетями. Звягинцев невольно рассмеялся: на сетях были наклеены потертые изображения каких-то рощиц, озер с плавающими лебедями, — кому-то пришла в голову идея использовать для маскировки театральные декорации.

У крыльца стоял часовой. Взглянув на петлицы Звягинцева, он крикнул в открытую дверь:

— Товарищ лейтенант!

Через минуту на пороге появился лейтенант в начищенных до блеска сапогах.

— Доложите комдиву: майор Звягинцев и капитан Суровцев из инженерного батальона, — сказал ему Звягинцев.

Лейтенант взглянул на стоящего несколько в отдалении Суровцева и, снова переведя взгляд на Звягинцева, ответил:

— Полковник сейчас занят. Комбата приказано сразу к нему... Вы комбат, товарищ майор?

— Мы по одному делу, — резко ответил Звягинцев и прошел вперед.

Когда они вошли в комнату командира дивизии, Чорохов и какой-то немолодой бритоголовый майор стояли спиной к двери у прикрепленной к стене большой карты Лужского района.

Звягинцев отметил их покрытые грязью и пылью сапоги, гимнастерки, взмокшие на спинах, и понял, что полковник и майор только что вернулись с позиций.

Звягинцев громко произнес:

— Товарищ командир дивизии, майор Звягинцев и капитан Суровцев прибыли.

Чорохов резко повернулся, оглядел Звягинцева с головы до ног, пошевелил закрученными на концах в тонкие иглы усами и, обращаясь скорее к Суровцеву, чем к Звягинцеву, насмешливо спросил:

— Сколько комбатов в инженерном батальоне? А?

Суровцев сделал поспешный шаг вперед, краска проступила на его лице сквозь загар, он ответил:

— Я комбат, товарищ полковник. Капитан Суровцев.

— Так почему же он и не докладывает? — недовольно спросил Чорохов, снова переводя взгляд на Звягинцева. — Я его вызывал, а не вас, майор.

Стараясь не сорваться и не ответить резкостью, Звягинцев начал было:

— Разрешите, товарищ полковник...

— Не разрешаю... — отрубил Чорохов. — Закончу с комбатом, тогда поговорю с вами.

Первой мыслью Звягинцева было повернуться, пойти на узел связи, соединиться с генералом Пядышевым и доложить ему о возмутительном, на его взгляд, поведении комдива.

«Но тогда я не буду знать, о чем, в сущности, идет речь, — тут же подумал Звягинцев, — почему Чорохов позволяет себе игнорировать представителя штаба фронта и его задание...»

И хотя Звягинцев чувствовал себя отвратительно — на него больше не обращали внимания, — он все же решил остаться.

— Сведения о личном составе и вооружении привез? — громко спросил комдив, обращаясь к Суровцеву.

— Так точно, товарищ полковник, — поспешно ответил капитан.

— Сдашь потом начальнику штаба дивизии. Вот... майору. — Чорохов кивнул на бритоголового.

— У меня и схема минных заграждений с собой, — сказал Суровцев. — Вот...

Он потянулся к своему планшету, но Чорохов, точно отмахиваясь, остановил его движением руки:

— Да погодь ты со своими минами! Схемы сдашь в штаб. У тебя в батальоне все саперы?

— Так точно, все саперы, — недоуменно подтвердил Суровцев.

— Об этом пока забудь, — сказал Чорохов. — Хватит вам в земле ковыряться. Воевать надо, понял? Получай настоящее боевое задание. Передвинешь свой батальон на десять километров восточнее. Займешь оборону на моем левом фланге, а все твои теперешние минные поля станут моим предпольем. Ясно?

— Так точно, ясно, — машинально проговорил Суровцев. Но по тону его Звягинцев, по-прежнему стоящий посреди комнаты, понял, что капитану ничего не ясно. Да и сам он не понимал, что происходит.

«Что он, в своем уме, этот Чорохов, или просто чудит? — подумал Звягинцев. — Не собирается же он всерьез посадить в окопы саперную, плохо вооруженную часть, как пехоту? — Звягинцев невольно усмехнулся. — Интересно, приходилось ли ему хоть раз слушать лекции профессора Карбышева об использовании инженерных войск?»

А Чорохов, будто читая его мысли, буркнул:

— Ничего еще тебе не ясно, саперный комбат. А ну, давай сюда.

Он подошел к столу, сел, сдвинул к краю прямоугольные ящики полевых телефонов, разгладил карту и сказал вставшему за его плечом Суровцеву:

— Смотри на карту. Начальник штаба, объясни ему задачу.

Бритоголовый майор встал рядом с Чороховым, склонился над картой:

— Вот здесь, капитан, восточнее участка, который занимает ваш батальон, находится населенный пункт Ожогин Волочок. Видите? — У майора был спокойный, усталый голос, и говорил он, точно учитель, разъясняющий ученику младших классов элементарную задачу. — Здесь, в Ожогином Волочке, — он опустил на карту указательный палец с коротко остриженным ногтем, — оборону займет наш сосед — дивизия народного ополчения.

— А какой ее участок? — спросил Суровцев.

— Какой участок?! — вмешался Чорохов и хлопнул по карте своей широкой ладонью. — А хрен его знает, какой! Вчера вечером ополченцы вышли на позиции. И знаем мы только, что здесь будет их правый фланг. Вот это и есть главное, что тебе надо, как «Отче наш», запомнить!

Он повернул голову к своему начальнику штаба и сказал:

— Дай я уж ему сам расскажу. Он по молодости лет божественной науки не проходил. Так вот, — он снова перевел взгляд на карту, — я седлаю основное шоссе и железную дорогу из Пскова. — Чорохов провел ногтем две линии на карте. — А теперь что ты меня должен спросить? А?

Суровцев молчал, сосредоточенно глядя на карту.

— Товарищ полковник, — ответил наконец Суровцев, — это у вас десятикилометровка. Но тогда мне кажется, что между ополченцами и вами получается большой разрыв, километров... в восемь — десять. Кто его будет держать?

— Ах ты умница, саперная твоя душа! — одобрительно и вместе с тем как-то зло воскликнул Чорохов. — В самую точку попал. Так вот, ты и будешь этот разрыв держать. Ты, понял?! Потому что, кроме твоего батальона, мне эту дырку заткнуть нечем, и так тридцать километров на мою долю приходится. В одиннадцать верст прореха на стыке с ополченцами получается. Твоим батальоном я и буду ее латать.

Чорохов исподлобья глянул на Звягинцева, молча стоявшего посреди комнаты, но тут же снова повернулся к Суровцеву.

«Нелепо! Неграмотно!.. Преступно!..» — хотелось крикнуть Звягинцеву.

— Сколько у тебя пулеметов? — спросил Чорохов.

— Четыре ручных, — механически ответил Суровцев, мысли которого были заняты все еще тем, что минутой раньше сказал комдив.

— Ах, будь ты неладен! — воскликнул Чорохов. — Как тебе это нравится, майор? — обратился он к начальнику штаба и встал. — Ты что же, к теще на блины или на войну приехал? — заговорил он, опять поворачиваясь к Суровцеву. — На триста штыков три пулемета?!

— А у нас и штыков нету, товарищ командир дивизии, — уже явно смелее ответил Суровцев, — саперам не винтовки, а карабины положены.

— «Положены, положены»! Ты что ж, со своими сбрезами, что ли, на немцев в атаку пойдешь?

Он с силой подергал усы, точно собираясь их вырвать, и сказал:

— Ладно. Начштаба, запиши: дать его батальону три станковых... Только не «за так». Ты, капитан, говорят, король по автомобильной части. Так вот: ты мне даешь пять машин, а я тебе три пулемета. Затем ты мне дашь...

Звягинцев не выдержал:

— Товарищ полковник! Я настаиваю, чтобы меня выслушали. На каком основании вы разбазариваете батальон?..

— Отставить, майор, — оборвал его Чорохов и, поворачиваясь к начальнику штаба, сказал: — Идите с капитаном к себе и дайте письменный приказ о боевом задании. А вы, капитан, доло́жите все свои схемы минирования и забудьте о них. Теперь у вас новый рубеж и новые задачи.

Несколько мгновений он наблюдал за идущим к двери начальником штаба, потом, видя, что Суровцев, растерянно глядя на Звягинцева, нерешительно переминается с ноги на ногу, сказал, повысив голос:

— Ну, капитан?! У вас что — времени свободного много? Идите!

Суровцев сделал уставной поворот и вышел из комнаты.

Звягинцев тоже направился было к двери (он решил немедленно связаться с генералом Пядышевым), но за его спиной раздался трубный возглас комдива:

— А вы, майор, останьтесь!.. Сюда идите, к столу. Ну, слушаю вас...

Весь горя от негодования и в то же время стараясь сдержаться и не наговорить чего-либо такого, что дало бы повод Чорохову придраться к нарушению дисциплины и уйти от существа дела, Звягинцев молча подошел к столу.

— Ну, слушаю вас.. — повторил Чорохов.

— Я полагаю, товарищ полковник, — тихо, гораздо тише, чем ему хотелось бы, сказал Звягинцев, — что не я вам, а, наоборот, вы мне должны бы объяснить, что все это значит. Кто я такой и какое получил задание, вы отлично знаете, я имел повод доложить об этом еще вчера, когда вы открыли стрельбу из пулемета...

Звягинцев умолк, внутренне ругая себя за то, что не сдержался и напомнил о вчерашнем.

Однако Чорохов не обратил на его слова никакого внимания.

— Та-ак... — проговорил он.— Выходит, ты от своего начальства никаких указаний не получал? Странно. Ну ладно, коли так, слушай меня.

Он оперся обеими руками о стол, слегка подался вперед к Звягинцеву и медленно произнес:

— Позавчера немцы взяли Псков.

Усы его дернулись.

— Ну что же ты замолчал, майор? — снова заговорил комдив. — Давай высказывайся, раз ты такой горячий...

Но Звягинцев не мог вымолвить ни слова. «Псков, Псков, Псков! — стучало в его висках. — Последний большой город на пути к Ленинграду, всего в трехстах, нет, в двухстах восьмидесяти километрах от него! Значит, немцев не удалось задержать и после Острова, значит, они уже шагают по Ленинградской области, и Лужский рубеж — последняя преграда на их пути!..»

Наконец он взял себя в руки.

— Если это так, товарищ полковник, я тем более считаю своим долгом...

— Ладно, — резко прервал его Чорохов. — Я знаю, что вы считаете своим долгом! «Телегу» на комдива во фронт накатать. Самовольные действия, солдафон, самодур, губит вверенную вам отдельную воинскую часть... Так, что ли? А чем мне стык с соседом прикрыть, — ты мне команду дашь? Телом своим, что ли? Так я хоть и длинный, а на восемь километров не растянусь, не вымахал!

Он резким движением открыл ящик стола, вытащил какую-то бумажку и, бросив ее на стол, сказал:

— На, читай, ответственный представитель...

61 ОТДЕЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ БАТАЛЬОН, — прочел Звягинцев, — ЗАКОНЧИВШИЙ МИННОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ В ПРЕДПОЛЬЕ ПРИДАЕТСЯ ВАМ ДЛЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА СТЫКЕ С ДИВИЗИЕЙ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ ПЯДЫШЕВ.

Звягинцев читал и перечитывал не отделенные знаками препинания слова на узких полосках телеграфной ленты, наклеенных на серый шершавый листок бумаги.

Содержание приказа не оставляло места для каких-либо толкований. Все было ясно: батальон передавался в распоряжение дивизии.

«Но... как же я? Куда же мне?.. — с недоумением, горечью и обидой мысленно задавал кому-то вопрос Звягинцев. — Неужели обо мне просто забыли? В конце концов, если положение столь резко ухудшилось и саперов решено превратить в пехоту, то я и сам не хуже любого другого мог бы руководить боевыми действиями батальона... У меня опыт финской войны, я строевой командир!..»

— Ну, вот видишь, майор, — снова заговорил Чорохов, — жаловаться тебе на меня не приходится. Да и с тебя вся ответственность снимается. Так что можешь быть спокоен. Понятно?

— Нет, — тихо ответил Звягинцев, кладя телеграмму на стол, — мне многое непонятно.

— А мне?! — неожиданно воскликнул Чорохов. — Мне, полагаешь, все понятно? Три дня назад на левый фланг соседом кадровую дивизию обещали, а ставят кого? Необученных ополченцев! Мне полосу обороны вначале в пятнадцать километров определили, а сейчас она вытянулась почти в тридцать. А немцы на носу! Ты мне, что ли, ответишь, что делать?..

В горячих словах Чорохова звучала своя обида на что-то или кого-то, и только теперь Звягинцев начал осознавать, что не тяжелый характер, не упоение властью и, уж во всяком случае, не мелочность — причина резкости, даже грубости Чорохова.

Он понял, что и сам комдив находится в очень трудном положении, что в планах командования что-то изменилось, но почему это произошло, полковник, видимо, и сам не знает.

А произошло вот что.

Государственный Комитет Обороны принял решение, по которому два фронта — Северный и Северо-Западный — передавались в оперативное подчинение назначенному главкомом Северо-Западного направления маршалу Ворошилову. Отныне эти два фронта должны были действовать по единому плану.

Решение это было принято сразу же после того, как немцы захватили Псков.

Перед главкомом Северо-Западного направления встали труднейшие проблемы. Задача обороны Ленинграда требовала максимальной концентрации войск для непосредственной защиты города, и актуальность этой задачи по мере продвижения немцев с юга и финнов с севера возрастала с каждым днем.

Но наряду с этой задачей вставала и другая, не менее важная — необходимо было организовать контрудар на северо-западе, поскольку, захватив значительную часть Прибалтики и вторгнувшись в пределы РСФСР, немцы создавали опаснейшую угрозу и соседнему фронту — Западному. Маршалу приходилось решать эти две задачи параллельно.

Прибыв в Смольный, он отдал приказы, которые сразу внесли изменения в планы Военного совета Северного фронта. Лишь вчера подчинявшееся Ставке — Москве, исходившее из задач организации обороны непосредственно Ленинграда, командование Северным фронтом должно было теперь подчинить свои действия планам главкома, для которого Северный фронт был лишь частью руководимого им стратегического направления.

Задумав нанести врагу встречный удар в районе Сольцов, Ворошилов приказал передать из состава Северного фронта Северо-Западному две стрелковые и одну танковую дивизии. Это были те самые соединения, которые Военный совет Северного фронта предполагал направить с Карельского перешейка и Петрозаводского участка на Лужскую полосу обороны.

Разумеется, Ворошилов понимал, что, перебрасывая дивизии, ослабляет Северный фронт, но другого решения он принять не мог.

Военный совет фронта и партийная организация Ленинграда предпринимали титанические усилия, чтобы восполнить вывод трех дивизий. Новые тысячи людей были мобилизованы на строительство укреплений под Лугой и Гатчиной. Спешно формировались бригады морской пехоты, отправлялись на фронт батальоны и дивизионы курсантов военных училищ. Несколько дивизий народного ополчения получили приказ немедленно выступать. Из отходящих с юга войск Северо-Западного фронта срочно формировались новые боеспособные части и подразделения.

И все же первым вынужденным следствием решения главкома явился приказ командирам частей, занимавших оборону на Луге: растянуть свои участки, использовать каждую воинскую единицу, каждое подразделение, независимо от того, к какому роду войск они принадлежали, как заслон на пути рвущегося к Ленинграду врага...

Ничего этого, естественно, не мог знать майор Звягинцев.

Не много было известно и командиру дивизии полковнику Чорохову. Он знал лишь, что от Пскова на Лугу и, значит, на его участок движется танковая лавина врага. Вместо предполагаемой кадровой части на левый фланг Чорохова прислали из Ленинграда дивизию народного ополчения. К тому же увеличили ему полосу обороны, и, как бы ни растягивал он свои полки, стык с этой дивизией оставался незащищенным. И кое-как прикрыть его сейчас он мог только плохо вооруженным саперным батальоном.

Чорохов раздраженно и нетерпеливо постукивал пальцем по столу, готовый вновь разрядить злость на этом строптивом майоре, который носится со своим батальоном, как с писаной торбой, и все еще не уходит, хотя говорить больше не о чем. А Звягинцев спросил:

— Так что же мне делать, товарищ полковник? В Ленинград возвращаться?.. Батальон будет драться, а я в тыл?

Он произнес эти слова тоже с какой-то злостью.

Полковник по своему характеру недолюбливал разного рода представителей из высших штабов. И он был уверен, что этот майор, узнав, что с него снята ответственность за батальон, ныне обрекаемый на тяжелые бои, без особых эмоций уберется подобру-поздорову в свой штаб.

Но последние слова Звягинцева заставили его смягчиться.

— Извини, брат, — сказал он, — как видишь, я здесь ни при чем. Так что на меня не сетуй. А если говорить по совести, то ведь верно, ни к чему тебе, инженеру, в пехотном строю воевать.

Звягинцев ничего не ответил.

— Если нужна машина в тыл, скажи, подбросим, — сказал Чорохов, истолковав его молчание как согласие.

— Разрешите идти? — точно не слыша его слов, спросил Звягинцев.

— Что ж, бывай здоров. Мы на войне, случаем и встретимся. Мне бы немцам здесь морду набить, вот о чем забота... За минные поля спасибо, может, помогут...

«Куда же мне теперь идти? Что делать? — спрашивал себя Звягинцев, выйдя на улицу. — Ехать в штаб фронта? Но справится ли батальон без меня с новой задачей? Ведь это совсем не так просто — занять свой новый участок, заново установить минные поля и тяжелые фугасы...» Обо всем этом думал Звягинцев, выходя на улицу. Только вчера ему казалось, что на него, лично на него возложена такая задача, от выполнения которой в значительной мере зависит, скоро ли немцы будут остановлены и отброшены назад. А сейчас Звягинцев понял, что о нем просто забыли. Все, в том числе и Пядышев.

Этот переход от вчерашнего гордого сознания своей высокой ответственности к ощущению, что он отстранен от того, что является главным делом его жизни, был так внезапен, что Звягинцев растерялся и не мог решить, что же ему теперь делать.

Мысль позвонить генералу Пядышеву или просто отправиться к нему в Гатчину Звягинцев откинул: после телеграммы, которую показал ему Чорохов, в этом не было смысла.

«Что ж, — невесело подумал он, — может быть, ге-

нерал и прав. В сущности, батальон выполнил свое первоначальное задание, минные поля установлены, проходы могут быть закрыты по первому же приказу... Со всем остальным справятся своими силами дивизионные саперы. А то, что обо мне ни слова не говорится в телеграмме, означает, что я должен вернуться в штаб фронта...»

Но то, что накануне сражения ему придется возвращаться в тыл, никак не укладывалось в сознании Звягинцева. Он был глубоко убежден, что, оставаясь с батальоном, сможет принести несомненную пользу.

«И кроме того, — продолжал размышлять Звягинцев, — как быть с радиоприборами? Неужели генерал забыл, что именно мне поручено отвечать за использование ТОС? Этого не может быть! Тогда почему же я не получил никаких новых указаний? Нет, я не могу уехать! Я сейчас снова пойду к Чорохову и буду просить оставить меня в батальоне. Он имеет на это право, раз батальон поступает в распоряжение дивизии».

И как только Звягинцев принял это решение, все дальнейшее представилось ему простым и ясным. Сейчас он пойдет в штаб дивизии. Но не для того, чтобы звонить Пядышеву, а чтобы разыскать Суровцева и ознакомиться с данным ему боевым заданием.

После этого — обратно к Чорохову. Не исключено, что он сумеет предложить комдиву ценные поправки к приказу. Не может же быть, чтобы в дивизии не пригодился в том или ином качестве человек, обладающий не только специальностью военного инженера, но и опытом финской войны, к тому же успевший изучить каждую пядь земли, где предстоят военные действия!

Звягинцев встал, одернул гимнастерку и решительным шагом пошел отыскивать штаб дивизии.

Однако там, в штабе, Звягинцева ждала новая неожиданность. Когда в поисках Суровцева он ходил из комнаты в комнату, где размещались различные службы, его нагнал дежурный по штабу — старший лейтенант с красной повязкой на рукаве.

— Вы не товарищ майор Звягинцев будете? — спросил он, останавливаясь на бегу, и, не дожидаясь ответа, добавил: — Мне ваш комбат сказал, что вы у полковника остались! Я уж и туда бегал! Вот, получите, телеграфисты торопились, даже расклеить не успели.

И он протянул Звягинцеву узенькое, свернутое колечко телеграфной ленты.

Чувствуя, как его снова охватывает волнение, Звягинцев взял, точнее, выхватил у лейтенанта бумажное колечко, подошел к окну и стал торопливо разматывать ленту, читая выбитые телеграфным аппаратом слова:

ШТАБ СД МАЙОРУ ЗВЯГИНЦЕВУ ВРУЧИТЬ НЕМЕДЛЕННО БАТАЛЬОН СУРОВЦЕВА ПРИДАЕТСЯ ДИВИЗИИ ВРЕМЕННО ДО ПОДХОДА НОВЫХ СТРЕЛКОВЫХ ЧАСТЕЙ ВОЗЛАГАЮ НА ВАС КОНТРОЛЬ ЗА БОЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАТАЛЬОНА ПЯДЫШЕВ.

Первой мыслью Звягинцева было бежать к Чорохову и показать ему телеграмму. Но тут же он подумал, что тогда рискует упустить Суровцева, который, получив приказ, может отправиться обратно в батальон.

Поэтому Звягинцев окликнул дежурного, спина которого еще виднелась в коридоре, и, когда тот вернулся, торопливо сказал:

— Слушай, старший лейтенант, будь другом, разыщи командира инженерного батальона капитана Суровцева. Скажи: без меня никуда не отлучаться.

— Слушаюсь, — ответил дежурный, потом улыбнулся: — Куда он денется, ваш комбат! Его начштаба крепко оседлал.

...Чорохов сидел в своем кабинете один. Когда Звягинцев открыл дверь и произнес уставное «Разрешите?..», комдив, едва взглянув на него, чуть улыбнулся, но тут же спрятал улыбку в усы и ворчливо сказал:

— Давай входи, майор, знаю. Читал твою ленточку. Я и дежурного искать тебя послал. Думаю, сиганет майор прямиком в Ленинград на попутных, как мы тут без него воевать будем?

Однако Звягинцев не обратил внимания на снисходительно-ироническую интонацию, с какой комдив произнес эти слова.

Растерянность, которая владела им совсем недавно, исчезла. Все стало на свои места. Теперь Звягинцев снова ощущал себя представителем штаба фронта, старшим командиром в батальоне, за боевые действия которого отвечает и он.

— Товарищ полковник, — начал Звягинцев, — поскольку из телеграммы следует, что батальон не вливается в состав вашей дивизии, а только придается ей, и поскольку контроль за правильным использованием батальона возложен на меня, я хотел бы задать несколько вопросов...

Он увидел, что выражение лица Чорохова мгновенно изменилось. Взгляд комдива стал жестким. Он сделал движение губами — пики усов воинственно приподнялись — и проговорил:

— «Поскольку... постольку...»! Что это ты каким-то интендантским языком стал выражаться? То чуть не в панику готов был удариться, то вроде следователя пришел. «Вопросы», «Правильное использование»... Какие тут могут быть вопросы? Бить и гнать врага надо, вот тебе и будет «использование», и притом правильное! Подойдут свежие стрелковые части — сменим. А не подойдут, будешь стоять со своими саперами. Насмерть стоять, до последнего человека! Пулеметов не хватит — карабинами, гранатами станешь отбиваться! Патронов не хватит — лопатами будешь немца бить. Понял?!

— Это я понял, — спокойно сказал Звягинцев, — и все же просил бы вас посвятить меня не только в боевое задание батальону, но и, так сказать, в общий ваш замысел. Ведь батальон будет у вас на фланге, в стыке двух дивизий...

— «Замысел, замысел...» — проворчал Чорохов, но, видимо поняв, что так просто от Звягинцева не отделается, встал и подошел к висящей на стене карте. — Гляди сюда. У твоего батальона самостоятельный участок на моем левом фланге. И широкий. Жесткой обороны не выйдет. Железную дорогу и шоссе седлаю я, это ты слышал, когда я твоего капитана просвещал. Здесь жду главный удар. А вот дороги, которые от Луги на Уторгош ведут, — твои. И чтобы по ним муха немецкая не пролетела, не то что танк. Надеюсь, ты не зря свои минные поля устанавливал. Ну, а подробнее начштаба по оперативной карте разъяснит. Понял?

— Понял. Но мне придется наскоро устанавливать новые минные поля. Не забудьте, — у меня только три... скажем, теперь шесть пулеметов... Немцы могут прорваться.

— Для того ты там и стоишь, чтобы не прорвались. Твоя задача — продержаться до подхода наших танков.

— Так у вас есть танки? — радостно воскликнул Звягинцев.

— Ну вот, расшумелся! Нет у меня еще танков, майор, но обещали полк придать, командир прибыл, а полк, говорит, на подходе. Еще батарею противотанковых орудий обещают дать, только где она, пока не знаю. А если немцы тебя завтра атаковать начнут? Вот поэтому я на главное ударение делаю: держать немцев, если подойдут.

Чорохов вернулся к столу, уселся и сказал:

— По расчетам начальства, они раньше чем через дня два-три на твоем участке не появятся. Опять же ты на мои танки сильно не надейся: они мне могут и в другом месте понадобиться. Ну вот, ясно? Три пулемета, как обещал, получишь. А машины отдашь...

— Не дам я машины, — угрюмо и глядя в пол, проговорил Звягинцев.

— Не да-ашь? — изумленно и точно не веря своим ушам, переспросил Чорохов. — Это как же понимать?! — проговорил он уже угрожающе.

— Не дам, товарищ полковник, хоть в трибунал отправляйте! Пулеметов у нас с гулькин нос, автоматов нет, даже винтовок со штыками не имеем. Машины нужны нам, чтобы перебросить батальон на новый участок. А кроме того, я знаю, как это делается: отдашь машины, потом ищи свищи. А инженерный батальон без машин — все равно что кавалерия без лошадей... Нет, что хотите делайте, машины не отдам, а вот бутылок с зажигательной смесью у вас попрошу. С танками ведь придется драться.

Звягинцев настороженно поглядел на Чорохова, ожидая, что тот сейчас взорвется. К его удивлению, никакого взрыва не последовало. Комдив покрутил головой, точно ворот гимнастерки стал ему тесен, усмехнулся и сказал:

— Оказывается, ты из кулаков, майор, вот что я тебе скажу! Чего ты на мою шею навязался? Лучше уж ехал бы себе в штаб фронта...

— Теперь не могу, товарищ полковник, не имею приказа, — сказал Звягинцев, тоже усмехнувшись и уже чувствуя расположение к Чорохову.

— Ишь ты какой дисциплинированный! — проговорил полковник. — Ладно, владей своими машинами. Иди в штадив, ознакомься с планом обороны дивизии. Бутылки дам. Только запомни: не устоишь, пропустишь немца — считай, что тебя уже нет на свете. Понял? Не посмотрю, что ты из штаба фронта. Батальон-то мне придан. Значит, вместе с тобой.

— Еще одно дело, товарищ полковник. На схемах, которые мы сдадим в ваш штаб, помечен участок, где заложены тяжелые фугасы. Это известно командованию фронта.

— Ну и что? — настороженно спросил Чорохов.

— Дело в том, что взорвать эти фугасы можно только с помощью особых... ну, специальных средств с разрешения штаба фронта. Эти средства я с собой заберу. Новые фугасы буду закладывать. Добавить больше ничего не могу. Вам надлежит по этому вопросу связаться с командованием.

— Ладно, свяжусь, — буркнул Чорохов. — Все?

— Нет, товарищ полковник. Я ведь вам хорошо оборудованное предполье сдаю. А какими средствами мне новое устанавливать? Словом, прошу подбросить несколько сотен мин. Ну, противотанковых, штук триста — четыреста.

— Получишь двести, — недовольно сказал Чорохов.

— Еще мне надо...

— Все, майор! — решительно прервал его Чорохов и ударил ладонью по столу. — Кто кому придан? Батальон дивизии или наоборот? А теперь — иди. Времени у тебя в обрез.

Из комнаты начальника штаба дивизии до Звягинцева донеслись громкие, возбужденные голоса. Клубы дыма устремились на него, как только он открыл дверь. Начальник штаба сидел за небольшим письменным столом, окруженный кольцом военных. Спиной к двери на краешке стула примостился Суровцев, над ним, заглядывая в разложенные на столе карты, нависал очень грузный подполковник-танкист, объемом и ростом своим, пожалуй, превосходивший даже Чорохова. По бокам стола, навалившись на него грудью, сидели еще двое военных.

— Товарищ майор, — еще с порога обратился Звягинцев к начальнику штаба, — согласно приказу генерала Пядышева, я остаюсь с батальоном. Разрешите принять участие в совещании.

Он заметил, как радостно посмотрел на него Суровцев, раскрыл рот, видимо желая что-то сказать, но в этот момент подполковник-танкист выпрямился и, опережая и Суровцева, и начальника штаба, воскликнул:

— Послушайте, майор, это вы и есть тот человек, который насажал здесь столько цветочков?

Он говорил с каким-то странным, едва уловимым нерусским акцентом и слова произносил мягко, точно где-то в горле предварительно обкатывал их.

— Какие цветочки? — недоуменно спросил Звягинцев, подходя к столу.

— Я про мины говорю, про мины! — сказал подполковник, несколько растягивая звук «и», отчего слово «мины» звучало у него, как «миины», и ткнул пальцем в лежащие на столе схемы минных полей. — Как же мои танки в атаку пойдут? Танк есть тяжелая машина, он не может танцевать польку на минах!

— В минных полях имеются проходы, вполне достаточные для ваших машин, товарищ подполковник.

— Но где они, эти проходы, где?! — снова заговорил танкист. — Кто их нам будет указывать?

— Но, товарищ Водак, — с упреком проговорил молчавший до сих пор Суровцев, — я ведь вам докладывал схемы минных полей и проходов!

— Схема есть бумага, — не унимался танкист, — а русская пословица говорит: «Хорошо писать бумагу, но надо думать про овраги, потому что по ним надо ходить!» Нет, майор, — снова обратился он к Звягинце-

ву, — вы должны поехать в мой полк и подробно объяснить командирам машин, где есть опасные участки...

«Что у него за акцент? — снова с любопытством подумал Звягинцев. — И фамилия какая-то странная...»

— Было бы гораздо целесообразнее, товарищ подполковник, если бы вы со своими командирами подъехали в наш батальон и посмотрели все на местности,— сказал он.

— Но мой полк еще не прибыл! — возразил подполковник.—А что, если ему придется в бой вступить с ходу?

— Ладно, товарищи, тихо! — вмешался наконец в разговор начальник штаба. — Хочу в связи с прибытием майора Звягинцева повторить задачу. Вот посмотрите, майор, участок, за который будет отвечать батальон Суровцева.

И он, взяв лежащий на столе раздвинутый циркуль, упер его ножки в две точки на карте.

— Вы только взгляните, товарищ майор, — жалобно проговорил Суровцев, явно ища поддержки у Звягинцева, — ведь нам и вправду не меньше восьми километров отводят! Чем мы их держать будем? Шестью пулеметами и карабинами? Легко сказать — «отвечать». А как?

— А как, на месте у себя решишь, на то ты и комбат, — жестко ответил начштаба.

— Простите, товарищ майор, — сказал Звягинцев с тайной надеждой, что здесь, в штабе, ему удастся выторговать то, что не удалось у Чорохова, — участок следовало бы сократить, он непомерно растянут.

— Я его, что ли, растянул? — повысил голос начштаба. — Вам уже известен фронт нашей дивизии. Словом, за стык отвечаете головой. Идем дальше...

Слушая бритоголового майора, Звягинцев начал теперь глубже понимать замысел предстоящего боя. Формировалась маневренная группа из танкистов, артиллеристов и пехотинцев. Ей предстояло выдвинуться далеко вперед от главной полосы обороны, в зону минных полей, и там встретить немцев.

Это был, безусловно, правильный замысел, и Звягинцев тотчас же оценил его по достоинству.

Однако было очевидно и другое: танки этого Водака еще не подошли в расположение дивизии, батарею орудий обещают прислать лишь «в ближайшее время». А что будет, если немцы появятся завтра, если они преодолеют эти десятки километров, отделяющие Псков от наших позиций, быстрее, чем можно предполагать?

В таком случае батальону придется вести с ними бой лишь собственными силами...

Уже наступал вечер, когда Звягинцев и Суровцев выехали из штаба дивизии. Ехали молча, поглощенные своими мыслями.

Первым нарушил молчание Разговоров.

— Разрешите узнать, товарищи командиры, — не поворачивая головы, обратился он к сидящим на заднем сиденье Звягинцеву и Суровцеву, — какая же теперь у нас путевка будет? Дан приказ ему на запад иль в другую сторону?

— А на юг, Разговоров, не хочешь? — угрюмо спросил Суровцев.

— Что ж, можно, хотя для нас юг теперь не Сочи,— с готовностью ответил Разговоров, помолчал немного и, понижая голос, спросил: — Неужто и правда Псков отдали? А? Или брешут ребята?

— Гляди за дорогой, сержант, — строго оборвал его Звягинцев.

«Трудная, очень трудная ситуация... — думал Звягинцев. — Пожалуй, труднее нельзя себе и представить. Всего, что угодно, можно было ожидать, только не этого. Удерживать восьмикилометровый фронт силами шести пулеметов и карабинами!.. И к тому же имея не стрелковый, а саперный батальон! Воображаю, какой нелепостью выглядела бы подобная задача на занятиях в Инженерной академии... Шесть пулеметов...

Все это так, — перебил себя Звягинцев, — но ведь ты же жаждал совершить подвиг, проявить героизм! Рвался на фронт, подавал рапорты, тешил себя дурацкими мечтами, что именно ты остановишь немцев... Ты же на днях клеймил того лейтенанта за отступление. Помнишь, как хвалился перед Королевым, что сумеешь умереть, не отступив... Пожалуйста, умри — есть такая возможность! Только будет ли от этого толк? Немцев надо остановить — вот главное...

Итак, бутылки с зажигательной жидкостью я получил — нужно будет сразу послать за ними машину. Бойцов не обучали обращению с этими бутылками. Но наука невелика — вроде гранат. Хоть бы пулеметов было побольше... Самое опасное — это танки. Надо готовиться к встрече с танками. Надо заманить их на минные поля... Но эти поля предстоит еще заново создать!..

Ну а потом? Ведь не все же вражеские машины подорвутся, наверняка некоторые из них уцелеют и попытаются прорвать нашу оборону. Чем мы их остановим? Пулеметами и бутылками? Вот если бы подоспели наши танки!»

Он вспомнил того высокого подполковника с певучим акцентом и спросил:

— Послушай, Суровцев, что это у него за акцент?

— Что? Какой акцент? У кого? — удивленно переспросил капитан.

— Ну, у этого подполковника. Танкиста. Он что, не русский, что ли?

— Чех он, товарищ майор! — неожиданно откликнулся Разговоров.

— Чех? — переспросил Звягинцев. — А ты что за лингвист такой? И откуда тут взяться чеху?

— А мне его шофер рассказал, пока вместе у штаба стояли. Самый настоящий чех. Вóдак фамилия. Не Водáк, а Вóдак по-ихнему. Только он наш, советский. Тут, в России, говорят, после империалистической корпус какой-то чешский болтался. Беляки, одним словом. Так вот этот Водак еще тогда на нашу сторону перешел. В Красную Армию вступил, да так в армии и остался. Он...

— Ладно, ладно, — решил умерить его словоохотливость Звягинцев, — не привыкай заполнять анкету на старших командиров. Это в штабах делают.

— Так это же невозможная для командира вещь, товарищ майор, от солдата свою биографию утаить! Боец всегда хочет иметь командира с биографией. На худой конец сам составит!

— Что ж, ты и мне составил? — улыбнулся Звягинцев.

— Биография ваша, по-моему, не сегодня-завтра начнется,— уже серьезным тоном ответил Разговоров.— Вы думаете, я зря весь день у штаба простоял? Язык есть, уши. Близко немцы-то...

— Ну и что у тебя на языке?

— Хотелось бы вас спросить кое о чем, товарищ майор, — тихо ответил Разговоров, — да ведь вы поговорить не любитель. А мне уж фамилия досталась такая...

После короткого совещания комсостава, на котором Звягинцев и Суровцев рассказали о новой задаче, поставленной перед батальоном в штабе дивизии, батальон спешно погрузился на машины и двинулся на отведенный ему новый участок.

И хотя никто из батальона, кроме Звягинцева и Суровцева, не побывал в штабе дивизии и никто, кроме них, не знал, чем был вызван приказ, по которому саперы превращались в пехотинцев, тем не менее не было в эти часы в батальоне бойца, который не понимал бы, что означает этот приказ.

В течение всей этой ночи и последующего дня бойцы батальона устанавливали новые минные поля, копали окопы, ходы сообщения и щели для истребителей танков.

К счастью, в распоряжении Звягинцева осталось несколько управляемых по радио тяжелых фугасов, и теперь их заложили на восточном фланге того нового участка, который оборудовал батальон.

Пастухов ушел в роты. Он побывал в каждом взводе и беседовал с бойцами, не выпуская из рук лопаты.

Посланная в Лугу полуторка вернулась со взрывчаткой, тремя станковыми пулеметами, ящиками с патронами и сотней бутылок с зажигательной смесью.

«Еще бы несколько суток! — думал Звягинцев. — Зарыться в землю, обучить батальон бою в обороне, дождаться подхода танков и артиллерии — вот тогда, как говорил Чорохов, и «набить морду фашистам».

Звягинцев решил отправиться на машине вперед, километров на двадцать к югу, чтобы осмотреть рельеф местности — те естественные препятствия, которые придется преодолевать врагу.

Солнце было в зените, когда Звягинцев выехал из расположения батальона.

Ведомая Разговоровым «эмка» ехала по проходу в минном поле, то оседая, то подпрыгивая на ухабах, точно суденышко в штормовом море.

Обернувшись, Звягинцев, к удивлению своему, увидел на заднем сиденье автомат ППШ. Этого оружия в батальоне не было, нужда в нем всюду ощущалась огромная, и Звягинцев изумленно спросил Разговорова, откуда у него автомат.

— А что же, товарищ майор, зря, что ли, я в дивизии полдня простоял? Батальон же теперь на все виды довольствия в дивизии зачислен.

— Но при чем тут автомат?

— Как при чем? — пожал плечами Разговоров. — Раз на все виды, значит, распишись в ведомости и получи.

— Не морочь мне голову, сержант! Так-таки прямо пришел на склад и тебе выдали этот автомат?

— Ну зачем «так-таки прямо», товарищ майор! К складу тоже проход нужен, как в минном поле!

— И кто же тебе этот проход показал?

— Ну, кореш один оказался... Вместе когда-то голубей гоняли. Он мне еще с того времени трех турманов задолжал.

— А теперь автоматом расплатился?

— Ну зачем вы так, товарищ майор? — обиженно протянул Разговоров. — На это оружие я имею право. Как-никак представителя штаба фронта вожу в боевых условиях. Так и заявил.

— И подействовало?

— В общем-целом...

Звягинцев усмехнулся и покачал головой.

Машина миновала проход. Ехали молча. Звягинцев внимательно осматривал местность, время от времени переводя взгляд на карту-двухкилометровку, лежавшую у него на коленях.

Несколько раз на пригорках он выходил из машины, чтобы оглядеться. Все было спокойно.

Они въехали в какую-то не обозначенную на карте деревеньку. Она состояла не более чем из десятка дворов. Все избы были разрушены или сожжены дотла. Очевидно, вражеская авиация разбомбила деревню «по пути», во время очередного налета на Лужские укрепления. Кое-где еще вспыхивали короткие язычки огня.

— Останови! — мрачно приказал Звягинцев Разговорову.

Они оба вышли из машины и некоторое время безмолвно стояли на пепелище.

Был тихий и жаркий июльский полдень, светило яркое солнце, где-то стрекотали кузнечики, и казалось, что мир и спокойствие окружают это кладбище.

— Гады... гады фашистские, — тихо проговорил Разговоров.

— Мы с ними сочтемся... — сказал Звягинцев, и голос его прозвучал хрипло и жестко. — Ладно, сержант, поехали.

Они проехали еще несколько километров, и Звягинцев снова остановил машину, чтобы проверить вязкость и глубину тянущегося справа болота.

— Разворачивайся, Разговоров, — сказал он, — я пройду немного вперед, а потом вернусь, и сразу поедем обратно.

Звягинцев думал о том, какое количество танков и мотопехоты противника сможет одновременно продвигаться здесь. Он шел по краю болота, время от времени сапогом испытывая топкость. Он решил дойти до возвышавшегося метрах в ста отсюда пригорка, чтобы, взобравшись на него, снова осмотреться.

Всего лишь метров пятьдесят отделяли Звягинцева от пригорка, когда он услышал глухой рокочущий металлический гул. Несколько секунд он стоял неподвижно, стараясь определить, откуда доносится этот все нарастающий гул, и вдруг увидел, как прямо перед ним, под углом к вершине пригорка выползает орудийный ствол. Прошла секунда-другая, и показалась башня танка.

Люк танка был открыт, и над башней возвышались плечи и голова человека в черном шлеме.

Какие-то мгновения Звягинцев стоял в оцепенении. И только когда танкист внезапно исчез и люк захлопнулся, до Звягинцева наконец дошло, что это немецкий танк и из него сейчас начнут стрелять.

Пригибаясь к земле, петляя, он побежал обратно к машине.

— Газуй, газуй, Разговоров! — громко, срывающимся голосом кричал Звягинцев.

Но Разговоров, подняв капот и склонившись над работающим мотором автомашины, очевидно, не слышал ни его голоса, ни гула приближающегося танка.

— Разговоров! Сержант! — задыхаясь, снова крикнул Звягинцев, и в это мгновение раздался выстрел. Снаряд разорвался впереди, метрах в десяти от него. Звягинцев инстинктивно упал, прижался к земле и в ту же секунду услышал звук пулеметной очереди.

Он вдавил голову в плечи и обхватил затылок руками. Пули прострочили землю где-то совсем рядом. Звягинцев снова вскочил, слыша, как за спиной его все нарастает гул приближающегося танка, и увидел, что «эмка» идет ему навстречу. Машина двигалась задом, левая передняя дверь ее была полуоткрыта, и оттуда высунулся Разговоров. Снова почти одновременно раздались выстрел и разрыв. Земляной смерч заслонил машину от Звягинцева, но Звягинцев сумел разглядеть, что «эмка» невредима и находится уже в нескольких шагах от него.

Он сделал прыжок к машине, рванул заднюю дверь и бросился животом на сиденье. Уже ничего не видя, почувствовал, как машина резко остановилась, снова ощутил рывок...

Разговоров, почти лежа, пряча голову за спинку сиденья и крепко вцепившись руками в руль, гнал, не выбирая дороги, делая резкие повороты то вправо, то влево.

Снова раздался пушечный выстрел, машину сильно тряхнуло, но она продолжала двигаться. Звягинцев заставил себя приподняться и посмотреть в заднее стекло. Он увидел, что танк находится метрах в ста позади, а через пригорок медленно переваливается второй.

Звягинцев снова прижался лицом к сиденью и в ту же секунду услышал пулеметную очередь и звон разбитого стекла над головой...

Машина резко качнулась и, точно лишенная управления, запетляла из стороны в сторону.

— Разговоров! — отчаянно крикнул, приподнимаясь, Звягинцев, убежденный, что шофер ранен или убит. На него хлынул поток ветра — переднее и заднее стекла машины были выбиты.

Разговоров по-прежнему полулежал на переднем сиденье, не выпуская из рук руля.

— Разговоров! — снова крикнул Звягинцев и, перегнувшись вперед, вцепился руками в его плечи.

— Ни хрена! Жив Разговоров! — хрипло крикнул в ответ, не меняя своего положения, шофер.

«Что же я ничего не делаю! — промелькнуло в сознании Звягинцева. — Надо стрелять, стрелять!»

Он схватил упавший с сиденья на пол кабины автомат, выставил его ствол в разбитое стекло и нажал спуск. Он не сознавал всей нелепости стрельбы из автомата по танку, даже не слышал звука выстрелов, только чувствовал, как дрожит в руках автомат, захлебываясь очередями.

«Эмку» бросало из стороны в сторону, она дрожала и подпрыгивала, но Звягинцеву казалось, что он видит смотровую щель в башне танка и может забить ее свинцом.

Патроны в диске кончились.

Отбросив автомат, Звягинцев огляделся и заметил, что слева тянется маленькая, полувысохшая речка.

— Лево руля, давай лево руля! — крикнул Звягинцев.

Разговоров резко повернул руль. Там, где только что находилась машина, землю вспорола пулеметная очередь. В следующую минуту Звягинцева опять тряхнуло, он ударился головой о потолок кабины, а машина съехала, вернее, сползла по склону боком к воде.

— Газуй по речке! — крикнул он.

Речка была настолько мелкой, что вода не покрывала и половину колес. «Эмка» мчалась, вздымая по обе стороны веера водяной пыли.

Танки как будто отстали.

Минут десять они ехали молча. Наконец Разговоров выпрямился на сиденье, обернулся к Звягинцеву и спросил:

— Живы, товарищ майор, не ранило?

— Все в порядке, друг, — ответил Звягинцев, стараясь унять дрожь в коленях и заставить свой голос звучать спокойно. — Теперь газуй, не сбавляй хода! Если они подойдут к берегу, то сверху расстреляют нас, как на стрельбище.

— Ну-у, это еще бабушка надвое сказала! — с какой-то исступленной лихостью ответил Разговоров.— Нам бы теперь вон до той рощи доскочить...

Звягинцев посмотрел туда, куда кивнул Разговоров, и увидел, что примерно в километре от них почти вплотную к правому берегу подступают деревья.

На мгновение у него мелькнула мысль: может, бросить машину, выбраться на берег и ползком и перебежками добираться до рощи?

Нет, этого делать нельзя, тут же решил он. Ведь эти танки — разведка! Их выслали осмотреть местность. Танкисты вернутся, доложат, что впереди нет советских войск и, следовательно, путь на север свободен! И тогда немцы, уже не соблюдая никаких предосторожностей, ринутся вперед.

Необходимо как можно скорее добраться до батальона, предупредить об опасности!

Машина поравнялась с рощей, Разговоров повернул руль вправо, пытаясь с ходу въехать на песчаный берег, но колеса забуксовали. Разговоров подал машину назад и снова попытался выехать наверх, но опять безрезультатно.

— Подсобите, товарищ майор! — с отчаянием крикнул Разговоров.—Если они нас тут на подъеме захватят...

Он не договорил, потому что Звягинцев уже выскочил из машины и, упираясь руками в багажник, стал толкать ее на берег.

Но тщетно. Едва достигнув середины подъема, машина скатывалась обратно.

Откуда-то сверху снова донесся гул танковых моторов.

— Идут, гады, идут! — крикнул Разговоров. — Толкнем еще раз, товарищ майор! Не дадимся гадам!

Может, именно такого отчаянного усилия и не хватало машине для того, чтобы выбраться на берег, но на этот раз «эмка» легко пошла вверх и через несколько мгновений оказалась на берегу.

— Садитесь, товарищ майор, быстрее! — крикнул Разговоров.

Звягинцев вскочил в машину. В заднее разбитое окно он видел, как по противоположной стороне речки, метрах в двухстах от берега, медленно ползут все те же два немецких танка. Их люки были закрыты. Машину немцы, видимо, не заметили. Въехав в лес, Разговоров резко затормозил и выключил зажигание.

— Все, товарищ майор. Ушли! Куда нам теперь? Вы уж по карте, куда дальше ехать, определяйте, а я пока карету осмотрю.

Он вылез из кабины.

«Ехать, ехать, надо ехать! — стучало в висках Звягинцева. — Необходимо как можно скорее предупредить батальон. Ведь там никто не знает, что немцы так близко!»

Нервничая, он вытащил из планшета карту, посмотрел на компас. В двух километрах восточнее этой рощи должна быть проселочная дорога, ведущая к рубежу батальона. Однако выехать из рощи и двигаться вдоль берега невозможно, пока не уйдут те танки...

Звягинцев сделал несколько шагов к опушке. К радости своей, он увидел, что танки повернули на юг. Он подождал, пока они отошли метров на пятьсот, вернулся к «эмке» и решительно сказал:

— Едем! Танки ушли.

Разговоров поглядел на Звягинцева и покачал головой:

— Двенадцать пробоин и правое крыло — в решето. — Он снова покачал головой, усмехнулся и добавил: — Все-таки есть на свете бог, товарищ майор!

— При чем тут бог?

— А как же! Ни одной дырки в бензобаке, радиатор не течет, и вся резина цела. Чудеса!

— Потом будешь чудеса подсчитывать, Разговоров, — сказал Звягинцев, — надо ехать!

— Нет, вы поглядите, — не унимался тот, — ведь пули-то навылет прошли! Прямиком через заднее стекло — в ветровое. И не задело. Ни вас, ни меня! Заговоренные мы с вами, товарищ майор!

Разговоров был еще в состоянии того нервного опьянения, которое овладевает человеком, только что избежавшим смерти. Обходя машину, осматривая пробоины от пуль и осколков, он говорил и говорил без умолку.

— Кончайте, Разговоров, надо ехать! — сказал Звягинцев гораздо суше и строже, чем ему самому хотелось.

Сержант посмотрел на него удивленно, как-то сразу сник и ответил понуро:

— Что ж, ехать так ехать. Садитесь в машину, товарищ майор.

Звягинцев закусил губу. «Ведь он меня спас, ему я обязан жизнью! Он, молодой, необстрелянный боец, мог растеряться больше, чем я, а он спас нас обоих...».

Разговоров вел мащину, молчал. Звягинцев видел его розоватое ухо с пухлой, как у ребенка, мочкой, косой, по моде подстриженный висок.

«Милый ты, дорогой мой парень! — думал Звягинцев. — Мне бы обнять тебя, расцеловать...»

Он посмотрел на часы. Было без четверти два. Постарался вспомнить, сколько времени прошло с тех пор, как он увидел переваливающийся через пригорок танк. Но не смог.

— Прибавь скорость, сержант, быстрее давай, быстрее! — проговорил он.

Разговоров слегка пожал плечами и ничего не ответил.

«Наверное, думает, что трушу, — невесело подумал Звягинцев. — А и верно, испугался же я...»

...Подъехав к проходу в минном поле, Разговоров впервые снизил скорость.

— Ну, вот и добрались, товарищ майор.

Следом за Звягинцевым он вышел из машины, окинул ее печальным взглядом.

— Куда ж мне теперь ее? Тут ведь варить и латать на два дня полных работы.

— Поедешь в тыл дивизии. Там починят. Я записку напишу, — ответил Звягинцев.

— В ты-ыл? — протянул Разговоров. — Да что вы! Мы ей в батальоне своими средствами ремонт дадим. Разве можно в тыл, товарищ майор? А если батальон опять переместят? Тогда вам ни меня, ни машины не увидеть. А без машины вам нельзя. Хоть какой-никакой, но автомобиль. Шофера себе вы и другого найти можете, я понимаю. А вот без машины...

Звягинцев почувствовал, что у него слегка сдавило горло.

— Слушай, друг, — тихо сказал он, — ты знаешь, что жизнь мне спас?

— Что вы! — с каким-то испугом проговорил Разговоров. — Да что вы, товарищ майор! Тоже скажете! Я ведь свою-то тоже спасал, это уж все к одному.

Он засопел и стал смотреть куда-то в сторону.

— Ладно, — сказал Звягинцев. — Не забуду. Дал бы я тебе сутки отдыха, мог бы в Ленинград сгонять, своих повидать... И я бы тебя попросил заодно в один дом заглянуть. Но нельзя. Бой скоро, Разговоров. Может, через два часа, а может, и раньше. Скоро бой...

Глава VIII

Советским войскам не удалось остановить немцев и после того, как был сдан Псков.

10 июля 4-я танковая группа генерал-полковника Хепнера, состоящая из двух моторизованных корпусов, одним из которых командовал генерал фон Манштейн, а другим — генерал Рейнхардт, сломив сопротивление 11-й армии Северо-Западного фронта, прорвалась в Ленинградскую область.

По убеждению генерал-фельдмаршала фон Лееба, никаких серьезных препятствий для последнего броска к Ленинграду больше не существовало. Хотя из донесений разведки фельдмаршал знал, что русские спешно возводят оборонительные рубежи на реке Луге, он не допускал и мысли, что эти наскоро построенные, в основном силами гражданского населения, укрепления могут явиться преградой на пути группы армий «Север».

Фон Лееб сосредоточил главный удар на центральном направлении, видимо считая, что самым легким путем к Ленинграду является путь кратчайший — от Пскова через город Лугу...

12 июля во второй половине дня, через несколько часов после того, как вернувшийся в батальон Звягинцев известил штаб дивизии, что обнаружил неприятельскую разведку в двадцати километрах от своего участка обороны, первые немецкие танки появились перед его участком — несколько черных точек, быстро увеличивающихся в размерах. Звягинцев, находившийся на своем наблюдательном пункте, насчитал восемь машин, а за ними три бронетранспортера с пехотой.

По телефону он сообщил об этом Суровцеву на командный пункт батальона.

Все было готово к бою. Саперы, ставшие стрелками, уже занимали окопы, пулеметчики — свои позиции, истребители танков — щели и различные засады.

Танки шли клином, быстро вырастая в размерах. Гул их моторов был уже слышен в расположении батальона.

Звягинцев напряженно смотрел в бинокль. Не более двух километров отделяло головной танк от ближайшего минного поля. Люки танков были открыты — очевидно, немцы ожидали встретить советские войска лишь непосредственно у Лужских оборонительных укреплений.

В бинокль Звягинцев разглядел одного из танкистов, наполовину высунувшегося из головной машины. Опершись руками о борт люка, без шлема, в черном комбинезоне, он глядел вперед, ветер раздувал его светлые волосы, и Звягинцеву казалось, что немец улыбается то ли брезгливой, то ли самодовольной улыбкой.

И на какое-то мгновение Звягинцеву почудилось, что так же как он четко видит немца, так и немец видит его и именно ему, Звягинцеву, адресована эта торжествующе-победная улыбка.

И Звягинцеву неудержимо захотелось нанести скорей удар по этому надменному, торжествующему лицу, сбить, смести подлую, презрительную ухмылку.

Он опустил бинокль и приказал укрывшемуся рядом связисту соединить его с Суровцевым. Он уже готов был крикнуть: «Прикажи дать пулеметную очередь!» — но тут же опомнился и поспешно сказал:

— Не стрелять, Суровцев! Повтори приказание командирам рот — не стрелять!

И хотя о том, чтобы не открывать огонь, пока танки не начнут подрываться на минных полях, было условлено заранее, тем не менее Звягинцев, только повторив приказание, обрел внутреннее спокойствие: он сам чуть не сорвал свой же план боя.

Головной танк по-прежнему шел несколько впереди остальных. Уже только сотни метров отделяли его от взорванного участка дороги, объезды которого по обе стороны были минированы.

Звягинцев напряженно смотрел в бинокль — попадется ли этот танк в ловушку, или его командир разгадает опасность? Тогда этот проклятый немец вызовет по радио саперов, которые, несомненно, следуют где-то близко, наверное, на бронетранспортерах.

Это было бы самым худшим для батальона: огнем по саперам придется раньше времени обнаружить себя, танки прекратят движение, развернутся и откроют огонь из пушек и пулеметов. Разве смогут шесть пулеметов и карабины, которыми располагает батальон, противостоять огню и броне немцев?..

Головной танк продолжал идти, не замедляя хода.

«Иди, иди, еще пятьдесят метров, еще тридцать!» — беззвучно шептал Звягинцев. Если бы он верил в бога, то, вероятно, молил бы его внушить экипажу танка продолжать движение.

«Иди, ничего не бойся, — мысленно убеждал он немца. — Ты же видишь: все тихо, спокойно, никто не стреляет, ну что тебе стоит объехать этот взорванный участок, здесь не может быть никакой ловушки, все так похоже на обыкновенную воронку от твоей же, немецкой бомбы...»

Звягинцеву даже казалось, что те, кто находился в танке, подчиняются его воле: танк шел, точно на параде... Несколько метров отделяли его теперь от подорванного участка дороги... Несомненно, немец уже увидел препятствие на пути. Теперь все зависит от того, какое он примет решение.

И в эту минуту головной танк остановился. Остальные же машины и следующие за ними бронетранспортеры продолжали движение.

Но головной танк застыл.

Белесый немец выбрался из люка. Высокий, туго перетянутый ремнем поверх комбинезона, он стоял на танковой броне, внимательно оглядывая взорванный участок дороги.

Сейчас он представлял собою прекрасную мишень — не только снайпер, любой посредственный стрелок мог бы снять его первым же выстрелом. Звягинцев со страхом подумал, что у кого-либо из бойцов не выдержат нервы.

— Не стрелять, только не стрелять! — вслух, с мольбой в голосе проговорил он, хотя никто, кроме связиста, не мог его услышать, и повторил уже про себя: «Дорогие мои, хорошие, только не стрелять!..»

Через минуту немец опустил ногу в люк, держась за края руками, перекинул вторую ногу и скрылся в танке.

«Что он сейчас делает? — мучительно старался догадаться Звягинцев. — Приказывает стрелку-радисту вызвать саперов?»

Но то ли потому, что взорванные участки дороги и в самом деле показались немцам воронками от авиабомб, то ли их обманула царящая вокруг тишина, но так или иначе танк с урчанием подался назад, снова остановился, и в следующую секунду Звягинцев, задыхаясь от охватившего его радостного волнения, увидел, что гусеницы танка медленно поворачиваются и он направляется в объезд.

Раздался взрыв.

Завеса земли и пыли заслонила от Звягинцева немецкий танк. И тут же ее прорезало пламя разрыва.

Звягинцев видел, как танк грузно, точно внезапно ослепшее чудовище, разворачивается на одной гусенице. И в тот же момент раздался еще один взрыв,

затем второй и третий — это подорвались на минах еще три подошедших вплотную танка.

Опять их прикрыла медленно оседающая стена земли и пыли, а потом Звягинцев и без бинокля увидел, что из люков выскакивают черные фигурки, падают, ползут по опаленной траве, вскакивают и снова, то падая, то поднимаясь, бегут назад, к остановившимся за танками бронетранспортерам. С них уже спрыгивали солдаты.

Раздались частые ружейные выстрелы, и застрекотали пулеметы: батальон открыл огонь.

Разом все изменилось. Давящая тишина, нарушаемая до этого лишь однотонным гудением танковых моторов, разорвалась. Поначалу слышны были только частые ружейные выстрелы и пулеметные очереди, но через несколько минут их стали заглушать разрывы снарядов — это еще не подошедшие к минным полям танки открыли ответный огонь из пушек.

Вначале немцы явно били наугад, по невидимым целям, чтобы дать возможность своей пехоте, покинувшей бронетранспортеры, занять боевые позиции.

Но скоро снаряды стали рваться и непосредственно в боевых порядках батальона. Звягинцев решил перейти из окопа в отрытый под бруствером блиндаж. За ним побежал и связист.

Прильнув к окуляру окопного перископа, Звягинцев понял, что первое замешательство у противника прошло. Танки теперь не двигались. Остановившись, они вели огонь из пушек и пулеметов, а позади них накапливалась пехота.

«Пушки, пушки! — с горечью подумал Звягинцев. — Если бы иметь хоть несколько противотанковых орудий!»

Солдаты в серо-зеленых мундирах с автоматами в руках приближались короткими перебежками.

«Ну нет, так просто они не пройдут», — со злобным удовлетворением подумал Звягинцев.

— Комбата мне! — бросил он связисту и через мгновение, схватив тяжелую трубку полевого телефона, услышал хриплый голос капитана.

— Как дела, Суровцев? — крикнул Звягинцев и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Прикажи, чтобы экономили боеприпасы! Пусти пехоту на минное поле, слышишь?

В эту минуту он забыл о коде, об условных наименованиях противника, мин, пулеметов и карабинов.

— Ясно, товарищ майор! — крикнул в ответ Суровцев так громко, точно не доверял телефону и хотел, чтобы Звягинцев услышал его непосредственно. — Я прикажу закрыть проходы, иначе они их нащупают!

— Ни в коем случае! — оборвал его Звягинцев. — Как пройдет этот Вóдак, если подоспеет?

— А где он, этот чертов Водáк, где?! — прокричал в трубку Суровцев.

— Следи за левым флангом! — прервал его Звягинцев. Он снова прильнул к перископу и увидел, что два танка повернули на восток и пошли параллельно позициям батальона.

Это было то, чего боялся Звягинцев. Там, в считанных километрах, находился тот самый, сейчас оголенный стык с флангом дивизии народного ополчения, беречь который пуще зеницы ока приказывал ему Чорохов.

Правда, на левом фланге батальона были установлены тяжелые фугасы, управляемые из подвижной радиостанции, укрытой в роще, километрах в трех северо-восточнее КП батальона.

Но попадут ли немецкие танки на это поле или будут двигаться дальше на восток и, нащупав плохо защищенный стык, попытаются выйти в тылы батальона и ополченцев, миновав главную ловушку?

— Сообщи комбату, что я пошел обратно на свой НП! Оттуда лучше видно! — крикнул он связисту, выскочил из блиндажа и по ходу сообщения стал пробираться к пригорку.

Грохнуло где-то совсем рядом, Звягинцева слегка ударило о стенку взрывной волной, но он, пригнувшись, побежал дальше.

О том, что его могут убить, Звягинцев просто не успевал думать. Все его мысли сосредоточились на одном: куда пойдут немецкие танки? Добежав до НП, Звягинцев схватился за бинокль, но тут же опустил его. Простым глазом было хорошо видно, что уже четыре танка движутся на восток. Три других продолжают вести непрерывный огонь по позициям батальона.

И еще Звягинцев увидел, что немецкие солдаты, используя подбитые танки как прикрытие, начинают копошиться на минных полях, это, видимо, были саперы.

«А потом они снова ударят, — подумал Звягинцев, — и ударят одновременно — в центре и с левого фланга. Сознает ли это Суровцев?.. Разгадал ли он намерения немцев?»

Он решил немедленно идти на командный пункт, к Суровцеву.

...Командный пункт батальона располагался всего в пятистах метрах от наблюдательного пункта Звягинцева, но отрытых ходов сообщения туда не было, и значительную часть пути Звягинцеву пришлось бежать по открытой местности.

Неожиданно он услышал за собой чей-то топот и, обернувшись, увидел Разговорова, бегущего за ним с автоматом в руках. И в этот момент фонтан земли разделил их. Свиста и разрыва снаряда Звягинцев, кажется, даже не слышал. Он очнулся через мгновение, когда Разговоров схватил его, лежащего, за плечи и, с силой повернув к себе, крикнул:

— Живы, товарищ майор?

— Что ты здесь делаешь? — удивленно спросил Звягинцев, поднимаясь и вытирая землю с лица.

— Получил приказание быть при вас, — задыхаясь, произнес Разговоров.

— Чье приказание?

— Еще снаряд, ложись! — вместо ответа крикнул Разговоров.

Снова падая, Звягинцев услышал на этот раз резкий свист снаряда и разрыв.

Взрывной волной ему заложило уши. Вскочив, он увидел, что сержант тоже на ногах и что-то говорит, но Звягинцев не слышал ни слова.

— Быстро вперед! — крикнул он, уже не спрашивая Разговорова, зачем и по чьему приказу он находится здесь.

Когда они ввалились в блиндаж, где располагался Суровцев, тот сидел на узких нарах, прижимал к уху

телефонную трубку, указательным пальцем зажимал другое ухо и истошно кричал:

— Нету! Никакого Водакá здесь нету! Не видел я его бочек, ни одной!.. И примусов никаких нету!

Несколько мгновений он слушал, потом снова закричал в трубку:

— Сам знаю, что держаться, а чем? Чем, спрашиваю?! Ладно, сам знаю, что у меня позади!

Он бросил трубку связисту, который сидел на нарах, по-восточному поджав под себя ноги, и только тут заметил Звягинцева.

— Товарищ майор, — сказал он так же громко, как говорил по телефону, — из штадива сообщают, что танки этого чеха из дивизии вышли. А батарея — сами не знают, куда запропастилась. А танки, говорят, скоро подойдут. Как будто немцы их ждать будут!

Голос Суровцева был сиплым, резким и каким-то остервенелым.

— Потери большие? — торопливо спросил Звягинцев. — До подхода танков продержимся?

— Не считал, не знаю, только...

В этот момент раздался звук телефонного зуммера. Суровцев вырвал трубку из рук связиста и крикнул:

— Первый слушает... Знаю, все равно держись! Скоро наши бочки подвезут... Танки, танки подойдут скоро... А я говорю, держись, Ленинград за тобой... Ну и хорошо, что сам знаешь, значит, держись!..

Он бросил трубку, вытер пот со лба рукавом гимнастерки и повернулся к Звягинцеву:

— Командир третьей роты звонит. Говорит, танки накапливаются...

— Связь с рацией в порядке? — поспешно спросил Звягинцев, имея в виду автофургон, укрытый в роще.

— Полчаса назад звонил, ждут команды. Рахмет ов, вызови еще раз «Автобус»! — приказал он сидевшему на нарах связисту.

— Слушай, Суровцев, — подходя к нему вплотную, сказал Звягинцев, — если их танки окажутся на фугасах, — это наше счастье. Еще раз прикажи командиру третьей не прозевать, доложить, если они там соберутся. Тогда мы их... ахнем.

— «Роза», «Роза», «Зарю» вызывают, первый требует, будь хороший человек, быстро дай, — вполголоса говорил, держа обеими руками трубку, связист.

— А меня сейчас и середина беспокоит, — сипло выговорил Суровцев. — Если тут танки прорвутся...

— Не можем мы их пропустить, Суровцев! — Голос у Звягинцева от волнения тоже стал каким-то сиплым. — Где Пастухов?

— Во второй роте. Он туда ушел, как только немецкие саперы вылезли на минное поле. Недавно звонил, говорит, положение трудное.

— Надо продержаться, пока... — Звягинцев умолк и повернулся к телефонисту. — Ну что, есть связь с рацией?

Связист долго крутил ручку телефона, потом дул в трубку, опять крутил, уже ожесточенно, нагнувшись над аппаратом.

Наконец поднял голову, положил на нары трубку и неуверенно, точно боясь собственной догадки, сказал:

— Нет связи, товарищ майор! Не иначе где-то осколком перебило. Совсем тихо... Такое дело... Молчит «Автобус».

— Суровцев, — хватая капитана за плечо, крикнул Звягинцев, — ты понимаешь, чем это грозит?! Немедленно восстанавливай связь с «Автобусом». Пошли кого хочешь, но сейчас же, немедленно, иначе танки пройдут по фугасам, как по ковру!

— Я пойду, товарищ майор! — раздался голос тихо стоявшего у дверной притолоки Разговорова. — Я знаю, где «Автобус» с рацией, — он в Круглой роще спрятан. И какой провод туда протянут, знаю!

Звягинцеву хотелось выругаться — уже не от злости, а от радости.

— Беги, сержант, беги! — скомандовал он. — От этого сейчас все зависит, понимаешь?

Разговоров исчез, будто его ветром унесло.

— Вдвоем нам здесь незачем быть. От моего имени приказать взорвать фугасы, как только там появятся немецкие танки, — сказал Звягинцев Суровцеву. — Я пойду во вторую. Будем держать связь.

Добравшись до участка второй роты, Звягинцев увидел, что положение там тяжелейшее.

Командира роты на своем месте он не застал. В его окопчике лежал младший политрук, и санитар торопливо перевязывал ему окровавленное плечо.

Пробежав вперед, туда, где залегли бойцы, Звягинцев увидел, что один из вражеских тупорылых танков, ведя огонь то из пушки, то из пулемета, медленно продвигается вперед, по уже разминированному участку, подминая под себя кустарник, колья, мотки колючей проволоки.

Он спрыгнул в окоп рядом с пулеметчиком. Боец повернул к нему голову, не отрываясь от дрожавших рукояток пулемета. Звягинцев машинально отметил, что лицо его черно от грязи, смешанной с потом.

— В щель бей, в смотровую щель! — истошно крикнул Звягинцев.

Танк приближался. Не отдавая себе отчета, почему он это делает, Звягинцев оттолкнул пулеметчика, перехватил рукоятки и стал вести огонь сам, стремясь попасть в смотровую щель.

Он даже слышал, как шквал пуль барабанит по броне. Но танк неумолимо приближался.

И вдруг Звягинцев почувствовал, что пулемет мертв и он уже бесцельно жмет на гашетку.

Второй номер расчета — молодой боец, тоже с черным лицом, — хрипло крикнул над ухом Звягинцева:

— Все, товарищ майор! — и показал на груду пустых пулеметных лент.

Танк был уже метрах в пятнадцати от окопа.

Звягинцев смотрел на танк снизу, и ему казалось, что гусеницы его огромны, еще минута-другая, и они нависнут над окопом.

И вдруг он увидел, как кто-то вблизи, поднявшись из щели, швырнул в танк бутылку. Но не добросил. То ли потому, что до танка было далеко, то ли у бойца не хватило сил, но бутылка просто покатилась по земле. В этот момент наперерез танку метнулся еще кто-то, подхватил с земли бутылку и с расстояния уже нескольких шагов, с силой размахнувшись, швырнул ее прямо

в смотровую щель и, рывком бросившись в сторону, упал на землю.

По танку побежали струйки пламени. Он словно споткнулся, мотор его затих. Казалось, что огонь прилип к броне, вцепился в нее, он уже охватил весь танк.

С лязгом откинулся люк. Сначала оттуда повалил дым с язычками пламени, потом выскочили солдаты. Они кричали, махали руками, катались по земле, пытаясь сбить огонь с загоревшихся комбинезонов.

Звягинцев, опомнившись, увидел, что человек, бросивший в танк бутылку, бежит обратно, прямо на окоп пулеметчиков.

«Да ведь это Пастухов!» — мелькнуло в его сознании.

— Сюда, Пастухов, сюда! — отчаянно крикнул Звягинцев, наполовину высовываясь из окопа.

Старший политрук спрыгнул, вернее, свалился в окоп, тяжело дыша. Но сразу приподнялся, встал в окопе во весь рост и, грозя черным кулаком, закричал:

— Горит! Горит, сволочь!

Он стоял, пошатываясь, точно пьяный, в растерзанной гимнастерке, пот струился по его лицу, смешиваясь с жидкой грязью, рядом взвизгивали пули, а он стоял и продолжал кричать:

— Смотрите! Товарищи! Горит! От бутылки горит, сволочь! Смотрите! И фашисты, сволочь, горят!

Звягинцев силой заставил Пастухова пригнуться. Он увидел, что на них движутся еще два танка.

И в этот момент откуда-то слева донесся грохот. Казалось, взорвались одновременно десятки снарядов и бомб и земля, дрогнув, сдвинулась со своего места.

Поняв, что Разговоров восстановил связь с рацией, что немецкие танки попали-таки на фугасы, Звягинцев схватил болтающийся на груди бинокль и поднял его к глазам. В покрытые пылью окуляры ничего не было видно. Он со злостью отбросил бинокль и вылез на бруствер, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь.

Километрах в полутора слева оседала туча из земли и дыма.

А потом стало тихо. На обеих сторонах поля прекратилась стрельба.

Возможно, в эти минуты немцам показалось, что сама чужая для них русская земля вступила в бой и поглотила их танки.

Звягинцев почувствовал огромное облегчение, почти счастье. Ему показалось, что мощные взрывы тяжелых фугасов решили исход боя. На мгновение он забыл о тех двух немецких танках, которые медленно, точно ощупывая каждый клочок земли, но неуклонно приближались к окопам.

Но когда Звягинцев снова посмотрел вперед, он увидел не только эти два танка. Он увидел, как от линии горизонта отделилось еще несколько черных точек, и понял, что гитлеровцы решили любыми средствами смять, сокрушить препятствие, столь неожиданно возникшее на их пути.

Несомненно, немцы разгадали, что основную надежду оборонявшаяся здесь советская часть возлагала на минные поля. Ведь стрельба велась только из пулеметов и карабинов, значит, артиллерийских орудий на этом участке нет. И немцы решили идти на штурм.

Звягинцев не сомневался, что батальон не отступит, что если вражеские танки пройдут, то только по трупам бойцов.

Но, глядя на приближающиеся танки, он мучительно думал о том, что позади, до главных Лужских укреплений, нет других войск и что, раздавив своими гусеницами пулеметные гнезда, пройдя над окопами бойцов, вооруженных лишь карабинами, танки немцев выйдут в тыл к чороховской дивизии.

«Что делать?!» — стучало в мозгу Звягинцева. Он не боялся смерти, это казалось ему маловажным по сравнению с тем, что произойдет после того, как его уже не будет на свете.

— Пастухов! — крикнул он, хотя старший политрук стоял рядом, почти касаясь его своим плечом. — Оставайся здесь, я — за бутылками.

Он выскочил из окопа и, пригибаясь, не глядя на танки, которые были в ста метрах, побежал к ближайшему окопу.

Спрыгнув в него, он с радостью увидел, что там на дне лежат бутылки с горючей жидкостью. Он тотчас же вскочил на ноги, но тут же был придавлен к земле сильной рукой бойца.

— Сейчас палить из пулеметов начнут! — хрипло прокричал тот.

— Слушай, друг, — крикнул Звягинцев, — там слева в окопе старший политрук, доставь ему тройку бутылок, быстро!

Ни слова не говоря, боец выскочил из окопа. На дне оставалась еще пара бутылок.

Звягинцев схватил одну из них, плотно сжал стеклянное горло, почувствовал в руке тяжесть и внезапно ощутил спокойствие.

Он почувствовал себя так, точно сжимал в руке грозное, всесокрушающее оружие, делающее его могучим и неуязвимым. Стиснув зубы, он ждал приближения танков.

«Ближе, ближе!» — повторял он, думая только о том, как бы не промахнуться, когда через три, две, одну минуту выскочит из окопа и кинется навстречу танкам. А может быть, лучше ждать здесь, бросить из окопа?

И в этот момент он услышал артиллерийский выстрел. Где-то в стороне от надвигающихся танков взметнулась земля, раздался разрыв.

«Что это? Кто стреляет? Откуда?» — пронеслось в его мыслях.

И снова раздался взрыв. На этот раз взорвалось что-то внутри танка. В первое мгновение Звягинцеву даже показалось, что выстрелила пушка этого самого танка. Но тут же он увидел, как из смотровой щели повалил дым, а сам танк, дрогнув, остановился.

Второй же танк продолжал двигаться вперед. И когда уже какие-нибудь десять метров отделяли танк от окопа, Звягинцев выскочил наверх и метнул бутылку.

Он швырнул ее не наугад, не с отчаянием, но с точным, холодным расчетом, прицелившись, точно бросая биту, как бросал ее много лет тому назад, в детстве, когда играл в городки. И с холодной яростью увидел, как пламя заплясало на танковой броне.

Раздалась короткая пулеметная очередь, но пули

не причинили вреда Звягинцеву, оказавшемуся слишком близко к танку, в мертвом пространстве.

Он даже не лег, не упал на землю, он стоял и смотрел, как горит танк. Он слышал глухие удары оттуда, изнутри танка, — немцы пытались открыть заклинившийся люк. Выхватив пистолет, он ждал, готовый стрелять по немцам, как только они высунутся.

И только когда откуда-то справа снова прогремели пушечные выстрелы, Звягинцев обернулся.

Он увидел, как наперерез дальним немецким танкам мчатся другие танки. Наконец он сообразил, что это советские машины, небольшие, юркие БТ-5 и Т-26.

И тогда, все еще стоя перед горящим немецким танком, размахивая рукой с зажатым в ней пистолетом, Звягинцев закричал:

— Водак! Чех! Дорогой ты мой! Вперед! Бей их, сволочей, бей!

Через час сражение было закончено. На поле боя расстилался черный едкий дым от догорающих танков. Уйти удалось только одной из немецких машин.

Два советских танка тоже были подбиты.

Метрах в пяти от одной из сгоревших наших машин лежали обгоревшие тела погибших советских танкистов. Одного из них Звягинцев сразу узнал. Это был командир полка Водак.

...В эти дни не только батальон Суровцева и танкисты Водака вступили в первый бой на подступах к Ленинграду. Тысячи бойцов и народных ополченцев приняли удар немцев южнее и западнее города Луги.

И хотя вследствие вынужденных решений главкома Ворошилова у командования Северного фронта оказалось войск намного меньше, чем оно рассчитывало еще 10 июля, — первые атаки немцев, намеревавшихся с ходу преодолеть Лужский рубеж, были отбиты с большими для них потерями.

Однако в целом для войск, обороняющих Ленинград, положение создалось крайне сложное: теперь им предстояло вести оборонительные бои одновременно на нескольких направлениях: против группы армий фон Леёба на Лужском рубеже, против финской армии Маннергейма на Карельском перешейке и против немецко-финской армейской группы генерала Фалькенгорста под Кандалакшей и Мурманском.

Советскому командованию было ясно, что начавшееся 12 июля наступление немцев на Лужском направлении является первым этапом широко задуманной операции, цель которой — прорыв к Ленинграду.

И хотя никто не сомневался, что немцы еще не раз попытаются прорвать советскую оборону именно здесь, на Луге, тем не менее то, что они получили жестокий отпор и были вынуждены отойти для более тщательной подготовки к прорыву, имело для всех бойцов и командиров, занимавших Лужскую линию, огромное моральное значение. Немецким войскам на этом направлении не только не удалось продвинуться ни на шаг, но впервые пришлось отступить.

Батальон Суровцева понес серьезные потери. Лишь сознание, что враг не прошел и расплатился большим числом своих мертвых солдат и танками, искоженные остовы которых чернели на недавнем поле боя, было утешением для друзей и товарищей погибших.

Звягинцева не оставляла мысль, что немцы вот-вот повторят атаку, и на этот раз, может быть, большими силами. И на следующий день, решив воспользоваться наступившим затишьем, он поехал к «соседу слева» — в дивизию народного ополчения.

Он взял с собой Пастухова, с тем чтобы еще один старший командир, кроме него самого, был в курсе тех согласованных действий, о которых предстояло договориться с ополченцами. Поехали на слегка залатанной «эмке» Звягинцева, — машина комбата могла понадобиться самому Суровцеву.

Где находится штаб дивизии народного ополчения, Звягинцев точно не знал. Решили предварительно заехать в Лугу к Чорохову, тем более что Пастухов хотел сдать в штаб наградные листы на отличившихся во вчерашнем бою бойцов и командиров.

Лугу, видимо, совсем недавно снова бомбили. Жители тушили пожары, подбирали убитых и раненых.

Домик с вывеской Осоавиахима, в котором только вчера находился комдив Чорохов, был тоже разбит, и вообще вся северная окраина города особенно сильно пострадала: возможно, немцы узнали, что именно здесь располагался штаб дивизии.

С трудом Звягинцев выяснил, что штаб перебрался куда-то в лес, километров пять — семь западнее Луги.

Посовещавшись, Звягинцев и Пастухов решили не тратить времени на поиски и ехать прямо к ополченцам, чтобы еще засветло успеть вернуться в свой батальон.

Они двинулись по проселочной дороге на Уторгош, надеясь в пути встретить части ополченческой дивизии и выяснить, где ее командный пункт.

Прошло всего минут двадцать, когда Разговоров, вдруг резко затормозив, выскочил из машины и задрал голову кверху.

— Что ты? — спросил Звягинцев.

— «Мессера» где-то близко, — ответил Разговоров, не опуская головы.

Звягинцев и Пастухов тоже вышли из машины, прислушались. Действительно, откуда-то сверху, из-за облаков, доносился характерный подвывающий звук.

В том, что это немецкие самолеты, сомнения быть не могло: все, кто хотя бы несколько дней провел на подвергавшихся непрерывным бомбежкам Лужских укреплениях, научились безошибочно отличать вражеские самолеты от наших. Некоторое время все трое стояли у машины, всматриваясь в небо, покрытое кучными, с редкими просветами облаками.

— Как, товарищи командиры, ехать будем или переждем? — спросил наконец Разговоров.

— Поедем, — сказал Звягинцев.

— Товарищ майор, я предлагаю переждать, — решительно произнес Пастухов.

— Что это ты, старший политрук? — добродушно усмехнулся Звягинцев. — Вчера танка не испугался, а сегодня...

— Вчера — дело другое, вчера бой был. А рисковать попусту не имеем права. Да и документы обязаны сохранить... — Он положил руку на планшет, в котором лежали наградные листы.

В этот момент раздались глухие разрывы бомб. Бомбили где-то впереди, километрах в пяти-шести отсюда.

Звягинцев уже хотел приказать Разговорову поставить машину в укрытие — слева от дороги, метрах в двадцати от нее, тянулся лес, — но разрывы прекратились. Слышен был лишь постепенно замирающий гул удаляющихся самолетов.

Они снова сели в машину.

Однако далеко уехать не удалось. Не отъехали и десяти километров, как пришлось опять остановиться. Впереди на дороге путь преграждали несколько автомашин. Последней была полуторка, около которой стояло человек десять бойцов с автоматами в руках, а впереди — две пятнистые «эмки».

Звягинцев выскочил из машины посмотреть, что там впереди случилось, и увидел у первой «эмки» группу командиров. Приглядевшись, он по росту узнал полковника Чорохова.

Звягинцев сделал несколько шагов вперед, но автоматчики преградили ему дорогу.

— Что это значит? — громко возмутился Звягинцев. Стоявшие впереди командиры обернулись, и в одном из них, не веря своим глазам, Звягинцев узнал маршала Ворошилова. Рядом с ним стоял Васнецов. Растерявшись, не зная, что ему делать, Звягинцев стал в положение «смирно», устремив взгляд на маршала, и в этот момент услышал трубный голос Чорохова:

— А как вы сюда попали, майор?

Не дожидаясь ответа, Чорохов повернулся к Ворошилову и стал что-то ему говорить, а Звягинцев стоял, не зная, докладывать ли ему отсюда, с места, или подойти ближе к маршалу.

— Идите сюда, майор! — крикнул Чорохов, и Звягинцев, преодолевая растерянность, пошел вперед.

Он остановился шагах в трех от маршала. Рядом с Ворошиловым, кроме Васнецова и Чорохова, стоял еще какой-то генерал, а чуть поодаль — незнакомый полковник. Но Звягинцев глядел только на Ворошилова. Вытянувшись и держа руку у виска, он мысленно произносил слова доклада, чувствуя, что язык не очень-то подчиняется ему.

— Здравствуйте, товарищ майор! — звучным тенорком произнес Ворошилов. — Вот полковник говорит, что вчера ваш батальон отлично показал себя в бою...

— Служу Советскому Союзу! — выпалил Звягинцев и только сейчас увидел, что Ворошилов протягивает ему руку.

Поспешно, чуть не споткнувшись на какой-то кочке, он сделал два шага вперед и пожал руку маршала.

— И с членом Военного совета познакомьтесь, — сказал Ворошилов, кивнув в сторону Васнецова.

— А мы с товарищем Звягинцевым еще с довоенных времен знакомы, — делая ударение на слове «довоенных», ответил Васнецов, глядя на майора, который стоял вытянувшись, снова вскинув руку к виску.

На какое-то мгновение Звягинцев вспомнил последнюю предвоенную ночь, когда ему пришлось делать сообщение на заседании партактива Ленинграда.

Васнецов покачал головой, как бы желая сказать: «А ведь ты был тогда прав, майор!» — и протянул Звягинцеву руку.

— Передайте мою благодарность бойцам, — сказал Ворошилов и, как бы предупреждая положенный в таких случаях уставный ответ, добавил: — Они хорошо послужили Советскому Союзу.

— Я думаю, — снова заговорил Васнецов, — что и товарищу Звягинцеву, и всему его батальону будет важно знать, что не только они—никто вчера не отступил на Лужской линии. Никто! — повторил он уже громко.

— Еще бы! — с добродушной усмешкой произнес Ворошилов. — С такими-то бойцами.

— И все же войск у нас, товарищ маршал, не только меньше, чем у противника, но и меньше, чем мы рассчитывали здесь иметь, — сказал Васнецов, сделав на последних словах особое ударение. — Но за нами Ленинград. Весь цвет нашей партийной организации в этих войсках.

— Знаю, знаю, дивизионный, — кивнул Ворошилов и снова обернулся к Звягинцеву: — Вот сейчас ваших саперов бы сюда!

Только теперь Звягинцев, все внимание которого было приковано к Ворошилову, заметил, что дорога впереди метров на тридцать изрыта глубокими воронками.

«Это те самые самолеты!» — промелькнуло в его сознании, и тут же он со страхом подумал о том, что бомбы могли попасть в эти машины, что опасность угрожала самому маршалу.

— Ну, как будем дальше двигаться? — нетерпеливо спросил Ворошилов.

— В объезд нельзя, товарищ маршал, — поспешно ответил незнакомый Звягинцеву генерал, — слева — лес, справа — болота!

— Сам вижу, что болота, — недовольно ответил Ворошилов. Он нахмурился, снова оглядел глубокие воронки, с краев которых узкими ручейками осыпалась земля, и сказал: — Что же, не стоять же нам тут, посреди дороги. Пошли вперед! А вы, — снова обратился он к полковнику, — организуйте объезд. Лес есть, пилы-топоры имеются. Придется проложить фашины по болоту метров на двадцать. Двинулись!

И Звягинцеву, который только и ждал момента, когда Ворошилов отвернется, чтобы незаметно исчезнуть, показалось, что маршал со словом «двинулись» обращается именно к нему.

«Не может быть, я ошибся, — подумал Звягинцев. — Конечно, он имеет в виду Чорохова, ведь тот стоит за моей спиной».

Но в этот момент Ворошилов неожиданно положил руку Звягинцеву на плечо и сказал:

— Ну что ж? Так и будем топтаться? Пошли, майор!

Он направился вперед, увлекая Звягинцева, все еще не спуская руку с его плеча, и все остальные — Васнецов, Чорохов, генерал, все, кроме полковника, оставшегося у машин, — пошли за ними, однако несколько поодаль, шага на три-четыре позади.

От сознания, что он идет рядом с маршалом, Звягинцев двигался как-то скованно.

— Ну как, с немцами драться, пожалуй, пострашнее, чем на кремлевской трибуне стоять? — неожиданно спросил Ворошилов.

«Запомнил!.. Ну да, конечно, именно он, Ворошилов,

председательствовал на том вечернем заседании, когда я выступал!» — подумал Звягинцев, и все это — кремлевский зал, сидящие на возвышении маршалы, генералы и адмиралы, Сталин, не спеша прохаживающийся за рядами президиума, разговор с полковником Королевым в уютном номере гостиницы «Москва» — представилось Звягинцеву чем-то очень далеким, как воспоминания раннего детства.

— Не знаю, товарищ маршал, не думал об этом, — незаметно проведя языком по пересохшим губам, ответил Звягинцев, — да и в деле-то настоящем мне пришлось только вчера впервые участвовать.

Отвечая, он старался не глядеть на Ворошилова — так ему было легче.

— Вот поэтому мне и важно знать твое мнение о немцах — ведь ты только вчера с ними дрался. Кое-кто болтал, что невозможно немца остановить, мол, сила все ломит. В Прибалтике не остановили, под Островом пропустили, Псков отдали... А вот вчера, на Луге, не прошел немец. И не только на твоем участке. Я уже в двух дивизиях побывал — с войсками знакомлюсь. Всюду немца отбили. Как думаешь, почему?

Звягинцеву не раз приходилось присутствовать при разговорах старших военачальников с младшими командирами и бойцами, когда им хотелось одним фактом обращения к младшему по службе поднять бодрость духа подчиненного. Звягинцев и сам усвоил добродушно-фамильярную манеру такой «внеслужебной» беседы.

Но то, что сейчас спрашивал Ворошилов, и главное, как он это спрашивал, не имело ничего общего с ни к чему не обязывающими вопросами, с какими мог бы обратиться полководец к командиру столь невысокого ранга, как Звягинцев.

Звягинцев чувствовал, что маршалу действительно не безразлично знать, что именно думает он, майор Звягинцев. Он понял, что ни один из приемлемых в аналогичных случаях уверенно-бодрых ответов не нужен этому человеку с седеющими висками, чье имя сопутствовало и детству и юности сотен тысяч подобных ему, Звягинцеву, людей.

— Не знаю, товарищ маршал, мне трудно так сразу ответить на ваш вопрос... — ответил он нерешительно.

Звягинцев и впрямь еще не задумывался глубоко над тем, что произошло вчера.

Тогда, во время боя, он, естественно, вообще не задавал себе никаких вопросов, думая только о том, чтобы выстоять. А после боя размышлял уже о том, как быстрее установить контакт с дивизией народного ополчения, и о многом другом, о чем обычно заботится командир, отбивший атаку врага и знающий, что новая атака неизбежна.

Теперь же, идя рядом с маршалом, Звягинцев старался проанализировать вчерашний бой. «Да, мы не отступили. Почему? Ну, во-первых, потому, что все же успели подготовить оборону. Во-вторых, проявили выдержку и не открыли стрельбу до тех пор, пока танки не стали подрываться на минных полях. В-третьих, потому, что бойцы не дрогнули, не побежали, когда один из танков почти уже прорвался в расположение роты. В-четвертых, подошли танки Водака. В-пятых...»

— Ну, что молчишь, майор? — настойчиво спросил Ворошилов.

— Не знаю... — повторил Звягинцев. — Может быть, прав замполит нашего батальона... Он сказал...

— Что же сказал замполит?

— Я, товарищ маршал, недавно одного лейтенанта разносил, — медленно начал Звягинцев. — Из тех, что отступали с юга. В трусости его упрекал. До каких пор драпать будете, спрашивал. А старший политрук — он рядом тогда стоял — после мне сказал: до тех пор отступать будут, пока не поймут, что не только о рубежах речь идет, а о жизни и смерти, что отступить — значит не просто кусок земли врагу отдать, а жен своих, детей, все то, с чем вырос, ради чего живешь... — Звягинцев говорил, все более волнуясь. — Ведь мы не просто Лужские укрепления обороняли, а Ленинград!.. Вы поймите, товарищ маршал, ведь мне и самому совсем недавно казалось, что война если и будет, то все равно... — он на мгновение умолк, ища слов, стараясь наиболее ясно, убедительно выразить свою мысль, — ну, все равно жизнь наша останется... Она как нечто само собой разумеющееся воспринималась, эта жизнь. Ведь всем нам, кто при Советской власти вырос, всегда казалось, что другой жизни просто нет и быть не может. Конечно, мы понимали: если война, то жертвы будут, бомбежки... Но жизнь-то, жизнь советская останется, потому что она как воздух, которым дышим, как небо, как земля, по которой ходим, ее уничтожить нельзя... И когда в газетах стали писать, что враг самой жизни нашей угрожает, что судьба наша решается, это сперва воспринималось скорее умом, а не сердцем, потому что поверить такому было невозможно... И только теперь я понял, что эти слова значат. И другие, уверен, поняли... Поэтому вчера и не отступили. Конечно, — добавил он поспешно, — и подготовка к бою немалую роль сыграла. Оборудовали предполье, танки наши подоспели. И все же... И все же самое главное в том, что поняли: за всю страну, за весь народ, за жизнь бой ведем...

Он умолк. Молчал и Ворошилов. Когда Звягинцев почувствовал, что волнение его улеглось, он исподлобья взглянул на маршала, стараясь по выражению его лица понять отношение к тому, что только что сказал.

Но Ворошилов продолжал шагать, глядя вперед, и, казалось, забыл о присутствии майора.

«Что я ему такое наговорил? — с ощущением неловкости подумал Звягинцев. — Расчувствовался, разболтался! Вместо того чтобы коротко доложить, как планировали и вели бой, ударился в психологию, забыл, с кем говорю... Ведь это не с Суровцевым беседовать и даже не с Васнецовым... Это ведь сам маршал, маршал!»

Звягинцев снова посмотрел на Ворошилова и снова убедился, что тот поглощен какими-то своими мыслями.

«Наверное, он и не слышал, что я ему говорил!» — подумал Звягинцев с горечью, но и с облегчением.

Но он ошибался. Ворошилов все слышал. Более того, они были ему нужны, необходимы, эти слова.

Отступление Красной Армии в первые дни войны все советские люди воспринимали с болью и горечью. Но Ворошилов — во сто крат больнее и горше. Ведь это была та самая армия, во главе которой он стоял долгие

годы!.. «Ворошиловские стрелки», «ворошиловские залпы»... Само его имя стало символом несокрушимости Красной Армии.

И вот эта армия отступала.

Находясь в Москве, выполняя отдельные поручения Ставки, членом которой он являлся, Ворошилов рвался на фронт, глубоко веря, что, лично возглавив войска, сумеет добиться перелома.

И теперь, став главкомом одного из трех основных направлений, он думал об одном — что должен оправдать доверие партии.

И то, что уже на третий день после его вступления в новую должность враг получил серьезный отпор, стало для Ворошилова источником больших надежд.

Разумеется, он понимал, что успех этот явился не его заслугой, а следствием героических усилий ленинградцев, за короткий срок построивших укрепления на Луге, но тем не менее это было добрым предзнаменованием. И слова Звягинцева Ворошилов воспринял как подтверждение того, что успех этот не случаен.

И вместе с тем он не мог, естественно, забыть о том, что часть Прибалтики в руках врага, что немцами захвачен Остров, что три дня тому назад пал Псков. Что значит частный успех короткого боя на Луге перед лицом этих страшных фактов?..

Ворошилов молчал, поглощенный этими своими мыслями. Только когда Звягинцев уже окончательно решил, что маршал просто не слышал его слов, Ворошилов тихо сказал:

— Поздно начинаем понимать... Столько земли отдали... Столько советской земли...

Звягинцев быстро повернулся к нему, но увидел, что Ворошилов по-прежнему смотрит вперед и слова эти произнес, обращаясь скорее всего к самому себе. И внезапно Звягинцев ощутил горячее сочувствие к этому человеку с лицом русского рабочего. Именно это простое, открытое лицо и седину, а не маршальские звезды в петлицах и не ордена на груди видел сейчас Звягинцев.

— Товарищ маршал, — сказал он, — мы разобьем немца! Рано или поздно, но разобьем!

За спиной раздался шум автомобильных моторов.

Ворошилов обернулся, Звягинцев тоже и увидел, что цепочка машин быстро приближается.

— Ну, вот! — уже прежним своим бодрым голосом произнес Ворошилов и, обращаясь к остановившимся в нескольких шагах от него командирам, громко сказал: — По ко́ням!

...Они не проехали и двух километров, как снова глубокие воронки преградили путь.

Машины остановились. Разговоров, заглушив мотор, обернулся и вопросительно посмотрел на своих пассажиров. Звягинцев вышел из машины, увидел, что дорога впереди разбита, но уже не решился пойти вперед и узнать, какое будет принято решение.

Разговоров, тяжело шагая по целине, стал проверять крепость грунта. Через две-три минуты он подошел к Звягинцеву и сказал:

— Рискнем, товарищ майор, съедем с дороги, а? Думаю, не завязнем. Болота нет.

Однако Звягинцев стоял в нерешительности. Неудобно было объезжать машину маршала и выскакивать вперед, следовало бы дать знать полковнику, который, по-видимому, являлся адъютантом маршала, что можно проехать и по целине.

Пока Звягинцев раздумывал, там, впереди, очевидно, приняли такое же решение, потому что головная «эмка» медленно съехала с дороги, а за ней последовали и остальные машины.

— Давай за ними! — приказал Звягинцев Разговорову, усаживаясь на заднее сиденье рядом с Пастуховым.

— Может быть, отстанем немного? — с сомнением в голосе сказал Пастухов.

— Что ты имеешь в виду?

— А что можно иметь в виду на войне? Зачем таким парадом ехать — три легковых машины и полуторка?

— Ну, брат, если не боятся маршал и Васнецов, то и нам не пристало.

— А я бы на вашем месте, майор, и маршала предупредил, раз уж другие не решаются, что так ехать опасно. Почему надо думать, что немцы на войне глупее нас?

— Не понимаю.

— Что ж тут непонятного, — пожал плечами Пастухов, — мы для чего дороги подрывали? Чтобы заставить танки в объезд свернуть, а там мины. А теперь, возможно, немцы нам ловушку расставили: хотят загнать на целину и разбомбить с воздуха.

— Ничего, быстро проскочим, — неожиданно вмешался Разговоров, на мгновение обернулся и добавил, улыбнувшись: — Когда еще придется с Маршалом Советского Союза в одной колонне ехать!..

Немецкие самолеты появились тогда, когда, судя по карте, до расположения дивизии оставалось лишь несколько километров. Неожиданно сквозь открытые окна машины до Звягинцева и Пастухова донесся громкий возглас с полуторки: «Воздух!»

Разговоров, резко затормозив, остановил машину. Звягинцев поспешно выпрыгнул из нее. Мысль его сразу вернулась к Ворошилову — к опасности, которой он подвергается.

Самолеты вынырнули из-за облака — три «мессершмитта». Охрана торопливо спрыгивала через борт полуторки на землю. Высыпали все и из двух первых «эмок».

— Убрать машины! Всем в лес! — услышал Звягинцев команду полковника Чорохова.

Звягинцев видел, как Пастухов, бойцы и те командиры, что выскочили из легковых машин, повинуясь резкой команде, побежали к тянущемуся слева, метрах в пятидесяти, лесу. Он взглянул вверх, и ему показалось, что истребители, не замечая движения машин и людей, пронеслись стороной.

Однако он тут же понял, что ошибся. Ведущий самолет развернулся, за ним, соблюдая интервалы, последовали и два других. Они заходили на цель.

Звягинцев огляделся и замер, пораженный.

Все находились уже на полпути к лесу, и только один человек спокойно и неторопливо продолжал идти вперед по дороге. Это был Ворошилов.

— Товарищ маршал! — истошно крикнул Звягинцев и побежал к Ворошилову.

Услышав возглас Звягинцева, остановились и те, кто бежал к лесу.

— Товарищ маршал, ложитесь! — крикнул генерал и бросился обратно, к Ворошилову. Рядом с ним бежал Васнецов.

«Мессершмитт» с завыванием пронесся над их головами. Фонтанчики земли забили метрах в двадцати от того места, где находился сейчас Ворошилов.

— Товарищ маршал! — срывая голос, крикнул Звягинцев. — Да что же вы делаете?!

Ворошилов обернулся к нему, пожал плечами и негромко сказал:

— Не привык врагам кланяться.

— Климент Ефремович, — воскликнул Васнецов, первым подбегая к Ворошилову, — ложитесь! Немедленно! Мы требуем...

Гул самолетов покрыл его голос. В этот момент возле Ворошилова оказался незнакомый Звягинцеву генерал; схватив маршала за плечи, он насильно придавил его к земле. Звягинцев, упавший на землю почти одновременно с Ворошиловым, поднял голову и увидел, что немецкие истребители взмыли в облака, скрылись.

— Медведь ты, генерал! — услышал он недовольный голос Ворошилова, поднимающегося с земли и отряхивающего пыль с кителя.

— Климент Ефремович! — резко сказал, тоже поднимаясь с земли, Васнецов. — Так нельзя! В конце концов мы здесь отвечаем за вашу жизнь!

— Машины горят! — раздался возглас откуда-то сзади.

Все обернулись. И тогда Звягинцев увидел, что две «эмки» и полуторка горят. Самолеты подожгли их, застигнув на полпути к лесу. Целой была лишь «эмка» Звягинцева. Машины горели как-то бесшумно, языки пламени просто лизали их со всех сторон. Подбежавшие бойцы тщетно пытались сбить огонь плащ-палатками и шинелями.

Несколько мгновений Ворошилов глядел на горящие машины и вдруг громким, командным голосом крикнул:

— Отойти от машин! Всем отойти! Сейчас начнут рваться!

Он крикнул вовремя. Бойцы едва успели отбежать от машин, как один за другим раздались три взрыва.

Какое-то время все стояли молча, глядя, как догорают машины. Наконец Ворошилов сказал:

— Что же, придется пешим ходом. Говоришь, не более двух километров осталось? — обратился он к Чорохову.

— Так точно, товарищ маршал, не более, — поспешно ответил тот.

— Товарищ маршал, — вырвалось у Звягинцева,— моя-то машина цела!

Ворошилов перевел взгляд на Звягинцева, потом на стоящую в стороне невредимую «эмку» и сказал:

— Что ж, майор, раскулачим тебя. Тут недалеко, дойдешь, ты помоложе.

— Да, да, конечно! — радостно и совсем не по-военному воскликнул Звягинцев. — У меня отличный шофер, вполне можете довериться.

— Не положено, — угрюмо произнес генерал и крикнул: — Лейтенант, поведете машину майора.

Мрачно наблюдавший, как догорает одна из машин, немолодой лейтенант козырнул и побежал к стоящей в стороне «эмке» Разговорова.

До штаба дивизии оказалось не два, а добрых шесть километров, и, когда Звягинцев, Пастухов и Разговоров пешком добрались туда, было уже пять часов вечера.

Пастухов пошел отыскивать политотдел. Разговоров, всю дорогу раздираемый противоположными чувствами: гордостью, что в его машине уехал сам маршал, и опасением, как бы «эмку» не «замотали», направился к коменданту штаба. Звягинцев пошел к командиру дивизии. Однако ни командира, ни начальника штаба ему найти не удалось.

В штабном блиндаже дежурный, старший лейтенант лет сорока, сугубо штатской внешности, в мешковато сидевшем на нем обмундировании, однако явно стремящийся соответствовать своему военному званию, вытянувшись, громко доложил, что никого из начальства в штабе нет.

— Где же их искать? — глядя на ручные часы и с досадой думая, что засветло уже никак не вернуться в батальон, спросил Звягинцев.

— Не могу знать, — отчеканил старший лейтенант.

Он явно «темнил» и не умел этого скрыть. Ну конечно же, он получил строгий приказ держать в тайне пребывание в дивизии Ворошилова...

— Послушайте, товарищ, — с улыбкой сказал Звягинцев, которого тронуло стремление этого еще недавно глубоко штатского человека выглядеть настоящим военным и строго соблюдать устав, — я командую отдельным инженерным батальоном, ваш сосед справа. Вот мое удостоверение из штаба фронта. Прибыл для установления связи, и каждый час для меня дорог. Где ваше начальство? С маршалом? Да вы не скрывайте, мы с ним по одной дороге к вам ехали.

Старший лейтенант мялся. Но Звягинцеву все же удалось вытянуть из него, что маршал по прибытии провел короткое совещание с командным составом, а сейчас в сопровождении комдива и начальника штаба выехал осматривать позиции.

Звягинцев выругался про себя от досады, что ему не пришлось присутствовать на этом совещании и послушать маршала; еще больше он сожалел о том, что не смог присоединиться к сопровождавшим Ворошилова командирам во время осмотра позиций. Было жалко и зря пропадающего времени, — он понимал, что пока маршал находится здесь, им, Звягинцевым, и его делами никто заниматься не будет.

— А комиссар тоже уехал? — спросил он с надеждой, что хоть кто-нибудь из начальства остался на КП.

Дежурный ответил, что комиссар дивизии тотчас же после совещания у маршала созвал секретарей парторганизаций у себя в блиндаже.

Звягинцев решил направиться туда. Он быстро разыскал блиндаж комиссара. Оттуда, из полуоткрытой

двери, доносились голоса — видимо, совещание еще продолжалось.

Звягинцев присел на пеньке неподалеку с намерением дождаться конца совещания.

Не прошло и пятнадцати минут, как из блиндажа стали один за другим выходить политработники, — их легко можно было узнать по красным звездам на рукавах гимнастерок. Последним вышел пожилой батальонный комиссар. Звягинцев спросил у него, освободился ли комиссар дивизии, и, получив утвердительный ответ, спустился по деревянным ступенькам в блиндаж.

Перешагнув порог, он вскинул руку для приветствия, но, так и не донеся ладонь до виска, застыл от неожиданности. За длинным дощатым столом сидел Иван Максимович Королев.

— Иван Максимович?! — воскликнул Звягинцев, забыв об официальном приветствии. — Вы здесь?

Королев некоторое время недоуменно глядел на Звягинцева, точно не узнавая его. Наконец медленно встал со скамьи, вышел из-за стола и произнес удивленно:

— Это ты, майор?

— Я, я, Иван Максимович, конечно, я! — торопливо ответил Звягинцев, глядя на зеленые полевые «шпалы» полкового комиссара. — Значит, вы здесь?! А я с батальоном занимаю оборону на вашем правом фланге, приехал установить связь. Иван Максимович! Скажите, что с Верой?..

Королев молчал, устало глядя на Звягинцева.

— Как Вера? — повторил Звягинцев. — Она в Ленинграде?

Плотно сжатые губы Королева наконец разжались, точно против его воли, и он тихо сказал:

— Она не вернулась.

Звягинцев молча, будто не понимая смысла этих трех слов, смотрел на Королева.

— Но как же так?! — проговорил он наконец, точно желая убедить Королева, что тот ошибается. — Ведь этот... ну, как его... Анатолий Валицкий... ведь он же вернулся?!

— Он вернулся, а она — нет, — ответил Королев, на этот раз твердо и определенно.

Звягинцев почувствовал себя так, как вчера, когда его накрыла воздушная волна от разрыва снаряда. На мгновение все поплыло перед глазами.

— Но ведь там... — проговорил он, не слыша собственного голоса, — но ведь там... в Белокаменске — немцы!

Он выкрикнул это с отчаянием и в то же время с бессознательной надеждой, что Королев поймет всю чудовищную нелепость своих слов, — ведь раз в Белокаменске немцы, Веры там быть не должно, не может быть!

— Да. Там немцы, — жестко произнес Королев.

И эти слова как бы полностью вернули Звягинцеву слух и зрение. Он с какой-то режущей глаза отчетливостью увидел зажженный фонарь, дощатый стол, консервные банки, превращенные в пепельницы, раскрытый блокнот и лежащие на столе остро очиненные карандаши.

— Иван Максимович, — пытаясь успокоиться, взять себя в руки и выяснить все до конца, произнес Звягинцев, — я ничего не понимаю. Вы от меня что-то скрываете, чего-то не договариваете. Я повторяю вам, что видел этого парня! Он уходил от немцев вместе с отступающими частями на участке моего батальона. И он мне сказал, что Вера уже в Ленинграде!

— Значит, соврал, — угрюмо произнес Королев. — Ему удалось уйти. А ее он... а она осталась там.

Звягинцев почувствовал, как его душит воротничок гимнастерки. Он с трудом, негнущимися пальцами расстегнул крючок, покрутил головой, как бы стараясь освободить шею от сжимающего ее невидимого железного обруча, и медленно опустился на скамью.

«Как же так? — стучало в его мозгу. — Почему этот парень вернулся, а она осталась? Почему он соврал, сказав, что Вера уже в Ленинграде?..»

Звягинцев чуть было не спросил, какие предприняты меры, чтобы помочь Вере, спасти ее, но тут же понял, сколь нелеп и бессмыслен был бы подобный вопрос. И горькое сознание непоправимости того, что произошло, овладело им.

Он сидел, облокотившись о стол локтями, подперев руками голову, и заметил, что в блиндаж кто-то вошел, только когда с недоумением увидел, как Королев поспешно встал, одергивая гимнастерку.

Механически отметив, что Королев сделал это привычным солдатским движением, Звягинцев в ту же минуту услышал его голос:

— Товарищ член Военного совета, комиссар дивизии народного ополчения полковой комиссар Королев...

Звягинцев поспешно вскочил, обернулся и увидел, что в двух шагах от двери стоит Васнецов, а за ним, пригибаясь, чтобы не задеть головой низкий потолок, — полковник Чорохов.

— Здравствуйте, товарищ Королев, — сказал Васнецов, протягивая Королеву руку. — Здравствуй, Максимыч! Очень рад снова тебя видеть.

Он скользнул взглядом по застывшему в положении «смирно» Звягинцеву и сказал:

— С вами, майор, мы уже виделись. Добрались благополучно?

Звягинцев хотел было отрапортовать, что все в порядке и дошли они без происшествий, но понял, что Васнецов не ожидает он него никакого ответа.

— А это, товарищ Королев, — сказал Васнецов, — ваш правый сосед, полковник Чорохов, знакомься...

И, обернувшись к комдиву, добавил:

— Садитесь, полковник, здесь наш разговор и закончим.

— Разрешите идти? — обращаясь к Васнецову, как к старшему по званию, спросил Звягинцев.

— Зачем же вам уходить, товарищ майор? — ответил тот и, снова поворачиваясь к Чорохову, спросил: — Вы говорили, что майор на участке вашей дивизии левый фланг держит? Верно? На стыке с ополченцами?

— Так точно, товарищ дивизионный комиссар, — ответил Чорохов.

— Ну, значит, вместе и побеседуем, — удовлетворенно сказал Васнецов. — Я бы хотел, товарищ Чорохов, чтобы вы высказали свои сомнения в присутствии комиссара дивизии. Садитесь, товарищи!

И Васнецов, перешагнув через скамью, сел, жестом предлагая остальным последовать его примеру.

— Какой же смысл, товарищ дивизионный комиссар? — слегка приподнимая свои широкие плечи, сказал Чорохов. — Я свое предложение высказал, получил отказ, вопрос для меня ясен...

— Ой ли, товарищ полковник? — проговорил Васнецов, чуть прищуриваясь. — Формально все ясно, но в душе, скажите честно, на ополченцев не очень надеетесь? Ведь так? Но почему же? Организацией их обороны вы, как говорите, удовлетворены. Верно? Значит, сомневаетесь в людях. Вот почему я думаю, беседа с комиссаром вам не повредит. Ведь говорят, каков поп, таков и приход, простите за старорежимную поговорку.

И Васнецов умолк, выжидающе глядя на Чорохова.

— Я могу повторить лишь то, что уже докладывал маршалу в вашем присутствии, товарищ член Военного совета, — подчеркнуто официально, однако с нотками обиды в голосе произнес Чорохов. — У меня нет замечаний по организации обороны, которую нам показали.

Он хмуро посмотрел на Королева и, подчеркнуто обращаясь не к нему, а к Васнецову, продолжал:

— И все же я считаю, что при столь растянутых участках фронта и нехватке войск слева от меня должна стоять кадровая воинская часть. Дивизия народного ополчения, как явствует из самого ее названия, в профессионально-военном смысле является дивизией лишь... формально. Вчера немцы попробовали прорвать нашу оборону на центральном участке и получили по морде. Неизвестно, где они будут атаковать завтра. Не исключено, что именно здесь. Возможно, противнику уже известно, что фронт тут держит не кадровая часть, — его разведка тоже ушами не хлопает. Ополченцы не устоят против танков. А если немцам удастся прорваться здесь, они выйдут в тыл мне, а возможно, и всей оборонительной полосе. Вот и все, что я хотел сказать, товарищ член Военного совета, пусть уж комиссар не обижается.

Васнецов побарабанил пальцами по столу.

— Ваше мнение, товарищ Королев? — спросил он.

Звягинцев увидел, как на впалых висках Ивана Максимовича надулись вены.

— Дивизия не отступит, — коротко и глухо произнес он.

— А мне этих слов, полковой комиссар, мало! — воскликнул Чорохов, движением верхней губы вздергивая пики своих усов. — Ты сколько времени в армии?

— Две недели, — спокойно ответил Королев.

— А я — двадцать два года и три месяца! Разница? Ты танк немецкий перед собой когда-нибудь видел? Из пулемета по тебе строчили? Так вот, когда такой танк на тебя полезет да сверху еще авиация прижмет, тут твои две недели скажутся! А когда твои бойцы от этого танка побегут, тут уж их агитацией и пропагандой не остановишь, поверь старому солдату! Ты, не в обиду будь тебе сказано, свои шпалы в первый день войны, наверное, получил, а я за каждую свою кровью да годами службы платил, вот!

Звягинцев, которому в последние два дня уже довелось узнать Чорохова, еще не видел его таким распаленным. Так взвинтили его, очевидно, какие-то предварительные разговоры с маршалом и Васнецовым, а может быть, и тот факт, что Васнецов привел его, комдива, сюда как бы «на выучку».

Королев пристально глядел на полковника, ни словом, ни жестом не прерывая его. И только выражение лица его постепенно менялось, морщины становились глубже, вены на висках вздувались все сильнее.

Очевидно, это не укрылось и от Васнецова, потому что он сказал комдиву строго и укоризненно:

— Как вы можете так говорить, товарищ Чорохов! В эту дивизию ленинградский рабочий класс послал лучших своих сынов... Среди них есть и молодые, есть и те, кто делал революцию, громил Корнилова, участвовал в боях с белофиннами...

Королев повернулся к Васнецову:

— Подождите, товарищ дивизионный комиссар. Разрешите, я уж сам полковнику отвечу... Значит, ты, полковник, ни танков, ни авиации немецкой никогда не боялся? Может, ты от врага Прибалтику защитил? Ты Ригу и Вильнюс отбил? Ты Псков отстоял? Ты финна на северной границе задержал? Ты людей советских, которые под немца попали, из неволи вызволил?!

— Товарищ член Военного совета! — возмущенно воскликнул Чорохов. — Кто дал ему право оскорблять армию?

— А ты, полковник, когда тебе рабочий человек правду говорит, слушай, на дыбки не вставай! — сказал Королев. — Ты фактам в лицо гляди! Можешь сам с немцем управиться — давай действуй, у нас и на заводах делов хватает, оружие тебе ковать. А не можешь, так принимай помощь. И армию я не оскорбляю, не приписывай. Но против фактов, дорогой товарищ, не попрешь. Без народа, без ополченцев, без партизан в тылу врага, одной армией нам немца не остановить. Как говорится, горько, но факт... А насчет шпал — тут я твой упрек принимаю. Не заработал еще, авансом дали, сознаю. Вот так.

И Королев слегка ударил ладонями по некрашеной поверхности дощатого, наскоро сколоченного стола.

Васнецов усмехнулся полудобродушно, полуиронически и сказал:

— Ну вот, знакомство и состоялось. Теперь полковник Чорохов будет знать, кто у его соседей слева боевой дух поднимает. Той самой пропагандой и агитацией. К вашему сведению, товарищ Королев состоит в партии с шестнадцатого года.

— Анкета моя товарищу полковнику ни к чему, — угрюмо сказал Королев, — он от нас дела требует. Что ж, покажем и дело. Не зайдут к тебе немцы в тыл, полковник, не тревожься. О своем участке болей. А мы пока живы, на земле стоим, отсюда не уйдем.

Чорохов пожал плечами и, резко меняя тему разговора, сказал:

— Хочу к Военному совету с просьбой обратиться, товарищ дивизионный комиссар. В стыке с этой дивизией я поставил инженерный батальон. Вот этот самый майор Звягинцев с тем батальоном прибыл, чтобы предполье минировать. А я этих саперов был вынужден в окопы посадить, как пехоту. Во время вчерашнего боя у батальона больше трети из строя вышло. Врать

не хочу, дрались они геройски. Но следующей атаки не выдержат. Надо бы отвести батальон на пополнение.

— Но разве для этого требуется решение Военного совета фронта? — спросил Васнецов.

— Никак нет. Но поставить мне на этот участок больше некого. Вот я и прошу на его место замену прислать. Ну хоть стрелковый батальон, усиленный артиллерией...

— Не будет сейчас батальона, полковник, — покачивая головой, сказал Васнецов, — нет у нас его, лишнего.

Он помолчал немного и спросил:

— Майор Звягинцев тоже к просьбе полковника присоединяется?

— Да уж куда больше! — ответил, опережая замешкавшегося с ответом Звягинцева, Чорохов. — Он мне чуть глотку не перегрыз за то, что я его батальон не по назначению использую!

Звягинцев встал и, вытянувшись, сухо сказал:

— Просьб не имею, кроме одной. Поддержать нас противотанковыми орудиями. Ну и пулеметов добавить, если возможно. Станковых.

— Вот так-то, полковник Чорохов, — с улыбкой произнес Васнецов. Потом повернулся к Звягинцеву и сказал: — Батарею и несколько пулеметов он даст. И сосед слева еще поможет. Верно, товарищ Королев? Теперь у вас два шефа. Устоите? — Он пристально посмотрел в глаза Звягинцеву. — Всего несколько дней. Потом сменим. Кстати, я так и не спросил вас, майор, почему вы здесь?

— Прибыл для установления связи с дивизией, товарищ член Военного совета, — доложил Звягинцев,— но пока все с маршалом были заняты...

— Маршал уже отбыл, — сказал Васнецов, — самолет за ним прислали. И я сейчас уезжаю. Так что и комдив и начальник штаба скоро будут свободны. Пошли, полковник. До свидания.

У самого порога он остановился и, обернувшись к Королеву, сказал:

— Да, вот еще что, чуть было не забыл. Мы здесь случайно встретили архитектора Валицкого. Лазает по окопам и дзотам на переднем крае, учит, кричит на всех... На маршала напоролся, вступил в пререкания... Но дело не в этом. Его может убить любой шальной пулей. Как он сюда попал?

Лицо Королева помрачнело, однако ответ его прозвучал сдержанно и даже равнодушно:

— Записался в ополчение. Как все.

— Но это неправильно, товарищ Королев! — возразил, уже повышая голос, Васнецов. — Старик — крупный специалист. Мы обязаны беречь таких людей. Никакой необходимости идти на фронт такому человеку не было.

— А если была? — резко спросил Королев.

— Нет, нет, — решительно проговорил Васнецов, видимо не придавая значения словам Королева. — Разъясните ему...

— Он не захочет уехать.

— Что это значит: «захочет», «не захочет»?.. Я прикажу комдиву отправить его в тыл.

На мгновение Васнецов умолк, видимо вспоминая разговор с Валицким у себя в кабинете, усмехнулся и сказал:

— Я знаю, он старик нелегкий... И тем не менее немедленно откомандируйте его в Ленинград. Немедленно.

И он толкнул дверь.

Они снова остались одни — Звягинцев и Королев.

— Кто этот Валицкий? Однофамилец того парня? — настороженно спросил Звягинцев.

— Его отец.

— Отец?.. Где он находится?

— Сядь, Алексей, — строго сказал Королев. — По-твоему, только сын за отца не отвечает? А наоборот? К тому же, может, его сын и в самом деле не виноват.

— Не виноват?! — сжимая кулаки, переспросил Звягинцев. — Он уехал с вашей дочерью, а вернулся один — и не виноват?!

Королев молчал.

— Как вы могли отпустить с ним Веру? Почему вы не заставили ее вернуться еще тогда, когда я ночью позвонил вам по телефону? Я позвонил вам через полчаса после того, как было решено строить укрепления на Луге. Я сразу понял, что это означает!

Королев посмотрел на него исподлобья и сказал:

— А ты кто такой, чтобы с меня ответ за нее спрашивать? Ты ей кто? Брат? Сват? Жених? Муж?

Эти слова падали на Звягинцева, точно удары.

«Действительно, кто я ей?.. — спросил он себя. — Чужой человек. Она никогда не любила меня... Но о чем я сейчас, зачем?.. Только бы она была жива! Пусть живет, как хочет, пусть встречается с этим парнем, пусть все будет по-прежнему, только бы знать, что она жива!»

— Почему он оставил там Веру? — упрямо спросил Звягинцев.

— Не знаю, — ответил Королев. — Он у нас после возвращения не был. Знаю только со слов его отца... Ехали в Ленинград, поезд попал под бомбежку, должно быть, где-то между Островом и Псковом. Добрались до какой-то деревни. А ночью туда вошли немцы. Их разделили. И больше он ее не видел.

«Никакого проблеска, — думал Звягинцев. — Никакой надежды!..»

— Но почему же вы не попытались сами разыскать этого парня? Почему не заставили рассказать все подробно?

Королев пожал плечами.

— Я ждал его со дня на день. Отец сказал, что он придет... А потом дивизия получила приказ немедленно выступать.

— Так... — упавшим голосом сказал Звягинцев. — Ясно... Что ж, Иван Максимович, пойду в штаб. А к вам зайдет замполит нашего батальона Пастухов... Ну, я пойду... — повторил он устало, совсем уже не по-военному.

— Подожди, Алеша, — сказал Королев, — не знаю, когда теперь свидимся... А я ведь... я ведь и не знал, что ты... Ну, словом... Думал, так, изредка заходишь... Знал бы, может, совет ей какой ни на есть дал... А теперь вот поздно... Нету больше Веры...

— Не надо... не надо ее хоронить! Она жива... — проговорил Звягинцев.

Он хотел еще что-то сказать, но услышал стук в дверь и знакомый голос: «Разрешите?»

На пороге стоял Пастухов.

Глава IX

Поздним вечером, закончив все дела в дивизии, Звягинцев и Пастухов стали собираться обратно.

Их уговаривали переночевать, дождаться утра, тем более что в штаб стали поступать тревожные сведения. Командир одного из полков доносил, что немцы начали бомбить тылы и попытались сбросить парашютистов. Несколько позже поступили сведения, что разведкой обнаружено несколько немецких бронетранспортеров с пехотой, двигающихся по направлению к Новгороду.

Составить точную картину, что происходит перед фронтом дивизии, было пока трудно.

Звягинцев принял решение выезжать. Мысль о том, что немцы снова предпримут атаки на участке его батальона и случится это в его отсутствие, не давала ему покоя.

Обычно осторожный Пастухов тоже был за немедленное возвращение.

Они разыскали Разговорова, он сидел на пеньке возле своей «эмки» и курил.

— Как дела, сержант, можем ехать? — спросил Звягинцев.

Разговоров вскочил, отбросил в сторону самокрутку и с готовностью ответил:

— Хоть до самого Берлина, товарищ майор! Кузов слегка заварили, два ската новых получил да еще канистру полную с собой дали. Немецкую канистру, трофейную! Сам Ворошилов, говорят, распорядился!

— Сочиняешь, сержант! Опять, наверное, дружка нашел, — усмехнулся Звягинцев.

— Почему же сочиняю, товарищ майор? — обиженно произнес Разговоров. — Машина-то теперь у нас особая, маршальская, сам Клим Ворошилов на ней ездил! Вот кончится война, мы ее в музей военной славы сдадим. И дощечка будет висеть: «Такого-то числа в этой машине...», ну и так далее.

Он завел мотор. «Маршальская» машина стояла, подрагивая, дребезжа разбитыми крыльями.

Звягинцев и Пастухов сели на заднее сиденье.

— Той же дорогой поедем, в объезд, — сказал Разговоров. — Основную-то фриц за день, наверное, еще больше исковырял.

Перспектива снова объезжать лес и, следовательно, делать крюк, углубляясь на юг километров на десять, мало улыбалась Звягинцеву. Однако он понимал, что другого выхода нет. Он переглянулся с Пастуховым, тот молча пожал плечами, как бы говоря: «Не хотелось бы, но что поделаешь!»

Было еще светло, хотя солнце уже зашло и небо потемнело. Откуда-то издалека доносился гул артиллерийской стрельбы. Слева, на горизонте, пламенело зарево пожара. Временами в небе взрывались и медленно гасли сигнальные ракеты. Вокруг было пустынно и тревожно.

Они ехали молча. Разговоров вел машину сосредоточенно, искусно лавируя между наполненными водой впадинами, пригорками и кустами чахлого кустарника. Все чаще попадались воронки—видимо, немцы взяли под контроль и этот объезд. Разговоров волей-неволей был вынужден забирать все южнее. Стало темнеть.

Звягинцев развернул на коленях карту и старался определить, где они сейчас едут, Пастухов освещал карту тонким лучиком карманного фонаря. Однако из-за того, что машина двигалась не по дороге, а по целине, маршрут можно было установить лишь приблизительно.

— Ты смотри, Разговоров, к немцам нас не завези! — сказал Звягинцев. Он произнес эти слова нарочито беспечно, как бы в шутку, но тут же почувствовал, что голос его, помимо воли, прозвучал тревожно.

— Еще чего скажете, товарищ майор, откуда здесь немцы?! Еще километров пять проковыляем, и лесу конец! Тогда прямиком.

Он проговорил это так же, как и Звягинцев, преувеличенно бодро, но чувствовалось, что тревога передалась и ему.

Стало еще темнее. В небе уже угадывались неяркие звезды. Поднялся ветер. Он прижимал к земле чахлую траву и кустарник, начинал подвывать в открытых окнах машины.

«Нам до поворота на север осталось еще километра три, — размышлял, глядя на часы, Звягинцев, — по ровной дороге это минут пять — десять езды. А по этим ухабам — полчаса проедем...»

Они поравнялись с тем местом, где их несколько часов назад застала бомбежка. Искореженные, опаленные огнем, с выбитыми стеклами кузова машин черными грудами возвышались на ровной земле.

— Сильно́ разделали! — сказал Разговоров. Его, видимо, тяготило молчание сидевших позади командиров. — Я тогда еле до леса дотянул! С минуту бы промедлил, и не бывать у нас «эмки».

Он помолчал секунду и, чувствуя, что ни у кого нет желания поддержать разговор, продолжал:

— А маршал-то, маршал! Все, как кроты, в землю уткнулись, а он идет себе! Одно слово — маршал!

«Он не должен был, не имел права рисковать! — подумал Звягинцев о Ворошилове. — Ведь это бессмысленный, ненужный риск... Но может быть, ему, прославленному полководцу, виднее, как вести себя перед лицом опасности?..»

В этот момент неожиданно раздался взрыв и метрах в двадцати от машины к небу взметнулся черный столб.

Разговоров с силой нажал на тормозную педаль, Звягинцева и Пастухова с размаху кинуло грудью на спинку переднего сиденья.

В следующие секунды все трое выскочили из машины и стали пристально всматриваться в темное небо.

Однако они не увидели ни одного самолета, не услышали даже отдаленного гула. Небо было чистым. Спокойно светили звезды. Стояла полная тишина.

Раздался еще один взрыв. Теперь земляной столб взметнулся метрах в десяти позади машины.

— Ложись! — крикнул Звягинцев, падая на землю и увлекая за собой Пастухова. Они уткнулись в землю, но через мгновение приподнялись, удивленно озираясь вокруг.

И снова совсем уже близко в воздух взлетели комья земли и, падая, забарабанили по кузову машины.

— Это из минометов, майор! — громко крикнул Пастухов.

Разговоров вскочил и побежал к машине.

Включив мотор, он резко развернулся и, не выбирая дороги, то буксуя в топкой земле, то рывком выбираясь из болота, повел машину к лесу.

Мина угодила прямо в машину, когда она была уже недалеко от спасительных деревьев. Раздался взрыв, лязг разрываемого металла, вспыхнул огонь.

Задыхаясь от жара, обжигая руки о горячий металл, подбежавшие Звягинцев и Пастухов с трудом отодрали заклинившуюся дверь.

Разговоров лежал грудью на баранке, ацепившись в нее руками, и, для того чтобы вытащить его из кабины, пришлось разжать его онемевшие пальцы.

— Разговоров! Жив? — крикнул ему прямо в ухо Звягинцев, вместе с Пастуховым вытаскивая шофера из горящей машины.

Снова, на этот раз где-то в стороне, разорвалась мина. Но ни Звягинцев, ни Пастухов даже не обернулись. Потом откуда-то застрочил пулемет, просвистело несколько ружейных пуль.

«По нас бьют!» — запоздало подумал Звягинцев.

Словно подтверждая это, высоко над его головой с негромким хлопком разорвалась ракета. И сразу все осветилось голубым призрачным светом.

Но лес был уже рядом.

Они сделали несколько шагов в чащу и опустили Разговорова на землю.

Звягинцев наклонился над ним и увидел на шее большую рваную рану. Из перебитой артерии толчками била кровь.

— Пастухов, это артерия! — тихо произнес он и, не в силах больше сдерживать себя, с отчаянием крикнул: — Вася, милый, ты жив?

Разговоров открыл глаза.

— Машину... машину укрыть... — почти беззвучно, едва шевеля запекшимися губами, прошептал он.

— В порядке, в порядке машина! — наклоняясь к его лицу, крикнул Пастухов. — Ты-то как?

— Трудно... вам... будет... без машины...

Внезапно тело его дернулось, из груди донесся хрип, из уголка рта по подбородку медленно потекла узкая черная струйка крови.

— Умер, — тихо сказал Пастухов.

Но Звягинцев, склонившийся над Разговоровым, не слышал Пастухова. Его охватило оцепенение.

— Майор, ты сам ранен! — уже громко крикнул Пастухов, увидев, что голенище левого сапога Звягинцева разорвано и по нему стекает кровь.

Но и этих слов Пастухова Звягинцев как будто не слышал. Он не испытывал никакой боли, и в ушах его как бы застыла тишина.

— Звягинцев, немцы! — крикнул Пастухов.

И это слово «немцы» разом разорвало в ушах Звягинцева густую, неподвижную тишину. Он вскочил, взглянул туда, куда показывал Пастухов, и сквозь просветы деревьев увидел, что к опушке леса короткими перебежками приближаются немецкие солдаты.

Снова в небе щелкнула и, подобно хлопушке, разорвалась ракета. Теперь люди в серо-зеленых мундирах стали хорошо видны. Они надвигались, пригнувшись, прижав к животам автоматы.

— В лес, майор, быстро! — свистящим шепотом произнес Пастухов.

— А как же он? — еще не отдавая себе отчета во всем, что происходит кругом, растерянно прошептал Звягинцев и перевел взгляд на лежащего Разговорова.

— Он мертв! Немцы, майор, быстро за мной! — крикнул Пастухов и бросился в глубь чащи.

В лесу было темно. Звягинцев не видел бегущего впереди Пастухова, но слышал, как трещат сучья под его ногами.

«Только не отставать от Пастухова, бежать, бежать!» — мысленно приказывал он себе. Он сознавал, что бежит из последних сил.

Нога не сразу дала знать о себе. Звягинцев почувствовал боль только тогда, когда, задохнувшись от бега, замедлил шаг.

В этот момент Пастухов неожиданно остановился и хриплым голосом сказал:

— Давай... передохнем... Вот влиплі!.. — Отдышавшись немного, он спросил: — Как нога, товарищ майор?

— Нога? Все в порядке! — торопливо ответил Звягинцев.

— Дай посмотрю.

— Нечего смотреть, ерунда, царапина.

— Дай, говорю, посмотреть! — настойчиво повторил Пастухов. Он опустился на колено, зажег спичку.

Звягинцев напряженно ждал приговора, боясь наклониться и взглянуть на свою ногу.

— Э-э, майор, сильно тебя садануло! — сказал наконец Пастухов. Спичка, которой он светил себе, догорела, и Пастухов чиркнул новой.

Усилием воли Звягинцев заставил себя нагнуться. И тогда он увидел, что из сапога вырван большой клок, а остатки голенища покрыты кровью, смешанной с грязью.

И как только он увидел все это, боль стала нестерпимой.

— Садись, майор, нужно сделать перевязку, а то хуже будет, — твердо сказал Пастухов, — на одной ноге далеко не ускачешь.

— А если в это время...

— Садись, говорю!

Пастухов попытался стянуть сапог с раненой ноги, Звягинцев вскрикнул от боли.

— Ты давай потише... терпи, а то немцев еще накличешь... — сказал Пастухов.

Он вытащил из брючного кармана кривой складной нож с деревянной ручкой, каким обычно пользуются садовники, раскрыл его и, подсунув лезвие под голенище, разрезал его сверху донизу.

— Выше щиколотки саданулo, — сказал он. — Осколком, наверное. В темноте не разберешь.

Он стащил с себя гимнастерку и рванул подол нижней рубахи.

Звягинцев сидел, прислонившись спиной к дереву, стиснув зубы и сжимая кулаки с такой силой, что ногти впивались в мякоть ладоней.

Голос Пастухова донесся до него будто издалека:

— На данном этапе все. Встать ты в состоянии?

— Да, да, конечно, — проговорил Звягинцев. Опираясь на руку Пастухова, он попытался встать, но не смог.

— Ладно, переждем немного, — сказал Пастухов и сам опустился рядом на землю.

— Карта и компас с вами, товарищ майор? — снова переходя на «вы», спросил Пастухов.

— Карта? — растерянно переспросил Звягинцев.

Он отчетливо вспомнил, что еще за секунду до того, как он выскочил из машины, сложенная карта лежала на сиденье между ним и Разговоровым, а компас он положил перед выездом в маленькую нишу на передней панели «эмки».

Значит, все сгорело в машине...

— У меня ничего нет, Пастухов, — мрачно сказал Звягинцев, — все там осталось...

Оба молчали. Они не знали, ни где находятся, ни в какую сторону идти, ни где сейчас немцы, ни что происходит в эти часы в их батальоне.

Звягинцев настороженно поглядел по сторонам, и, хотя он не увидел ничего, кроме сливающихся в одну темную, сплошную массу деревьев, ему показалось, что опасность подстерегает их всюду.

Откуда-то донесся пронзительно-жалобный крик ночной птицы. Где-то хрустнули ветки.

Неожиданно разорвалась ракета. Клочок неба, нависшего над кронами деревьев, стал желто-оранжевым.

Ракета погасла, и небо снова стало темным и безжизненным.

— Что будем делать? — тихо спросил Звягинцев.

— Надо подождать рассвета, — решительно ответил Пастухов, — а то в темноте, да не зная дороги, на немцев напоремся.

Но Звягинцев истолковал слова Пастухова иначе. Ему показалось, что старший политрук сомневается в его способности идти дальше. Звягинцев двинул ногой и вздрогнул от боли, пронзившей все его тело.

— Как ты думаешь, — спросил он, — каким образом сюда проникли немцы?

— Не знаю.

— Неужели им удалось прорваться и выйти нам в тыл?

— Не думаю. Тогда мы услышали бы артиллерию, гул танков. А я, кроме автоматов и минометов, ничего не слышал. Скорее всего это десантники. Группа какая-то небольшая.

— Надо немедленно пробираться к батальону! Надо идти в батальон! Здесь не больше пяти — восьми километров по прямой.

— Но у нас нет ни карты, ни компаса, — напомнил Пастухов, и, хотя в тоне старшего политрука не было и тени упрека — он просто констатировал факт, — Звягинцев воспринял его слова как обвинение.

— Направление, на худой конец, можно приблизительно определить и без компаса, — сказал он. — Посмотри, с какой стороны больше мха на деревьях. Нам надо на запад.

— Ненадежно. Надо дождаться рассвета, тогда определимся.

— Но сейчас только третий час! — воскликнул, глядя на ручные часы, Звягинцев. — Ты что же, предлагаешь, чтобы мы сидели и ждали?! Да за это время можно пройти не восемь километров, а больше!

— Вы не в состоянии пройти и двух километров, — тихо и как-то неохотно, точно его вынудили произнести эти слова, сказал Пастухов.

— Я пройду!.. — упрямо сказал Звягинцев, попытался подняться, но острая боль снова заставила его сесть. Лицо его покрылось потом.

Да, Пастухов был прав. Он не может идти.

Некоторое время они молчали.

Снова, на этот раз совсем близко, раздался жалобный, похожий на стон птичий крик. Откуда-то налетел порыв ветра, зашумели деревья.

— Ты пойдешь один, — решительно сказал Звягинцев.

— Нет, — спокойно возразил Пастухов.

— А я говорю — да! — повысил голос Звягинцев. — Считай, что это приказ!

Пастухов медленно покачал головой.

— Не могу выполнить такого приказа, майор.

— Послушай, старший политрук, тебя где воспитывали? В армии или в институте благородных девиц? — едко и зло проговорил Звягинцев. Он не сомневался, что Пастухов в душе признает правильность его решения и сопротивляется лишь из жалости к нему.

Пастухов усмехнулся и невозмутимо ответил:

— Меня в партии воспитывали, майор. А до того в комсомоле. Меня учили, что раненого товарища не бросают. Тем более командира.

— А если командир тебе приказывает? — с горечью сознавая свое бессилие, проговорил Звягинцев.

— В данном случае приказу не подчинюсь.

«Что же мне делать? — думал Звягинцев. — Накричать? Пригрозить? Или снова попробовать убедить, что другого выхода нет, что один из нас должен как можно скорее дойти до батальона?.. Неужели Пастухов этого не понимает?!»

Но Пастухов понимал все. Он знал: на КП дивизии ополченцев Звягинцев договорился с комдивом о том, что, в случае если немцам удастся нащупать и прорвать стык между ополченцами и батальоном, Суровцев, используя подвижные средства, быстро отведет батальон километров на пять севернее, чтобы в кратчайший срок установить новые минные заграждения и помешать немцам зайти в тыл дивизии народного ополчения. Только Звягинцеву и ему, Пастухову, было известно об этой договоренности. И о ней ничего не знал Суровцев.

«Что будет, если немцы в ближайшее время начнут новую атаку, и именно на левом фланге батальона? — думал Пастухов. — Если немцы снова двинут танки, теперь, когда минные поля уже использованы, батальону долго не продержаться.

Но, не зная о принятом решении, Суровцев не отступит. Нет, он не отступит! Танки пройдут на север только по трупам бойцов. Но их гибель будет напрасной. Командование ополченцев, полагающее, что батальон отошел и прикрывает их дивизию с тыла, окажется в тяжелом положении. Удара немцев с севера оно не ждет... Звягинцев прав. Один из нас должен немедленно идти в батальон...»

Так размышлял Пастухов. Но оставить раненого командира в лесу, где были немцы, он не мог. В душе он еще надеялся, что, немного отдохнув, Звягинцев сможет идти дальше.

Точно угадывая его мысли, Звягинцев сказал:

— Хорошо. Тогда пойдем вместе. Помоги встать.

С помощью Пастухова он сделал новую попытку подняться. Но почти затихшая боль снова обрушилась на него.

— Ну?! — со злобой и отчаянием проговорил Звягинцев. — Видишь, куда я гожусь? Что же ты предлагаешь?

Пастухов сел рядом, сорвал травинку, повертел ее в руках.

— Я предлагаю пока оставаться здесь. — Он посмотрел на часы. — Сейчас без четверти три. Скоро взойдет солнце. Тогда точнее сориентируемся.

Звягинцев безнадежно махнул рукой.

— А что толку, если я все равно не могу идти?

И как только он понял, что ничего больше не в силах предпринять и что, по крайней мере, в течение ближайших двух часов оба они обречены на бездействие, все, что так недавно произошло, снова встало перед его глазами.

Звягинцеву показалось, что он видит лицо Разговорова — неподвижное, покрытое грязью и копотью лицо — и на нем узкую черную струйку крови, стекающую из уголка полуоткрытых губ.

«А ведь я так и не сказал ему ни единого доброго слова, — подумал Звягинцев. — Ни когда он спас меня от того танка, ни когда восстановил связь с радиостанцией, ни когда умирал. Не сказал того, что хотел. Все откладывал. Каждый раз не хватало времени. Он так и погиб, не зная, что представлен к ордену Красной Звезды. Не хотел ему говорить заранее — вдруг не дадут...»

— Пастухов, наградные листы тоже в машине остались? — спросил Звягинцев.

— Нет, — мотнул головой старший политрук, — со мной. Я их, когда из дивизии выехали, из планшета в карман переложил. Планшет там остался, в машине. Пустой.

— На Разговорова можешь лист найти?

Пастухов молча полез в брючный карман и вытащил свернутые в трубку листы. Не спеша разгладил листы на коленях и стал медленно перебирать.

— Вот, — сказал он наконец и протянул Звягинцеву один из листов.

Звягинцев зажег спичку, поднес листок к глазам и стал читать:

— «Разговоров Василий Трифонович, тысяча девятьсот двадцать второго года рождения, член ВЛКСМ, русский... проявил смелость и находчивость во время встречи с немецкой танковой разведкой... проявил смелость и героизм, восстановив под огнем противника связь с важным боевым объектом...» Надо найти какие-то другие слова, — сказал он. — «Проявил смелость», «проявил героизм»... У всех одно и то же. Человека за этим не видно. Согласен?

— Нет, майор, не согласен. Таких слов, которых ты хочешь, вообще нет на свете.

— То есть как это нет?

— Еще не найдены, а может, и вообще еще не родились. Для одного героя слова найти легко. А сейчас их тысячи. Или десятки тысяч. И настоящих слов, достойных этих людей — живых или мертвых, — еще нет.

Звягинцев молча протянул Пастухову наградной лист. Потом тихо сказал:

— Такой парень!.. А мы его даже похоронить не успели. Как подумаю, что его там немцы найдут... Они ведь не только над живыми глумятся... Слушай, Пастухов, — сказал он уже громче, — если все кончится благополучно, пошлем на то место наших бойцов. Посадим на полуторку и пошлем. Пусть похоронят как полагается. Я на карте эту опушку легко отыщу.

Он помолчал немного.

— Так жалко парня... Ты знаешь, у него отец — рабочий с «Электросилы». В ополчение пошел. А кто еще из семьи остался — неизвестно...

— Как нога? Болит? — спросил Пастухов.

— Сейчас меньше.

Звягинцев говорил неправду. Боль становилась все сильнее, и Звягинцев делал отчаянные попытки усилием воли отвлечься от нее.

— Я, кажется, выпросил у Васнецова противотанковые орудия и пулеметы, — сказал он, меняя тему разговора.

— Знаю, ты мне говорил, — ответил Пастухов.

— Может быть, они уже прибыли в батальон.

— Будем надеяться, — коротко заметил Пастухов и неожиданно спросил: — Послушай, майор, ты с комиссаром дивизии еще раньше был знаком?

— Да, — коротко ответил Звягинцев.

— Еще на гражданке?

— Да, — повторил Звягинцев и, уступая внезапной внутренней потребности, добавил: — У него дочь к немцам попала. Поехала на каникулы и...

Он умолк.

— Ты и ее знал? — спросил Пастухов.

— Да. Знал.

— У меня вот... тоже... — сказал Пастухов, — отец и мать... старики... в Минске остались...

Звягинцев поднял голову. Он слышал об этом от Пастухова впервые.

— Но... но как же так? — спросил он, чувствуя, что слова его звучат нелепо. — Ты же ни разу об этом не говорил!

— Разве? — пожал плечами Пастухов. — Ну... может, и не говорил...

Всходило солнце. Из бесформенной лесной чащи постепенно выступали отдельные деревья, стали видны низкие заросли кустарника, чахлая трава...

— Попробуем определиться, майор, — сказал Пастухов, переходя от дерева к дереву и внимательно осматривая поверхность коры. — Все относительно ясно, — деловито произнес он, — нам следует держаться больше к западу, значит, туда. — Он махнул рукой, указывая направление. — Давай решать проблему передвижения.

— Вряд ли я смогу идти, — угрюмо сказал Звягинцев.

— Сможешь. Раз надо — значит, надо. Другого выхода нет. Подъем, товарищ майор!

И он пригнулся, протягивая ему руку.

Звягинцев стиснул зубы и, опираясь на плечо Пастухова, поднялся, нерешительно сделал шаг.

— Ну как? — озабоченно спросил Пастухов.

— Кажется, могу идти, — неуверенно ответил Звягинцев.

Они медленно двигались, как им казалось, на юго-запад, уверенные, что не больше десяти километров отделяют их от места расположения батальона.

Звягинцев с трудом переставлял ноги. Пастухов поддерживал его, почти тащил на себе.

Звягинцев думал о том, что и Пастухов долго не выдержит, однако тот, казалось, не чувствовал усталости.

Они шли долго.

У маленького, выбивающегося из-под коряги родничка остановились и напились холодной прозрачной воды. Потом снова двинулись в путь. Часа через полтора откуда-то сзади до них донеслись звуки далекой перестрелки.

— Это на участке ополченцев, — сказал, прислушиваясь, Звягинцев.

— Видимо, там, — согласился Пастухов.

Звягинцев почувствовал, что боль в ноге снова усилилась. Как назло, почва стала рыхлой, местами вязкой, болотистой.

Пастухов спросил:

— Хочешь немного отдохнуть?

— Я еще могу идти, — упрямо сказал Звягинцев, чувствуя, что рука его, обхватывающая плечо Пастухова, онемела.

— Ты можешь, а я — нет, — сказал Пастухов. — Устал. Посидим малость.

Бережно поддерживая Звягинцева, он помог ему опуститься на землю. Потом пощупал сквозь разрез в голенище повязку и сказал:

— Кровь не идет. Запеклась. Везучий ты человек.

Звягинцев невесело усмехнулся. Он понял, что эту остановку Пастухов сделал ради него и о ране говорил столь бодро тоже ради него.

Пастухов посмотрел на свои ручные часы и спросил:

— Сколько на твоих, майор?

Звягинцев отдернул рукав гимнастерки.

— Одиннадцать.

— Вот и на моих без трех. Предлагаю прилечь здесь до двенадцати. Потом проверим, правильно ли идем.

Пастухов был прав. Конечно, в их положении самым разумным было дождаться, пока солнце достигнет полуденного зенита, и тогда уточнить направление.

«А что потом? — с горечью подумал Звягинцев. — Когда мы двинулись в путь, было около пяти утра... Сейчас одиннадцать. И за это время мы прошли не больше четырех-пяти километров. Даже если мы движемся в абсолютно правильном направлении, это значит, что идти нам осталось примерно столько же».

Звягинцев понимал, что не сможет пройти и одного километра. Теперь нога не просто болела, — казалось, ее жгут на костре, так охватило ее огнем...

Он закрыл глаза, чтобы не видеть окружающего их густого леса, преграждающих путь коряг, сомкнутых ветвей. Жар в ноге все усиливался.

«Не прислушиваться, не думать о ране, не думать о предстоящем пути, ни о чем не думать!» — мысленно внушал себе Звягинцев. Он попытался представить, что кругом снег, что нога его лежит на льду...

— Который час? — спросил он, открывая глаза.

— Без двадцати двенадцать, — ответил Пастухов. — Ты немного задремал. Сейчас уточним направление и двинемся.

— Я не смогу идти!

— Сможешь, — жестко ответил Пастухов.

Но Звягинцев вдруг отчетливо понял, что действительно не сможет пройти и нескольких шагов, и никакие усилия воли, никакая поддержка Пастухова ему не помогут.

— Вот что, старший политрук, — сказал он твердо. — Когда ночью ты отказался выполнить мой приказ, в этом, может быть, был какой-то смысл. Но теперь смысла нет. Я говорю тебе это серьезно. У меня плохо с ногой. Совсем плохо. Я не смогу идти. Один ты доберешься до батальона за час, самое большее — за два. И тогда пришлешь за мной бойцов. У тебя есть нож, сможешь делать засечки по дороге. Вернетесь сюда с носилками. Пять километров по лесу ты меня все равно не протащишь. Кроме того, никто, кроме меня или тебя, не может сообщить Суровцеву, о чем мы договорились в штабе дивизии. Я знаю, что тебе трудно сделать то, о чем я прошу. Но ты обязан. В конце концов это и для меня единственное спасение. У меня может начаться и гангрена. Если ты сейчас пойдешь, то к вечеру можешь вернуться за мной с бойцами. Ясно? А теперь ты найдешь поблизости хорошее укрытие, замаскируешь меня ветками и пойдешь один. Ну, решено?..

Пастухов ничего не ответил. Он встал, задрав голову к небу. В просвет между деревьями солнца не было видно, но лучи его отвесно падали на кроны деревьев, и листья там, наверху, стали ярко-зелеными.

Пастухов расстегнул ремешок часов, положил их на ладонь и, медленно поворачивая, направил часовую стрелку к солнцу. Потом глухо сказал:

— Малость сбились... Надо забирать севернее...

— Ну вот! — скорее обрадованно, чем с сожалением, воскликнул Звягинцев. — Значит, надо делать еще крюк! Не теряй времени, Пастухов, иди! Чем скорее ты пойдешь, тем быстрее вернешься обратно за мной.

Несколько минут длилось молчание. Звягинцев видел, что Пастухов мучительно старается взвесить, рассчитать все «за» и «против». Наконец, ни слова не говоря, он шагнул в чащу и исчез.

Через полчаса он вернулся, держа в руках наполненную чем-то пилотку.

— Значит, решим так, — сухо и деловито произнес он. — Здесь, метрах в десяти, есть ручей. Устрою тебя там. Захочешь пить — вода рядом. Здесь, — он тряхнул пилотку, — ягода. Кисленькая. Гоноболь называется.

Говорят, питательная. До вечера продержишься. К вечеру я вернусь. А теперь давай подниматься...

Он помог Звягинцеву встать.

Те несколько метров, которые Звягинцев прошел, волоча свою огнем горящую ногу, показались ему бесконечными. Он был весь мокрый от пота, когда Пастухов уложил его в узкую лощинку, в которую уже были набросаны трава и ветки деревьев. Рядом протекал маленький ручеек.

Пастухов высыпал ягоды рядом — так, что Звягинцев легко мог дотянуться до них рукой. Ноги и туловище его он укрыл ветвями. Потом выпрямился и сказал:

— Теперь слушай, Алексей. — Он впервые назвал Звягинцева по имени. — К вечеру я вернусь. Вернусь, чего бы это ни стоило. Ни в коем случае не меняй место. И будь спокоен. Лежи и ни о чем не думай. Понял? Со мной будут и бойцы с носилками, и санинструктор. Прощаться не стану. Как говорится, до скорого. Если сможешь — засни. И запомни: все будет в порядке. Это я тебе говорю!

Звягинцев проводил взглядом широкую спину Пастухова и, когда тот исчез меж деревьев, еще долго прислушивался к треску валежника под его ногами и к шорохам раздвигаемых веток.

Наконец все затихло. Теперь Звягинцев слышал лишь тихое журчание ручейка да шум деревьев, когда налетал ветер.

Он вытащил из кобуры пистолет ТТ, проверил обойму, вогнал в ствол патрон, снял с предохранителя и положил пистолет рядом на траву.

Как ни странно, но, оставшись один, Звягинцев несколько успокоился, — главной его тревогой была тревога за батальон, и, отправив туда Пастухова, он сразу почувствовал облегчение. Он снова попытался рассчитать расстояние, отделяющее его от батальона, чтобы хоть приблизительно определить, когда доберется туда Пастухов. Выходило, что самое позднее часа через три. Сейчас двадцать минут первого. Это значит, что в три, скажем, в четыре Пастухов будет на месте. Часам к девяти, то есть еще засветло, он должен вернуться обратно. В батальоне он возьмет карту и компас и обратный путь сможет проделать гораздо быстрее.

До слуха Звягинцева вновь донеслась далекая ружейная и пулеметная стрельба. Он встревоженно поднял голову, стараясь определить, откуда доносились звуки перестрелки, и несколько успокоился, убедившись, что стреляют где-то на юге.

Звягинцев стал смотреть на небо в просвет между деревьями. Оно было ослепительно-голубым, безоблачным. Казалось, мир и спокойствие царили вокруг, и только глухо доносившаяся далекая перестрелка напоминала, что где-то идет война и каждую минуту умирают люди.

«Любопытный человек этот Пастухов! — подумал Звягинцев. — Каждый раз, когда создается критическое положение, он ведет себя так, точно на нем одном лежит вся ответственность и именно он обязан найти выход из положения... Видимо, и в самом деле убежден, что является полпредом партии и имеет особые права!.. Нет, не права. Скорее только одно право: брать на себя бо́льшую тяжесть, чем остальные».

Звягинцев попытался пошевелить ногой. И тотчас же все его тело пронизала жгучая боль.

«А что, если... если ранение серьезное? Что, если начнется гангрена и ногу придется отнять?..»

На мгновение у Звягинцева появилась мысль самому осмотреть рану. Но он тут же понял, что делать этого не следует. Даже если ему и удалось бы снять то, что осталось от его сапога, разбинтовать ногу, то наложить новую повязку он все равно оказался бы не в состоянии... К тому же может снова хлынуть кровь. Нет, надо спокойно лежать и ждать возвращения Пастухова...

Звягинцев вытянулся, стараясь лежать расслабленно, не напрягаясь. Боль то исчезала, то снова схватывала ногу раскаленными клещами. И каждый раз, когда боль отпускала, Звягинцев старался внушить себе, что она уже не возвратится...

Теперь Звягинцев лежал как бы в забытьи. Его сознание, чувства притупились. Ему казалось, что время остановилось, что никакой войны нет, что он и Вера сидят на скамье парка и она спрашивает его, тяжело ли было тогда, на Карельском перешейке... И он отвечает ей, говорит, что да, было тяжело, трудно, а хочет сказать совсем о другом, хочет предупредить, что скоро начнется война, что ей никуда не надо уезжать из Ленинграда, что она не должна доверять этому парню, Анатолию, что немцы скоро возьмут Остров...

Потом перед глазами его проплыл Разговоров — неподвижный, с почерневшим лицом...

И вдруг ему почудился какой-то далекий шорох, точно хруст веток под ногами.

«Ну вот и Пастухов возвращается!» — подумал Звягинцев с радостью и облегчением, но подумал как бы во сне, будучи не в силах пошевелиться.

Хруст веток стал чуть громче. Огромным усилием воли Звягинцев заставил себя очнуться. Приподнявшись на локте, он прислушался. Было тихо. Он поспешно посмотрел на часы. Стрелки показывали пять минут второго. «Не может быть! Неужели с того момента, как ушел Пастухов, не прошло и часа!»

Он впился взглядом в маленький белый циферблат и вдруг понял, что часы стоят. Да, да, секундная стрелка застыла неподвижно, очевидно, он забыл вчера вечером завести часы.

Звягинцев поглядел вверх. Небо посерело, и листья деревьев там, на вершинах, были уже не ярко-зелеными, а темными.

В этот момент он снова услышал шорох. Кто-то шел, осторожно раздвигая перед собой ветви.

«Это Пастухов с бойцами», — радостно подумал Звягинцев. Он готов был уже крикнуть: «Пастухов! Я здесь, здесь!..»

И вдруг услышал голоса — обрывки каких-то непонятных слов, чей-то смех...

«Что они такое говорят?» — с недоумением подумал Звягинцев и вдруг с ужасом понял: это немцы! Это немецкая речь!

Да, это были немцы. Переговариваясь вполголоса, они приближались к тому месту, где лежал Звягинцев.

В первые мгновения его охватило отчаяние от сознания своей беспомощности, от страшной мысли, что

немцы сейчас увидят его... Он понимал, что все кончено, что судьба его решена, что он уже никогда не увидит ни своих бойцов, ни Пастухова, ни Веры, что через несколько минут он уже не будет жить и все для него исчезнет навсегда.

Но страх, оцепенение сменились холодной яростью. Медленно, стараясь не произвести шума, он потянулся к лежащему рядом пистолету. Ладонь его ощутила прохладную, шершавую рукоятку.

А немцы приближались. Он уже увидел их и готов был нажать на спусковой крючок, но вдруг понял: немцы пока не видят его.

Да, они проходили буквально в десяти шагах от лежавшего в неглубокой лощинке Звягинцева, не замечая его. Трое первых шли с автоматами в руках, двое несли на плечах легкие минометы, следом шли еще три автоматчика.

Немцы шли так близко, что Звягинцеву было слышно их тяжелое дыхание.

Приподнявшись и упираясь локтем о землю, чтобы удобнее было стрелять, Звягинцев держал пистолет наготове.

Но немцы так и не заметили его. Они прошли мимо и через какие-нибудь три-четыре минуты скрылись в лесной чаще. Еще какое-то время Звягинцев слышал их голоса, хруст валежника, потом все смолкло.

Этот переход от уверенности, что все кончено, что его ожидает смерть, к сознанию, что опасность миновала, был так внезапен, что Звягинцев в изнеможении упал на спину.

Когда он немного успокоился, то с ужасом подумал о том, что, видимо, немцам все же удалось где-то просочиться. Но где, на каком участке? Какими силами? И что делают здесь эти только что прошедшие солдаты? Прочесывают лес? Идут на соединение с другими группами?

Звягинцев снова прислушался. Но было тихо. Сумрак постепенно окутывал лес. Еще больше потемнело небо.

Звягинцев разжал онемевшие пальцы, кладя пистолет на землю. Ему захотелось пить. Он повернулся на живот и подтянулся к ручью. Вода была чистая, холодная, леденила зубы. Звягинцев сделал несколько глотков, потом зачерпнул ладонью воду, вылил себе на лицо. Снова лег на спину. Нащупал пистолет, чтобы был под рукой. Взял несколько ягод, положил в рот, разжевал.

«Который же теперь час? — подумал Звягинцев. — Пастухов должен был бы уже вернуться, если в батальоне все благополучно... Если все благополучно! Но может быть, он сбился с дороги? Или не застал на месте батальона? Или шел обратно с бойцами и натолкнулся на немцев?.. Надо ждать... Остается ждать, другого выхода нет».

Звягинцев стал смотреть вверх, в быстро темнеющее небо, где загорались далекие, еще неяркие звезды.

Постепенно его мысли снова унеслись далеко от этого леса, от ноющей ноги, от войны...

Он вспомнил свою мать, отца, начальника цеха большого уральского завода, увидел себя в форме выпускника инженерного училища, с гордостью рассматривающего в зеркале новенькие красные кубики в петлицах своей гимнастерки... Потом исчезло и это видение и появилось другое — снежные сугробы Карельского перешейка, оголенные ветки деревьев, качающиеся на ледяном ветру...

И вдруг он отчетливо, точно наяву, увидел Веру. Да, да, она стояла рядом, близко, совсем близко и одета была, как тогда, когда они встретились, чтобы ехать на Острова, — узкая из серой фланели юбка, тонкая вязаная кофточка, пестрая косынка, повязанная на шее крест-накрест...

Потом все исчезло. Звягинцев снова отчетливо услышал шорох приближающихся шагов. Он вздрогнул, торопливо нащупал пистолет, сжал рукоятку.

«Пастухов? Немцы?!» — стучало у него в висках.

Звягинцев напряженно всматривался в темные деревья, но никого пока не видел.

И вдруг кто-то буквально в нескольких метрах от него негромко сказал:

— Давай левее забирай, к поляне!..

«Свои, свои, русские!»

Звягинцев сделал резкое движение, чтобы подняться, и крикнул:

— Товарищи!

Шаги мгновенно затихли. Раздался лязг винтовочных затворов. Потом кто-то резким голосом спросил:

— Кто здесь? Всем оставаться на местах!

Это не был голос Пастухова.

— Всем оставаться, одному подойти сюда! — повторил невидимый за деревьями человек.

— Я ранен и подойти не могу, — ответил Звягинцев, все еще не выпуская из рук пистолета.

Раздался хруст валежника, шум раздвигаемых веток, и показался человек в брезентовой куртке, перепоясанной ремнем, в кепке, с карабином в руках. Он внимательно осматривался вокруг, все еще не видя лежащего в ложбинке Звягинцева.

— Я здесь, — снова подал голос Звягинцев.

Теперь человек в куртке увидел его. Он сделал несколько торопливых шагов к Звягинцеву, затем обернулся и крикнул:

— Давайте сюда, ребята! Здесь какой-то командир лежит!

Из темноты леса вышли еще два человека. Они тоже были в гражданской одежде, с карабинами в руках.

— Что с вами, товарищ? — спросил первый, опускаясь на корточки рядом со Звягинцевым.

— Я майор Звягинцев, — ответил он, — мое удостоверение здесь, в кармане гимнастерки. Ранен в ногу.

— Инструктор Лужского райкома партии Востряков, — скороговоркой ответил человек, переводя взгляд на ноги Звягинцева. — Как же вас угораздило, товарищ майор? И как вы здесь очутились?

Только теперь поняв, что спасен, Звягинцев почувствовал вдруг такую слабость, что почти потерял способность говорить.

С трудом произнося слова, он объяснил Вострякову, что случилось и как он оказался здесь.

— Все ясно, — сказал Востряков. — Идти совсем не можете? Наша группа находится метрах в трехстах

отсюда. Возвращаемся в Лугу. А пока вышли посмотреть, нет ли здесь немцев.

— Я... видел немцев... — с трудом ворочая языком, сказал Звягинцев. — Они прошли здесь не так давно... не могу точно сказать, когда... у меня часы остановились.

— Так, ясно, — проговорил Востряков, встал и, обращаясь к своим спутникам, спросил: — Ну, что будем с майором делать, товарищи! На руках понесем или как?

— Он, видать, совсем ослаб, — ответил один из них, рыжебородый, невысокого роста, приземистый, похожий на гриб. Потом отвинтил фляжку, склонился над Звягинцевым. — Хлебните-ка, майор.

С трудом приподняв голову, Звягинцев сделал большой глоток.

— Ну вот, первая помощь оказана, — удовлетворенно сказал бородатый, вставая и завинчивая фляжку. — Как, полегчало?

Звягинцев и впрямь почувствовал себя лучше.

— На ваше счастье, там у нас в группе врач оказался, — сказал Востряков. — И медикаменты кое-какие имеются. Решение примем такое. Ты, Голиков, — обратился он к рыжебородому, — и ты, Павлов, давайте обратно. Приведите сюда доктора. Пусть захватит с собой что полагается. А я останусь здесь с майором. Ясно?

— Куда яснее! — сказал бородач. — Пошли, Павлов.

Через минуту они исчезли.

— Товарищ Востряков, — сказал Звягинцев, — как могли тут появиться немцы? С тех пор как мы выехали из дивизии народного ополчения, прошли уже сутки...

— Мы были в тылу немцев, переходили обратно линию фронта прошлой ночью, — ответил, присаживаясь рядом, Востряков. — На том участке, где мы шли, было относительно спокойно. А потом, уже на своей территории, напоролись на фрицев, отошли тихо сюда, в лес. Очевидно, они выбросили десант. Группа небольшая, но с минометами.

— Ну, а как на Лужской линии? — нетерпеливо спросил Звягинцев, которому казалось, что с тех пор, как он оказался здесь, в лесу, прошла вечность.

— Об этом узнаем, когда к себе вернемся, — пожал плечами Востряков. Помолчал немного и добавил: — Партизаны говорят, что немцы подтягивают войска и технику.

Звягинцев не спрашивал Вострякова, зачем он и его люди ходили в тыл к немцам. Он понимал, что этот человек входит в одну из диверсионных или разведывательных групп, — Звягинцев уже несколько раз получал задание пропускать через минные проходы на юг такие группы одетых в гражданское людей. Поэтому он только сказал:

— Повезло мне, товарищ Востряков! Совсем было собрался концы отдать.

— Концы отдавать, товарищ майор, рановато. Нам еще с немцами разделаться надо.

— Ну, а как там, на той стороне?

— Плохо, — мрачно ответил Востряков. — Пытают, стреляют, вешают...

Он посмотрел на часы, спросил:

— Нога-то сильно беспокоит?

— Болит...

— Ну ничего, скоро наши врача приведут. Есть у нас врач. На той стороне подобрали. Перевязку сделает, укол, ну, словом, что по медицине полагается. А потом будем решать, как дальше двигаться.

— Но.. но я должен оставаться здесь! — с отчаянием сознавая, что неизбежно станет обузой для отряда Вострякова, сказал Звягинцев. — Мой замполит с бойцами именно сюда должен прийти!

— Ладно, майор, после решим, — успокаивающе ответил Востряков.

Некоторое время оба молчали.

Наконец из чащи леса снова донеслись шорохи, шум раздвигаемых веток.

— Ну вот и наши возвращаются, — сказал Востряков и встал.

Звягинцев хотел было возразить, что это, может быть, Пастухов с бойцами или снова немцы, но в этот момент увидел рыжебородого Голикова.

— Порядок, командир, доктора привел. Там наши сейчас носилки для майора сооружают, как сделают, подойдут. — Он обернулся и сказал в темноту: — Давайте сюда, доктор!

Звягинцев приподнялся, опираясь руками о землю, и увидел, что в трех шагах от него стоит Вера... В первое мгновение он решил, что это галлюцинация. Уверенный, что просто бредит, и в то же время не в силах сдержаться, он крикнул:

— Вера!

Девушка в порванном платье, в тяжелых сапогах, в косынке, по-крестьянски завязанной под подбородком, сделала несколько быстрых шагов к Звягинцеву, какое-то мгновение стояла растерянная, ошеломленная и наконец едва слышно проговорила:

— Алеша! Алеша...

Ему захотелось до конца убедиться, что все это не мираж, что рядом стоит Вера, живая, невредимая. Он рывком попытался встать, но тут же беспомощно упал на землю.

— Алеша, Алешенька, ты ранен, — торопливо сказала она, опускаясь на землю рядом со Звягинцевым, — сейчас я все посмотрю, все сделаю...

Как в полусне, Звягинцев слышал обрывки слов переговаривавшихся между собой людей, видел внезапно вспыхнувший тонкий лучик фонарика... С его ноги стали стаскивать сапог, и он потерял сознание. Когда Звягинцев пришел в себя, нога была уже забинтована. Вера сидела рядом с ним на чьем-то подстеленном ватнике. Она смотрела куда-то вдаль и не заметила, что он открыл глаза.

Взошла луна, и в ее свете было хорошо видно лицо Веры.

Звягинцев молчал, наслаждаясь тем, что может смотреть на Веру. Но чем больше он вглядывался в ее лицо, тем яснее видел, как изменилась Вера. Казалось, то страшное, что пережила она, навечно осталось запечатленным на ее лице, в ее глазах.

— Вера! — тихо позвал Звягинцев.

Она вздрогнула, повернула к нему голову.

— Ну как, Алеша? Лучше?

— Так хорошо, как еще никогда не было! — с горькой усмешкой и в то же время с нежностью в голосе ответил Звягинцев.

— Ранение, Алеша, не очень серьезное, но, наверное, болезненное. И крови потеряно немало. Сильное было кровотечение?

— К черту все это, Вера! Крови у меня достаточно, на двоих хватит. — Он взял ее за руку. — Ты мне еще ничего не рассказала о себе! Как ты здесь оказалась?

— Надо сказать товарищам, что тебе лучше, — не отвечая на его вопрос, сказала Вера, — они думают, что ты заснул...

Звягинцев повернул голову и увидел, что Востряков и Голиков сидят метрах в десяти от них.

— Подожди, — понижая голос, сказал Звягинцев. — Давай побудем хоть немного вдвоем... Послушай, ты же была где-то недалеко от Острова, когда началась война, верно?

— Да. Была, — проговорила Вера.

— Как тебе удалось уйти?

Какое-то время Вера молчала. Потом заговорила неожиданно сухо и отчужденно:

— Возвращалась домой из Белокаменска. Поезд разбомбили. Дошла до деревни. Ночью туда вошли немцы... Деревенские женщины переодели меня... вот в это платье. Потом немцы ушли вперед, на север... На другой день из леса появились партизаны. Несколько дней была с ними. Потом встретилась с отрядом Вострякова. Они взяли меня с собой. Обещали довести до Луги.

Вера говорила все это деревянным, бесстрастным голосом.

— Расскажи подробнее... Я хочу знать все, все, что тебе пришлось пережить! — не выдержал Звягинцев.

— Леша, прошу тебя, никогда не расспрашивай меня об этом! — не глядя на него, проговорила Вера.

— Но как же могло получиться, что ты... оказалась одна? А как же тот парень, Анатолий?

— Его нет, — глухо ответила она, — немцы его расстреляли.

— Что? — воскликнул Звягинцев. — Но... но он сейчас в Ленинграде!

Вера вздрогнула, точно от прикосновения раскаленного металла. Она резко обернулась, вцепилась обеими руками в плечо Звягинцева.

— Как?! Что ты сказал? Толя жив?!

— Ну, конечно, жив, — поспешно повторил он. — Он шел с юга вместе с нашими отступающими бойцами. Мы встретились на участке моего батальона.

— Нет, нет, этого не может быть! — точно в забытьи повторяла Вера. — Толя жив, это правда?! Ну почему ты замолчал? Где он сейчас? Где?

— Я же сказал тебе: в Ленинграде!

И вдруг он увидел, что по лицу Веры текут слезы.

И Звягинцев понял, все понял... Она по-прежнему любила Анатолия.

«Все, все по-прежнему!» — с горечью думал Звягинцев. Ему хотелось сказать ей, крикнуть: «Вера, милая, как же так? Ведь он бросил тебя, предал... Как можно такое простить?!» Но он молчал.

Наконец тихо сказал:

— Твой отец, Вера, здесь, неподалеку.

— Да? — еще не вникая в смысл его слов, сказала она и потом уже громче переспросила: — Папа здесь?!

— Он в дивизии народного ополчения. Комиссаром. Я его видел позавчера. Они стоят километрах... километрах в пятнадцати отсюда.

— А мама?

— Не знаю. Она по-прежнему в Ленинграде, но я не видел ее. Когда приедешь в Лугу, немедленно дай знать отцу, что ты жива. Востряков поможет тебе связаться.

Звягинцев говорил и слышал, как напряженно звучит теперь его голос. «Вот мы и встретились, — думал он, — вот и произошло все то, на что я уже почти не надеялся: она жива, она здесь, рядом. Я вижу ее. Могу дотронуться до нее рукой... Это счастье, что она жива. Но ее нет для меня. Снова нет...»

Он почувствовал страшную слабость и закрыл глаза.

...Звягинцев пришел в себя, только когда над ним склонился Пастухов, потряс его за плечи и крикнул почти в ухо: «Мы пришли, майор!» Звягинцев очнулся. Несколько мгновений, не понимая, смотрел на Пастухова, потом обхватил руками его шею, прижался щекой к его лицу...

— Как батальон? — торопливо спросил он.

— Все в порядке, майор, батальон на месте, пополнение пришло, пулеметы дали, батарею противотанковых прислали... Сейчас мы тебя погрузим и...

— Его надо в Лугу, в госпиталь! — вмешалась Вера.

— Нет, — резко сказал Звягинцев, — в батальон.

— Алеша, нельзя, — настойчиво сказала Вера, — за ногой нужен уход!..

— В батальон, — коротко повторил Звягинцев.

Глава X

После того как немецкие танки впервые попытались с ходу прорвать Лужскую линию обороны и были отброшены, части генерал-фельдмаршала фон Лееба снова и снова возобновляли атаки.

Фельдмаршал неоднократно обращался к своим войскам с приказами, в которых писал, что необходимо всего лишь одно, решающее усилие — и сопротивление русских будет сломлено.

Для того чтобы близость цели стала особенно ощутимой, кто-то из штаба фон Лееба предложил отпечатать и раздать командирам соединений и частей билеты с приглашением на банкет в «Асторию». Этот кусочек картона должен был служить призывом, наградой, выданной авансом, напоминанием. В армии ходили слухи, что приглашения отпечатаны по указанию самого Гитлера.

Однако все было тщетным. Неоднократные попытки прорвать Лужскую линию не приносили успеха.

Отдавал ли Гитлер себе отчет, что его план захвата Ленинграда оказался под угрозой? Доходили ли в Растенбургский лес правдивые сообщения о неудачах немецких войск на Лужской линии советской обороны?..

Самым любимым временем Гитлера был вечер — время ужина. Разумеется, не из-за еды: чревоугодие не принадлежало к числу его пороков, а заключительную трапезу фюрера, состоящую из чая с печеньем,

вообще трудно было назвать ужином. Он любил вечерние чаепития, потому что в эти часы ничто не ограничивало поток его красноречия.

Разумеется, Гитлер и во время ежедневных оперативных совещаний, которые проводились под его председательством в «Вольфшанце», мало считался с регламентом. Тем не менее там он чувствовал себя стесненным рамками обсуждаемых вопросов. По вечерам же Гитлер мог говорить сколько угодно и о чем угодно.

Чаепитие обычно затягивалось далеко за полночь: страдавший бессонницей Гитлер боялся приближения ночи и всячески старался оттянуть время сна. Поэтому он говорил, говорил долго, упиваясь собственными словами, на самые различные темы.

Мартин Борман, ставший после того, как Гесс оказался в Англии, ближайшим доверенным лицом Гитлера, уговаривал фюрера разрешить фиксировать и эти его высказывания, чтобы ни одно произнесенное им слово не пропало для истории.

Гитлер долго не соглашался. Он испытывал инстинктивное отвращение к звукозаписывающим аппаратам. Может быть, ему неприятно было сознавать, что та самая техника, которую гестапо широко применяло для подслушивания вызывавших подозрение людей, теперь будет использована для записи его собственных высказываний. Но, вернее всего, дело заключалось в другом. Гитлеру всегда были нужны слушатели, как кремню необходим камень, чтобы высечь искру. Сама мысль, что рядом может находиться бесстрастный аппарат, который будет улавливать все его слова, никак при этом на них не реагируя, была фюреру неприятна.

Но в июльские дни 1941 года, уверенный, что победа над Россией, знаменующая начало царствования «тысячелетнего рейха», стала вопросом ближайших недель, Гитлер пошел на уступки.

Разумеется, он не согласился на диктофоны. Однако дал разрешение на то, чтобы абсолютно доверенное лицо, стенограф с солидным стажем пребывания в национал-социалистской партии, присутствовал на вечерних чаепитиях и, сидя где-то в дальнем углу комнаты, незаметно делал свои записи для истории.

И вот со второй недели июля в столовой Гитлера по вечерам стал неизменно появляться невзрачный человек в эсэсовской форме по имени Генрих Гейм с толстой прошнурованной и скрепленной сургучными печатями тетрадью в руке.

Он приходил за пять минут до появления фюрера и уходил последним. Прямо из столовой он шел в специальную комнату, чтобы продиктовать свои записи одному из стенографов Бормана. Поздно ночью стенограмма ложилась на стол самому Борману. Тот читал ее, правил, ставил свою визу и сам подшивал в папку, которой — он не сомневался в этом — предстояло стать новым евангелием.

В последние дни Гитлер с вожделением ожидал наступления вечера, чтобы дать выход клокотавшему в нем фонтану мыслей, суждений, пророчеств. Сознание, что немцы движутся в глубь России, пьянило его. Это опьянение было столь велико, что 14 июля он издал директиву, предусматривающую «в ближайшем будущем» сокращение численности армии и перевод военной промышленности главным образом на производство кораблей и самолетов, для «завершения войны против единственного из оставшихся противников — Великобритании и против Америки, если об этом встанет вопрос».

Казалось, что «директиве» не хватает только вступительных слов: «Теперь, когда Германия одержала победу над Советским Союзом...» — чтобы стать документом, подводящим итог восточной кампании.

Но хотя Гитлер и его генеральный штаб в те июльские дни были опьянены победами и убеждены, что «отдельные трудности» на Восточном фронте — просто случайность, несмотря на все это, какая-то неясная тревога стала с каждым днем все более ощущаться в «Вольфшанце».

«Директива» Гитлера от 14 июля была рассчитана на то, чтобы заглушить тревогу в его ставке, подавить ее в самом зародыше.

Фюрер умел играть на противоречиях в мире, но умение это сочеталось у него с неспособностью к объективному анализу новой, непредусмотренной ситуации. Подобно пьянице, глушащему себя дополнительной долей алкоголя, чтобы побороть мучительное состояние похмелья, подобно безумцу, который не пытается обойти возникшую на его пути стену или вернуться назад, но с утроенным, хотя и тщетным усилием карабкается на нее, Гитлер знал только один путь — идти напролом. При всей своей хитрости и расчетливости он мыслил прямолинейно. Факты или явления, которые не укладывались в созданную им схему, Гитлер попросту отвергал.

В докладах руководителей генерального штаба начинали проскальзывать тревожные нотки. Но сам Гитлер не видел реальных причин для беспокойства. Разве фельдмаршал фон Бок с двумя полевыми армиями и двумя танковыми группами не преодолел сотен километров, отделяющих Белосток от Смоленска? Разве на севере фон Лееб с двумя полевыми армиями, танковой группой и 1-м воздушным флотом не находится вблизи Петербурга? Разве на юге три немецких и две румынских армии, венгерский корпус и немецкая танковая группа при поддержке 4-го воздушного флота не заняли почти половину Украины?!

Слушая руководителей своего генштаба, Гитлер выделял в их докладах только то, что ему хотелось: километры, пройденные немецкими войсками в глубь России, захваченные ими города и села, победы, победы, победы... Он не задавал себе главного вопроса: почему, несмотря на обилие побед, война, которая была рассчитана на месяц-полтора, еще так далека от завершения? Почему Бок потерял десятки тысяч солдат, сотни танков и самолетов под Смоленском? Почему войска фон Лееба не могут преодолеть Лужских оборонительных укреплений, созданных теми самыми большевистскими рабами, которые, по предсказанию Геринга, должны были разбежаться после первых же сброшенных на них бомб?

Разумеется, Гитлер знал и о затруднениях фон Бока на Центральном фронте, и о том, что наступление фон Лееба выдыхается.

Однако он не видел в этом тревожных симптомов,

считая, что это частные неудачи и причина их в нерадивости тех или иных генералов. Точно так же факты все возрастающего сопротивления, которое оказывали немецким войскам как советские солдаты, так и гражданское население, представлялись Гитлеру фактами случайными.

Но некоторые генералы его штаба уже в середине июля 1941 года были настроены менее оптимистично, чем фюрер.

Пройдет много лет, и те из них, которым удастся избежать нюрнбергской петли, бросятся в архивы, станут лихорадочно листать свои дневники, выискивая в них доказательства разногласий с Гитлером еще на ранней стадии войны.

Эти генералы начнут рисовать Гитлера диктатором, единолично ответственным как за то, что война вообще разразилась, так и за ее ведение. И это будет одним из самых разительных примеров фальсификации истории, какие знало человечество.

Нет, эти люди вместе с Гитлером не за страх, а за совесть не только разрабатывали планы фашистской агрессии, но и осуществляли ее. Разногласия, которые время от времени возникали между ними и фюрером, никогда не были разногласиями по существу. Они сводились к разным точкам зрения на то, как скорее разгромить Красную Армию, поставить Советский Союз на колени.

Однако если Гитлер был просто неспособен посмотреть в лицо реальным фактам, то сказать то же самое о всех его генералах было бы несправедливо.

В июле 1941 года они были еще очень далеки от тревожных обобщений и не сомневались в скорой победе. Но кое-кто из этих генералов уже отдавал себе отчет в том, что война на Востоке резко отличается от тех войн, что они вели на Западе. На совещаниях у Гитлера, в докладах руководителей генштаба все чаще проскальзывали фразы о «возрастающем ожесточении русских», о «вводе в бой новых советских резервов».

Эти фразы тонули, терялись среди других, проникнутых уверенностью и оптимизмом, однако Гитлер весьма раздраженно реагировал на них и не раз обрывал докладчиков, пытавшихся коснуться вопроса о трудностях на Восточном фронте.

Итак, на вечерних чаепитиях Гитлер отдыхал, давая простор своему болезненному воображению, поражая слушателей эквилибристикой своих мыслей. Но постепенно он превратил эти сборища в своего рода сеансы массового гипноза.

Гитлер был незаурядным актером. Он гипнотически действовал на слушателей. И тембр его голоса, спокойного в начале речи и достигающего истерического звучания в конце, и манера говорить, бесконечно повторяя каждый раз в слегка измененном виде одну и ту же мысль — ту самую, которую он хотел накрепко вбить в головы людей, — все было направлено на то, чтобы произвести наибольшее впечатление. Ему удавалось пробудить в зрителях самые низменные, самые темные инстинкты. Не к разуму и не к сердцу апеллировал Гитлер, а именно к этим низменным инстинктам.

Человеку, впервые попавшему за чайный стол Гитлера, могло показаться, что никаких целей, кроме желания поразить слушателей своей компетентностью в самых различных сферах, фюрер не преследует. Он рассуждал, точнее, изрекал категорические суждения о войне, религии, музыке, архитектуре, об апостоле Павле, большевиках, о короле Фаруке, о доисторических собаках, о том, какой суп предпочитали спартанцы, о преимуществах вегетарианства, о Фридрихе Великом и английском историке Карлейле...

Однако это не было просто вакханалией неорганизованной, болезненной мысли. Рассуждая, казалось бы, на самые отвлеченные темы, Гитлер преследовал определенную цель: подчинить окружающих своей воле, навязать им свою мысль, подавить любые их сомнения и колебания.

А наличие таких, пусть еще едва заметных, колебаний Гитлер в те дни уже ощущал, подобно чувствительному сейсмографу. И причиной их были задержка продвижения армейской группы фон Лееба и ожесточенное сопротивление русских в районе Смоленска, спутавшее все карты фон Бока.

Было еще и третье обстоятельство: 12 июля Англия и Советский Союз подписали соглашение о совместных действиях в войне против Германии.

Правда, сам Гитлер считал, что это соглашение не имеет никакого практического значения. Зная антикоммунистическую настроенность правящих кругов великих империалистических держав, Гитлер не верил в реальность союза между какой-либо из этих держав и Советским государством.

По этой же причине он не придавал значения и сообщениям германского посла из Вашингтона о том, что, по слухам, Белый дом склонен оказать Советскому Союзу материально-техническую помощь.

Гитлер был убежден, что любые попытки сколотить антигерманскую коалицию обречены на неудачу, поскольку предполагают объединение таких антагонистов, как Советский Союз, с одной стороны, и Соединенные Штаты и Англия — с другой.

Что же касается затруднений на Северном и Западном фронтах, то, хотя Гитлеру и казалось, что достаточно издать еще один приказ, произнести еще одну речь, сменить тех или иных офицеров и генералов, чтобы все снова пошло на лад, он тем не менее не мог не чувствовать, что затруднения эти оказывают определенное влияние на состояние умов руководителей генерального штаба.

...В тот день Гальдер и Браухич, выступая на дневном совещании с обзором военных действий, точно сговорившись, уделили немало времени действиям партизан в тылу немецких войск. Очевидно, оба они преследовали только одну цель: живописуя трудности на фронтах, косвенно оправдать фон Лееба и фон Бока, а следовательно, и самих себя за неудачи в районе Луги и Смоленска.

Однако Гитлер был взбешен, усмотрев в их словах чуть ли не прямую полемику со своими неоднократными утверждениями, что советское население покорно встанет на колени, как только избавится от страха перед большевистскими комиссарами.

И может быть, именно под впечатлением этого дневного заседания своей первой темой на вечернем чаепитии Гитлер избрал тему народных движений.

За большим овальным столом сидели Геринг, Геббельс и Гиммлер, Браухич и Йодль, Кейтель и Гальдер. Из непостоянных гостей присутствовал группенфюрер Вольф, который вместе с Гиммлером только что вернулся с охоты, устроенной для них в Судетах.

В дальнем, специально затемненном углу столовой расположился за отдельным столиком Генрих Гейм, стенограф.

Чай в тонкостенной, саксонского фарфора чашке давно остыл, а фюрер, откинувшись на высокую резную спинку стула, все говорил, сопровождая почти каждую фразу резкими взмахами рук.

Разумеется, Гитлер прямо не касался действий русских партизан или актов саботажа советского населения на захваченных немцами землях, — этим он показал бы, что его встревожили утренние сообщения. Длинно и сбивчиво он разъяснял своим слушателям разницу между национал-социалистским движением в Германии, фашистским — в Италии и любыми народными движениями в России.

На первый взгляд могло показаться, что фюрера интересует только исторический аспект вопроса. Оживленно жестикулируя, Гитлер утверждал, что фашизм в Италии, равно как и национал-социализм в Германии, — это возвращение к традициям Древнего Рима. Упомянув Древний Рим, он, точно забыв о первоначальной теме, произнес целую речь о том, что Римская империя погибла, подточенная христианством...

Однако сумбурность словоизвержения Гитлера была лишь внешней. Ибо внутренне его речь подчинялась своего рода логике. В основе ее лежала прямо не высказываемая мысль о том, что, подобно Римской империи, которая была смертельно больна, когда ее завоевали германские варвары, современная цивилизация — это порождение плутократии, еврейства, христианства — также смертельно больна и должна быть завоевана новой варварской силой — современными немцами.

Покончив с Римом, Гитлер вернулся к народным движениям и с еще большей экспрессией, поминутно ударяя ладонями по полированной поверхности стола, не обращая внимания на то, что от ударов расплескивается чай из стоящих перед гостями чашек, стал доказывать, что единственной организующей силой русских всегда была религия, а сейчас они эту силу утратили и, следовательно, обречены на гибель.

В этот момент он не видел, не замечал сидящих за овальным столом людей, слушающих его с подчеркнутым вниманием. Перед воспаленным взором Гитлера стояли картины боев под Смоленском и на Луге — кадры документальной кинохроники, не без задней мысли посланные ему Боком и Лееб̆ом с целью дать понять фюреру, сколь велико сопротивление русских и с какими трудностями приходится сталкиваться немецким войскам.

И вот теперь Гитлер хотел заставить всех проникнуться мыслью, что эти факты сопротивления всего лишь не имеющая значения случайность, поскольку русские лишены той силы, которая исторически сплачивала их.

Внезапно он умолк, точно его на всем скаку остановило невидимое препятствие, отер тыльной стороной ладони обильно выступивший на лбу пот и, наклонившись через стол к сидящему напротив Гиммлеру, глухо бросил:

— Дайте эскиз, Генрих!

Гиммлер вытащил из черной кожаной папки лист картона и протянул его Гитлеру.

Тот положил картон в центр стола и, указывая на него пальцем, сказал, на этот раз сухо и деловито:

— Я решил подготовить директиву о клеймении советских военнопленных. Это будет одновременно и акцией устрашения, и необходимой мерой на будущее, когда при новом порядке любой русский должен будет отличаться от немца и по чисто внешнему признаку. Как видите, клеймо имеет форму острого угла примерно в сорок пять градусов, расположенного острием кверху. Так, Гиммлер?

Рейхсфюрер СС, прибывший в ставку, чтобы доложить фюреру проект новых «специальных акций» на Восточном фронте, сосредоточенно кивнул.

— Я еще не решил, ставить ли этот знак на лбу пленного или на ягодице, — как бы размышляя вслух, проговорил Гитлер. — Знак будет наноситься посредством пинцета, имеющегося в любой воинской части. В качестве красящего вещества можно применять обычную тушь...

Гитлер сделал короткую паузу, снова откинулся на спинку кресла и с неожиданным пафосом воскликнул, глядя в потолок:

— Да! Мы варвары! Мы хотим быть варварами! Это для нас почетный титул! Мы хотим обновить мир! — Он с силой выталкивал из горла короткие, рубленые фразы. — Мир находится при последнем издыхании. Столетия, отделяющие меня от Аттилы, были всего лишь перерывом в человеческом развитии. Но сейчас связь времен восстанавливается!

Он обвел пристальным взглядом присутствующих, неожиданно улыбнулся и добродушным голосом хозяина спросил, обращаясь к группенфюреру Вольфу:

— Как прошла охота?

— Отлично, мой фюрер, — торопливо ответил Вольф, быстро опуская на стол чашку чая, из которой только что намеревался сделать глоток.

— На кого же вы охотились? — продолжал спрашивать Гитлер. — Львы, орлы?

— О нет! — почтительно улыбаясь, ответил Вольф. — Обыкновенные кролики.

— И это вы называете охотой на диких зверей? — неожиданно со злой иронией в голосе спросил Йодль.

Штабист до мозга костей, один из преданнейших Гитлеру генералов новой, нацистской формации, он тем не менее в эти минуты не мог отделаться от мысли, что обстановка, сложившаяся на фронте, была бы сейчас более актуальной темой для разговора, чем Древний Рим или охота на кроликов. Кроме того, Йодлю хотелось досадить Гиммлеру, который в столь ответственное время позволяет себе охотничьи развлечения.

— До некоторой степени, господин генерал, — неуверенно ответил Вольф.

— Может быть, это следовало бы назвать охотой на домашних животных? — не унимался Йодль, будучи не в состоянии справиться со своим плохим настроением.

— Спокойнее, спокойнее, Йодль! — проговорил до сих пор молчавший Геринг. — Не хотите же вы и в самом деле подвергнуть опасности жизнь рейхсфюрера СС, толкая его на единоборство со львами?! — Он громко, плотоядно рассмеялся, прихлебнул из чашки остывший чай и добавил: — В общем, охота, Йодль, не ваша профессия. Предоставьте судить о ней специалисту. Смею заверить, что хотя погоню за кроликами вряд ли можно назвать мужской охотой в подлинном смысле этого слова, тем не менее она бывает весьма забавной.

И он с улыбкой перевел свой взгляд на Гитлера.

Но тот, казалось, уже не слышал всей этой перепалки. Он сидел неподвижно, полузакрыв глаза, и только щеточка его усов над верхней губой чуть подрагивала.

Наконец он произнес как бы в забытьи:

— Кролики... если бы можно было перестрелять всех русских, как кроликов...

— К сожалению... — начал было сидящий рядом с Йодлем Гальдер.

Но едва он произнес эти слова, как Гитлер вздрогнул, точно очнувшись, быстро склонился над столом и, буравя генерала колючим взглядом своих маленьких глаз, зловеще спросил:

— Что «к сожалению», Гальдер?

Тот пожал плечами, опустил голову и негромко сказал:

— Я просто хотел заметить, мой фюрер, что стадо оказалось слишком большим...

Гитлер чувствовал, что его охватывает ярость. Значит, несмотря на то что еще несколько часов тому назад он резко осудил болтовню о сопротивлении русского гражданского населения, Гальдер снова осмеливается возвращаться к этому вопросу? Значит, слушая его, Гальдер, а может быть, и другие продолжали думать о неудачах Лееба и Бока?! Что ж, сейчас он поставит их на место, будет говорить напрямик!

— Что вы этим хотите сказать? — еще более накаляясь, повторил свой вопрос Гитлер. — Что у Бока не хватит собственных сил, чтобы развить наступление и захватить Москву? Да? Что ему надо помочь за счет юга или севера? Так вот: я не только не сделаю этого, но еще заберу у него часть танков, артиллерии и авиации и передам их фон Леебу! Мне нужен Петербург, можете вы это понять?! А что касается фон Бока, то я уверен, что у него достаточно войск, чтобы смять сопротивление русских и дойти до Москвы. Одной пехоты ему хватит для этого, если правильно ею командовать, — вот что я думаю!

Гитлер откинул свесившуюся на глаза прядь волос и обвел настороженно-подозрительным взглядом присутствующих.

— Вы абсолютно правы, мой фюрер, — заметил оправившийся от смущения группенфюрер Вольф. — В свое время Наполеон...

Он хотел продолжить свою мысль, но в это время Геббельс, до сих пор сосредоточенно помешивавший ложечкой чай, отчетливо произнес:

— Я считаю ссылку на Наполеона неуместной.

Взгляды всех, в том числе и самого Гитлера, обратились к этому черноволосому человеку с впалыми щеками. Он улыбался. Но все присутствующие знали, что улыбка Геббельса, столь часто играющая на его бледном лице, отнюдь не свидетельствует о хорошем настроении министра пропаганды. Подлинное настроение Геббельса выдавали его глаза — черные, острые. Сейчас Геббельс улыбался, но взгляд его, устремленный на группенфюрера Вольфа, был подозрительным и злым.

— Я вообще полагаю, — звонким голосом продолжал Геббельс, — что сравнивать Наполеона с нашим фюрером бестактно и совершенно не верно по существу. Роковая ошибка Наполеона заключалась в том, что он считал французов рожденными для мировой гегемонии. Французов, а не немцев! История не прощает таких ошибок.

Он на мгновение умолк, обвел присутствующих пристальным взглядом, точно желая убедиться, что никто не собирается ему возражать, и продолжал:

— Есть еще одно обстоятельство, делающее ссылки на Наполеона не только неуместными, но и вредными. Дело не только в том, что он потерпел поражение в России. Дело еще и в том, что с окончательным падением Наполеона связывается так называемый Священный союз, в который, как известно, входила Россия...

— Не понимаю, к чему вы клоните, Геббельс? — прервал его Гитлер, считавший себя высшим авторитетом в вопросах истории. — В Священный союз, кроме России, входили Австрия и Пруссия.

— Разумеется, мой фюрер, — покорно наклонил голову Геббельс, — и, согласно большевистской историографии, он считается глубоко реакционным. Однако я позволю себе напомнить, что к этому союзу впоследствии присоединилась и Франция, а Англия была непременным участником и вдохновителем всех его конгрессов. Итак, Россия, Франция и Англия... Мне кажется, что на фоне недавнего англо-русского соглашения эти ассоциации нам просто вредны. Следует учесть, что человеческая память несовершенна, а интерпретация истории часто меняется. Но имена, названия запоминаются твердо: Россия, Англия, Франция...

Теперь Гитлер уже хорошо понимал, к чему клонит Геббельс. По-видимому, и в самой Германии есть люди, принимающие всерьез это недавнее соглашение между Англией и Советским Союзом, эту фикцию, этот пропагандистский трюк. Неужели кто-нибудь действительно верит, что Россия в состоянии сейчас помочь Англии? А о том, чтобы Сталин мог рассчитывать на помощь Черчилля, вообще смешно говорить!..

Гитлер внимательно смотрел на Геббельса. Министр пропаганды всего лишь два часа назад прибыл из Берлина. Они даже не успели еще поговорить наедине.

Однако Гитлер знал: этот маленький хромоногий человек ничего не делает случайно. В преданности его он был убежден. Фюрер и сам любил своего министра пропаганды, если вообще был в состоянии кого-либо любить. Он считал Геббельса вторым, после себя, знатоком человеческой психологии. Ведь именно ему, Геббельсу, принадлежало авторство в выработке особой методологии пропаганды, принимающей в расчет все, кроме правды. Гитлер не забыл случай, когда три года

назад иностранные газеты подняли вой по поводу активно проводившихся тогда в Германии «специальных акций». Особенно часто они воспроизводили фотографию разбитого штурмовиками магазина на Бернауэрштрассе. Что же предложил сделать Геббельс? Не спорить по существу, не печатать опровержений. Просто опубликовать сообщение, что не только подобного магазина, но и такой улицы в Германии не существует!..

Да, Геббельс знает, что говорит и что делает. Этой болтовне о возможных союзниках России надо положить конец.

Гитлер обвел взглядом присутствующих и сказал:

— Министерство пропаганды должно принять меры против нелепых слухов. Священный союз был союзом единомышленников. Между русским царем, Талейраном и Меттернихом не было идеологической пропасти. Союз между Черчиллем и Сталиным? Ерунда, нелепость! Со стороны Черчилля это жест утопающего, стремление утешить население Англии мыслью, что у них теперь есть союзник. Эта свиная туша приползет к нам на коленях, как только мы возьмем Петербург, не говоря уже о Москве...

— Но есть еще Соединенные Штаты, — вполголоса заметил Геббельс, и это его замечание подлило масла в огонь.

— Рузвельт?! — воскликнул Гитлер. — Этот паралич-ный рамолик? Конгресс сбросит его при первой же попытке объединиться с большевиками! Да он и сам никогда не решится на это. И кроме того, надо знать психологию Сталина. У него не хватит ни смелости, ни хитрости, чтобы объединиться в одну упряжку с Черчиллем и Рузвельтом. Это было бы противоестественно! Кроме того, могу вам сообщить, что по моему приказу Риббентроп отправил в Токио телеграмму, в которой предлагается оказать всемерный нажим на японцев, с тем чтобы они немедленно открыли военные действия против Америки. Сама мысль о возможности антигерманской коалиции в этих условиях не больше чем утопия, блеф! Что же касается Наполеона...

Он замолчал, подумав: а к чему, собственно, Геббельс затеял весь этот разговор о Наполеоне? Допустим, что аналогии между сегодняшним англо-русским союзом и тем, что был создан после отречения Наполеона, сколь они ни бессмысленны, у кого-то могут возникнуть. Но при чем тут Наполеон?!

Гитлер дернул головой, провел ладонями по столу, как бы расчищая перед собой пространство, и повторил:

— Что же касается Наполеона, то он был слаб как человек. Кроме того, его доконало предательство... Великий человек может позволить себе все, но те, кто предают великого человека, заслуживают жестокой кары.

При этих словах узкие глазки Гиммлера за круглыми стеклами пенсне чуть расширились.

Гитлер махнул рукой, давая понять, что считает спор на исторические темы оконченным, перевел глаза на Гальдера.

— Нас отвлекли, и вы не ответили на мой вопрос, Гальдер. Вы ведь знаете: у меня хорошая память.

На этот раз начальник штаба сухопутных войск встал.

— Я хотел всего лишь высказать сожаление, мой фюрер, по поводу того, что русских на полях сражений значительно больше, чем кроликов в том лесу, где охотился рейхсфюрер СС вместе с группенфюрером Вольфом. По данным разведки, удалось обнаружить значительное скопление советских войск на центральном направлении.

— И это вызывает у вас опасение? — непроизвольно сжимая кулаки, холодно спросил Гитлер.

Он уже понял, что вечернее чаепитие испорчено, что вопросы, которые ему не хотелось поднимать здесь, тем не менее возникли, возникли против его воли.

— Не опасение, мой фюрер, нет, — поспешно ответил Гальдер. — Я не сомневаюсь, что фон Бок в состоянии захватить Москву, даже если его просьбы будут удовлетворены наполовину.

Гитлер раздраженно передернул плечами. После того как он, фюрер, выразил ясное намерение не только не усиливать группу фон Бока, но, наоборот, забрать из нее часть войск и техники для передачи фон Леебу, эти слова Гальдера, несмотря на почтительно-корректный тон, которым они были произнесены, показались ему возмутительными.

Гитлер резко встал.

— Я хочу, чтобы все собравшиеся за этим столом знали, — начал он тихо и сдержанно, хотя это стоило ему огромных усилий, — что Балтийское море и Петербург сейчас главная цель. Главная! Вы снова предлагаете усилить фон Бока. Но это элементарное, школьное решение вопроса! Я предлагаю усилить не Бока, а Лееба, забрав с этой целью у «Центра» третью танковую группу...

Он со злорадством отметил, как огорченно переглянулись Гальдер и Браухич, и повторил:

— Да, да, танковую группу, и не только ее! Я убежден, что и Восьмой воздушный корпус тоже надо забрать у Бока и передать Леебу!

Гитлеру доставляло удовольствие ощущать, как болезненно воспринимает эти слова Гальдер, и он продолжал еще более резко, имея в виду уже не только самого Гальдера, но и всех тех, кто позволял себе сомневаться в бесспорности любого из предначертаний фюрера:

— Вы должны раз и навсегда понять, что я никогда не переоценивал значение Петербурга как такового. С тех пор как я обратил свой взор на Россию, на ее земли и богатства, я думал прежде всего об Украине и о Кавказе. Эти цели стоят передо мной и сейчас. Далее. Я не хуже, чем вы, понимаю значение Москвы. И она будет взята! Взята после того, как падет Петербург, после того, как Рунштедт захватит Украину, отрежет Москву от хлеба и угля! Вас гипнотизирует Кремль! В своем ослеплении вы не можете понять, что, сосредоточив все силы на Москве, вы добьетесь лишь того, что Сталин отступит на восток, но отступит, сохраняя все свои северные и южные коммуникации, все источники снабжения! И кроме того, чтобы взять Москву сейчас...

Он вдруг смолк, оборвав себя на полуслове, поняв, что говорить то, что ему хотелось бы сказать, не следует.

А хотелось ему сказать, что он действительно не ожидал встретить такого сопротивления советских войск и что, согласившись усилить западную группировку фон Бока, он был бы вынужден ослабить войска Рунштедта и Лееба. А это, в свою очередь, не только сорвало бы

планы по захвату Киева и Петербурга, но дало бы возможность Сталину, не опасаясь за свои северный и южный фланги, сосредоточить еще большие усилия на обороне Москвы...

Но позволить себе сказать все это Гитлер не мог. Это значило бы дать понять присутствующим, что и на него, фюрера, произвели тяжелое впечатление трудности, возникшие у Лееба и Бока, что и он признает реальным фактом все растущее и совершенно не предусмотренное его планами сопротивление русских.

Поэтому, сделав короткую паузу, Гитлер воскликнул:

— Мы должны захватить Украину, мы должны превратить Балтийское море в немецкое! Но для этого надо взять Петербург и соединиться с финнами. Петербург и еще раз Петербург — вот что мне нужно сейчас! Передайте это фон Леебу, Йодль!

Но генерал Йодль, один из наиболее приближенных к Гитлеру военачальников, фактический руководитель его личного штаба, решался иногда возражать своему фюреру. Он мог себе это позволить, зная, что Гитлер не сомневается в его преданности.

Поэтому сейчас, после того, как именно к нему обратил свои последние слова Гитлер, Йодль встал и сказал:

— Боюсь, мой фюрер, что фон Лееб окажется не в состоянии выполнить этот приказ. Прорыв Лужской линии в центре, куда фельдмаршал бросил свои главные силы, пока что ему не удается. Я полагаю, что придется пересмотреть его оперативные планы и изменить направление атак, сосредоточив основные силы на востоке, в районе Новгорода, или на западе, под Кингисеппом. Но при всех условиях для любой перегруппировки потребуется время...

Слушать это Гитлер уже не мог. То, что даже Йодль ставил под сомнение возможность осуществления его плана в намеченный срок, привело Гитлера в ярость.

В эти минуты он уже неспособен был воспринимать какие-либо аргументы. Мысли его путались, на землистого цвета щеках появился слабый румянец, в уголках рта выступила слюна.

— Я... я... — задыхаясь, произнес Гитлер, наконец снова обретя способность говорить. — Я сам отправлюсь в штаб Лееба! Я докажу всем вам, всему миру, что Петербург может и должен быть взят в ближайшие дни!..

19 июля Гитлер издал «Директиву № 33», согласно которой наступление на Москву должно было вестись только силами пехотных дивизий. Что же касается танковых соединений, то им предписывалось повернуть — одной части на северо-запад, чтобы прервать коммуникации между Москвой и Ленинградом, а другой — на юг, в тыл группировке советских войск на Украине.

И хотя подлинной причиной появления этой директивы было опасение, что группы армий «Север» и «Юг» не в состоянии преодолеть все растущее сопротивление советских войск и решить поставленные задачи собственными силами, Гитлер делал вид, будто предложил новый, сулящий быстрый успех стратегический план.

Да, он знал, что в генштабе сухопутных войск далеко не все восхищены его новой директивой.

Браухич и Гальдер сознавали, что советское сопротивление ставит под угрозу срыва определенные планом «Барбаросса» сроки победоносного окончания войны. Они боялись наступления осенней распутицы и русской зимы, которая хотя и отдаленно, но уже маячила перед их глазами. Они считали, что захват Москвы означал бы и разгром основных советских войск. А уж если немецкой армии суждено встретить военную зиму, то где же лучше и удобнее всего перезимовать, как не в Москве?..

Но Гитлер придерживался иного мнения.

Только ли упрямство и самоуверенность сказались в его новой директиве?

Нет, в данном случае дело обстояло сложнее. Гитлеру был нужен хлеб Украины и уголь Донбасса. Он помнил и то, что именно в расчете на эти богатства помогли ему вооружить армию, открыли неограниченный кредит те люди, без финансовой поддержки которых была бы немыслима не только эта война, но и сам приход национал-социалистов к власти. Украина нужна была не только ему, Гитлеру. О ней вожделенно мечтали Крупп, Тиссен, Феглер — промышленники и банкиры, с которыми он заключил тайный союз почти два десятилетия тому назад.

Но чтобы закрепиться на Украине, захватить донбасский уголь и затем кавказскую нефть, нужно было отрезать эти южные районы от центра страны. Эту задачу должен был решить резким продвижением на юг Рунштедт.

А чтобы парализовать Москву, необходимо было лишить ее не только южных, но и северных коммуникаций. Поэтому Гитлер придавал столь большое значение скорейшему захвату Ленинграда.

...Поздно вечером 20 июля особый поезд Гитлера двинулся из Растенбургского леса в штаб генерал-фельдмаршала Риттера фон Лееба.

Поезд состоял из салона, штабного и двух спальных вагонов. Впереди двигался бронепоезд охраны, другой бронепоезд следовал сзади.

Впервые с начала войны Гитлер намеревался проехать по советской территории, ныне занятой немецкими войсками.

Пока поезд шел по Восточной Пруссии, Гитлер не подходил к окну. Приказав дать ему знать, как только колеса паровоза коснутся советской земли, он сидел за узким и длинным откидным полированным столом, склонившись над расстеленной оперативной картой группы войск «Север». Его неподвижный взгляд был устремлен на жирную черную точку, обозначавшую на карте Ленинград. Прямые и загнутые стрелы показывали направление ударов частей фон Лееба.

Теперь, когда ничто, кроме мерного стука колес, не нарушало тишину ночи, когда не было свидетелей, Гитлер сидел поникший, расслабленный, обмякший, весь поглощенный тревожными мыслями.

«Почему? Почему военное счастье изменило фон Леебу? — спрашивал он себя. — Ведь в течение первых двух недель войны почти все развивалось по намеченному плану. Так что же случилось теперь? Советские резервы? Но у них не могло быть резервов! Нелепо даже предполагать, что Сталин до сих пор не бросил на фронт все свои наличные войска, чтобы остановить обрушившуюся на его страну немецкую лавину, все

свои силы, за исключением тех, что скованы Японией на Дальнем Востоке. У русских не может быть никаких резервов! Так почему же фон Лееб топчется на этих скоропалительно созданных гражданским населением оборонительных рубежах? Тот самый Риттер фон Лееб, которого в свое время не остановила даже «линия Мажино», построенная первоклассными инженерами Франции?..»

Все эти вопросы в бессильной ярости задавал себе Гитлер, уставившись в гипнотизирующую его черную точку на карте.

И опять-таки именно потому, что этот человек был Гитлером, он мог найти только один ответ, только одно решение: «Сломить! Заставить! Приказать!» Снова фанатическая вера в свое «историческое предначертание», «миссию» заслонила в его сознании реальность фактов. Он задыхался от злобы к тем людям, которые оказались не в состоянии точно и беспрекословно выполнить его волю.

Он в раздражении стал думать о генералах генштаба, находящихся в плену чисто военных доктрин и неспособных мыслить политически. «Академики, службисты, школьники! Они не понимают, что, ставя перед Рунштедтом задачу немедленно захватить Украину и двинуться к Кавказу с его нефтяными богатствами, я одновременно преследую и военные и политические цели. Я не только получу хлеб, уголь и нефть, но заставлю Турцию безоговорочно связать свою судьбу с Германией. Да и лиса Маннергейм окончательно поймет, что ему нечего опасаться мести со стороны русских, если они будут окончательно отрезаны от своих жизненных ресурсов...»

Украина и Петербург — вот первостепенная задача! Следующей станет Москва. Но Москва, по артериям которой уже не будет течь кровь, Москва обессиленная, обескровленная, подобная дубу, все корни которого подрезаны. Ошибка Наполеона заключалась в том, что он наступал одной колонной, по одной вытянутой линии и дал возможность Кутузову отступать, сохраняя силу и мощь своей армии. Поэтому взятие Москвы принесло Наполеону не победу, а стало началом его гибели. Разумеется, ошибка Наполеона объяснима. Он не имел ни моторизованных сил, ни танков. И кроме того, он был только человеком...

В эти минуты Гитлер снова думал о себе как о полубоге, противостоять которому не может никто из простых смертных.

Он оторвал свой взгляд от карты, выпрямился, откинул голову. Да, он положит конец этому позорному топтанию фон Лееба на месте! Сам факт появления фюрера на фронте станет для войск источником нового наступательного порыва...

Так он сидел, размышляя под мерный стук вагонных колес, до тех пор, пока появившийся в салоне адъютант не доложил, что поезд вступил на землю, всего лишь считанные дни тому назад принадлежавшую Советам. Это сообщение заставило Гитлера вскочить, быстрыми шагами приблизиться к широкому окну. Он резким движением отдернул штору и приник лбом к толстому, пуленепроницаемому стеклу.

Там, за окном, не было ничего особо примечательного. В сумраке проносились мимо пустынные поля и рощи, наполненные дождевой водой воронки от фугасных бомб, покосившиеся колья с обрывками колючей проволоки, деревья с обрубленными артиллерией кронами. Промелькнули останки обуглившихся крестьянских изб, остов русской печи, пустые траншеи...

Но Гитлер ничего этого не видел. Он был опьянен сознанием, что колеса его вагона попирают советскую землю, ту самую землю, о которой он вожделенно мечтал почти двадцать лет.

В эти минуты все мысли, которые только что занимали его, отступили на задний план, исчезли. Он уже думал не о предстоящем свидании с фон Леебом, не о генералах своего штаба, а только о новой, великой империи немцев, по земле которой он теперь едет как властелин, как победитель. Мысли о «решительном повороте мира», о «потусторонней власти», которой некогда обладали древние германцы и которую ныне унаследовал он, «носитель магической силы», роились в разгоряченном мозгу Гитлера.

В полумраке июльской ночи он уже видел не выжженную войной землю, не обуглившиеся дома, не искореженные деревья, но построенные по его проекту дворцы вождей высшей расы в окружении стандартных поселений рабов...

Губы его беззвучно шевелились, глаза налились кровью.

Да, да! Тысячи немецких хозяев сосредоточат в своих руках всю экономическую, политическую и интеллектуальную власть! Они будут вести жизнь подлинных господ. У них будет много свободного времени, чтобы путешествовать по стране — шоссейные дороги протянутся от Гамбурга до Крыма, — они смогут часто бывать в Германии, восхищаться дворцами руководителей партии, военным музеем и планетарием, который он, Гитлер, построил в Линце, слушать мелодии из «Веселой вдовы», его любимой оперетты, охотиться, потому что наслаждение стрельбой объединяет людей... Таким будет начало германского тысячелетия... И все это наступит скоро, очень скоро! Ведь двадцати лет не прошло с тех пор, как в книге «Моя борьба» он указал Германии путь на Восток, указал, еще не имея ни партии, ни власти... И вот теперь мечта сбывается, и, чтобы достичь ее, нужно еще один-два сокрушительных удара...

Он отпрянул от окна, снова приблизился к карте, опять впился взглядом в черный жирный кружок с надписью «Петербург».

«Завтра, завтра!» — прошептал Гитлер, вспомнив о предстоящей встрече с фон Леебом.

На следующее утро в девять часов фельдмаршал Риттер фон Лееб в сопровождении трех генералов своего штаба поднялся в салон-вагон Гитлера.

Гитлер холодно протянул руку шестидесятипятилетнему фельдмаршалу, коротким кивком поздоровался с его спутниками, никому не предложил сесть и сам остался стоять.

Вот так, стоя, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, он слушал доклад Лееба.

Точнее сказать, он вообще не слушал его. Гитлер предложил фельдмаршалу доложить о состоянии дел лишь для проформы, ибо решения он уже принял сам.

Фон Лееб пытался объяснить фюреру, почему войска до сих пор не только не прорвали Лужской линии обороны, но на ряде участков были вынуждены даже отступить.

Гитлер остановил фельдмаршала нетерпеливым взмахом руки.

— Я не хочу всего этого слушать! — резко сказал он, и его плечо стало непроизвольно дергаться. — Я наградил вас рыцарским крестом. Я предоставил вам честь захвата второй большевистской столицы. Я поставил под ваше командование две армии и воздушный флот. А вы... вы стоите сейчас здесь — почти в двухстах километрах от того места, где вам надлежало быть! Вы...

Гитлер задыхался от охватившего его гнева. Фразы, слова беспорядочно срывались с его посиневших от злобы губ, хриплое клокотание доносилось из горла. Он стучал по столу кулаком, пинал ногой привинченный к полу стул, брызгал слюной...

Наконец Гитлер умолк.

Какое-то время он еще метался по салон-вагону, потрясая кулаками и, казалось, ничего не видя перед собой, но приступ ярости стал уже затихать. Гитлер остановился перед столом и, стоя спиной к фон Леебу и его генералам, холодно и отчужденно произнес:

— Петербург должен быть взят в самое ближайшее время. Только в этом случае советский флот в Финском заливе будет парализован. Если русские подводные лодки лишатся базы в Финском заливе и на балтийских островах, то без горючего они не продержатся и самого короткого времени. Кроме того, от захвата северных коммуникаций зависит бесперебойная подача нам руды из Швеции. А теперь слушайте мой приказ. К карте! — крикнул он резким, командным голосом.

Фон Лееб, еще не успевший оправиться от шквала угроз и оскорблений, сгорающий от стыда из-за того, что подвергся унизительному разносу на глазах у своих подчиненных, вздрогнул и, точно школьник, неожиданно вызванный к доске строгим учителем, поспешно приблизился к столу.

— Надо прекратить лобовые атаки Лужской линии, они вам не удаются. Ищите обходных путей. Бейте русских у Новгорода и Кингисеппа. Бейте, бейте со всей силой! Далее. Линия Москва — Петербург должна быть немедленно перерезана, — не глядя на фон Лееба, говорил Гитлер. — Здесь! — Он резко провел ногтем линию в районе Мги. — Отход русских войск с вашего фронта на другие фронты и к Москве должен быть исключен. Третью танковую группу вы направите сюда. — Он ткнул пальцем в черную точку и с трудом произнес сложное русское название: — Вышний Волочок. Именно здесь ей предстоит пересечь основную железнодорожную магистраль. Вы поняли? Вам предстоит в ближайшие дни развернуть решающие для всей нашей армии операции.

— Простите, мой фюрер, — поспешно сказал фон Лееб, — означает ли это, что наступление на Москву откладывается?

— Москва на сегодня является для меня понятием чисто географическим, — по-прежнему не глядя на фельдмаршала, ответил Гитлер. — Кроме того, вашей заботой является не Москва, а Петербург.

Он помолчал немного и продолжал:

— Очевидно, русские попытаются снова оказать упорное сопротивление. Сталину не может быть не ясно, что, потеряв Петербург, этот символ большевистской революции, он окажется на грани полного поражения вообще. Поэтому я жду от вас решительных действий, фон Лееб. Решительных! Подготовка к ним должна начаться тотчас же, как вы покинете этот вагон. Я хочу, чтобы вы не теряли ни минуты.

Несколько мгновений он молча буравил фельдмаршала неприязненным взглядом. Потом отвернулся и резко сказал:

— Это все. Идите.

Фон Лееб и его генералы молча направились к выходу.

— Подождите, — неожиданно остановил их Гитлер. — В вашем штабе должен находиться мой бывший адъютант, майор Данвиц...

— Майор Данвиц, — сказал, поворачиваясь, фон Лееб, — согласно его категорическому желанию был направлен в действующие войска. Он возглавлял группу прорыва и проявил чудеса храбрости при захвате Острова и Пскова. Получил легкие ранения в боях на Луге. Однако вчера мы получили приказ от генерала Йодля, и майор Данвиц вызван сюда. Он ожидает в моем штабе.

— Пришлите его, — сказал Гитлер.

Глава XI

Передовым отрядом танковой группы Хепнера, которому была поставлена цель с ходу прорвать в центре Лужские укрепления, командовал майор Данвиц. Именно он находился тогда в головном танке и, наполовину высунувшись из люка, обозревал местность, не подозревая, что через несколько минут его машине суждено подорваться на минном поле.

После того как танк загорелся, Данвицу удалось выскочить из машины и, катаясь по земле, сбить пламя со своего комбинезона.

Санитары вынесли майора с поля боя, и спустя несколько часов он оказался в полевом госпитале.

Данвиц страдал не от ранений — ни одна пуля не задела его, — не от ожогов, это были не очень сильные ожоги. Майора мучило сознание, что он попался в ловушку, расставленную ему русскими, погубил танк, не смог продолжать командовать своим передовым отрядом.

О том, что атака закончилась бесславно и что отряду, потерявшему шесть танков и не менее сотни солдат только убитыми, пришлось отойти, Данвиц уже знал.

В немецкой армии нашлось бы немало командиров, которые благодарили бы бога за то, что, получив легкие ранения в самом же начале сражения, вышли из боя, который закончился так бесславно, и таким образом избавились от ответственности за поражение.

Но майор Данвиц не принадлежал к их числу. Он переживал неудачу так, будто командовал своим отрядом до конца. Его мучило сознание невыполненного долга, тяжелой вины перед фюрером.

И хотя Данвиц понимал, что самому фюреру вряд

ли когда-либо станет известно об исходе атаки, которая, несомненно, была всего лишь небольшим эпизодом на гигантском фронте, это не приносило ему утешения.

Данвиц был фанатиком. В этой войне он не искал личной славы и почти не беспокоился за свою жизнь. Сознание, что он имел счастье общаться с фюрером, что является непосредственным исполнителем его воли, его предначертаний, приобщен к осуществлению великого плана создания «тысячелетнего рейха», было для Данвица само по себе высшей почестью, высшей наградой. Среди солдат и офицеров немецкой армии, среди членов нацистской партии, охваченных жаждой власти, личного обогащения и страхом за свою жизнь, таких людей, как Данвиц, было немного. Но они были.

Лежа в госпитале, расположенном в маленьком полуразбитом городке севернее Пскова, Данвиц снова и снова мыслями своими возвращался к тому, что произошло.

«Как же, как все это случилось?!» — в десятый, в сотый раз спрашивал себя Данвиц. Надо было не сворачивать в объезд того взорванного участка дороги, а остановиться, вызвать саперов и проверить, нет ли впереди мин. Он сам подверг бы серьезному дисциплинарному наказанию командира, который не проявил бы столь элементарной предусмотрительности. И тем не менее факт оставался фактом: не кто иной, как он, Данвиц, завел танки на минные поля русских. По его вине Германия лишилась нескольких танков, десятков солдат. Он не только не приблизил победу фюрера, но отдалил ее. Пусть в конечном итоге всего лишь на час, пусть на несколько минут, но отдалил. И этот вот офицер, лежащий на соседней койке, тоже, может быть, умирает по его вине...

Когда Данвица поместили в эту маленькую, двухкоечную комнату, капитан уже лежал здесь. Его хотели убрать, перенести в общую офицерскую палату, чтобы создать максимум удобств для Данвица. Видимо, слух о близости майора к фюреру уже проник сюда, в госпиталь.

Данвиц возмущенно сказал, что вышвырнет любого, кто посмеет побеспокоить капитана, и того решили не трогать, тем более что, как сообщил Данвицу на ухо главный врач, капитану осталось жить совсем уж недолго.

И вот Данвиц лежит на узкой госпитальной койке, не притрагиваясь ни к бутылкам со шнапсом и французским коньяком, ни к плиткам голландского шоколада, заботливо разложенным на прикроватном столике, лежит, погруженный в свои горькие мысли.

Считанные дни остались до 21 июля — той даты, которая была назначена для банкета в ленинградской «Астории». Билет на этот банкет лежит в боковом кармане его кителя вместе с офицерским удостоверением, вместе с фотоснимком той самой гостиницы...

Данвиц потянулся к стулу, на спинке которого висел его китель, забинтованными пальцами с трудом вынул из кармана открытку.

Вот она, справа, эта «Астория», — серое пятиэтажное здание.

И вдруг Данвицу показалось, что он видит у этого здания самого себя. Он закрыл глаза, представил, как подходит к застекленной двери, небрежно показывает застывшим по обе стороны подъезда эсэсовцам в черных мундирах билет на банкет. Ему почудилось, что он слышит, как щелкают каблуками сапог часовые, видит, как распахивается перед ним зеркальная дверь...

Данвиц открыл глаза, снова устремил взгляд на открытку.

«Боже, — подумал он, — как все это близко, совсем рядом, и как еще далеко!..»

Да, далеко. Еще далеко, потому что он, Данвиц, не выполнил приказа фюрера. Допустил преступную оплошность, доверился своей разведке, утверждавшей, что, кроме случайной легковой автомашины, ей не удалось обнаружить никаких следов противника. Успокоился. Потерял бдительность. Внушил себе мысль, что русские их ждут только на оборонительной полосе на реке Луге. Не придал значения взорванным участкам дороги. Не вызвал саперов. Стал виновником гибели своих солдат. Потерял шесть танков...

Сознавать это было для Данвица нестерпимой мукой, перед которой отступала боль обожженных рук.

— Вы спите? — негромко спросил он, желая убедиться, что капитан, переставший стонать, еще жив.

Он увидел, как зашевелились, сначала беззвучно, черные, опухшие губы в просвете между бинтами. Прошло какое-то время, и Данвиц услышал слова:

— Кто это? Вы, доктор?

— Нет, нет! — теперь уже громче сказал Данвиц. — Я офицер, ваш сосед по палате... Тоже ранен...

Ему стало стыдно, когда он произнес эти последние слова, они прозвучали как приглушенное самооправдание.

— Ну... а я... умираю...

— Чепуха, друг! — воскликнул Данвиц, приподнимаясь, чтобы лучше видеть капитана. — Я спрашивал врача. Он убежден, что все, что вам грозит, — это проваляться здесь с месяц...

— Нет, нет... не надо, — проговорил капитан, и казалось, что слова эти осязаемо отделяются от его черных губ.

Снова наступило молчание.

— Где мы? — спросил капитан.

— В госпитале, — поспешно ответил Данвиц.

— Где?..

— А-а, понимаю! Я не знаю, как называется этот русский городишко. Не мог запомнить. Трудное название. Где-то километрах в тридцати севернее Пскова.

— Пскова? — с каким-то страхом в голосе переспросил капитан. — Но ведь Псков давно был... взят... Значит... мы еще не у Петербурга?

Капитан лежал неподвижно, почти до подбородка прикрытый одеялом, и забинтованная голова его безжизненно возвышалась на подушке.

Данвицу показалось, что капитан о чем-то напряженно думает, пытаясь что-то понять и осмыслить.

И, как бы подтверждая эту его догадку, капитан снова заговорил:

— Прошу вас... сообщить семье... адрес... адрес запишите...

— Перестаньте, капитан! — воскликнул Данвиц. — Ведь я же вам сказал...

— Адрес!.. — повторил капитан.

— Хорошо, — согласился Данвиц, — я запишу ваш адрес, но только для того, чтобы сообщить, что вы находитесь на излечении в госпитале. Говорите.

Он не мог зажать своими перебинтованными пальцами карандаш, но был уверен, что и так запомнит адрес капитана.

— Диктуйте, — повторил Данвиц.

— Берлин... — с трудом произнес капитан, — Бизодорф, шестнадцать... Вильгельм Миллер...

— Миллер? — с изумлением воскликнул Данвиц. — Вилли Миллер? Это вы? Но это же я, Данвиц, майор Арним Данвиц!

Он отшвырнул ногой одеяло, вскочил с кровати...

Ему показалось, что голова Миллера чуть дернулась. Губы его беззвучно шевелились. Наконец капитан проговорил:

— Ну вот... господин майор... ну вот... А я умираю.

Данвиц подбежал к двери, пинком ноги открыл ее, выскочил в коридор.

— Врача!

Прибежал врач.

— Ему плохо! — крикнул Данвиц, но врач, видимо, не понял его.

— Кому? Вам, господин майор? — с явным испугом в голосе переспросил он.

— Нет, не мне, а ему, капитану!

— Но, господин майор, — понижая голос и притворяя дверь в палату, проговорил врач, — этот человек обречен! Тяжелыми ожогами повреждено почти тридцать процентов поверхности его кожи. У него развивается сепсис...

— Я... я... если он умрет... я перестреляю вас всех, тыловые крысы! — кричал Данвиц, сам не сознавая, что говорит, не замечая, как мгновенно побледнело полное, лоснящееся лицо врача. — Я вызову гестапо! Я сообщу фельдмаршалу! Я доложу фюреру!

— Но... но, господин майор, умоляю вас, поймите, — лепетал врач, — мы бессильны... ожоги четвертой степени.. Это чудо, что он до сих пор жив...

Усилием воли Данвиц взял себя в руки. Стараясь не встречаться взглядом с врачом, глядя лишь на его трясущийся подбородок, он сказал высокомерно и холодно:

— Это мой офицер, понятно?! Он штурмовал Лужскую линию. Вы должны сделать все, что можно... Ясно?

В то время как Миллеру делали уколы, меняли кислородную подушку, Данвиц неподвижно лежал на своей койке.

«Это я, я его убил, — думал он, — моя оплошность, мое легкомыслие, моя уверенность, что никто и ничто не в силах нас остановить... Этот Миллер не был кадровым офицером. До войны работал на автомобильном заводе. Инженер по специальности. Его призвали в армию в тридцать девятом. Участник боев на Западе. Имеет Железный крест...»

Он, Данвиц, никогда не выделял капитана среди других офицеров. Отношения их были чисто служебными. Кроме того, Миллер был типичным интеллигентом, а Данвиц не любил интеллигентов.

Но теперь он воспринимал этого невысокого, светлоглазого человека, вежливого, так и не отвыкшего на военной службе от постоянных «битте шён» и «данке шён», но вместе с тем дисциплинированного и смелого, как своего лучшего друга. О приближающейся смерти Миллера он думал с ужасом, как о жестокой каре самому себе.

Подумать. только! Меньше ста пятидесяти километров отделяли его, Данвица, от Петербурга, когда он со своими танками и мотопехотой приблизился к Лужской линии. В предыдущие дни ему удавалось проходить с боями по двадцать — двадцать пять километров. Если бы он сумел сокрушить Лужскую оборону русских и сохранить прежний темп наступления, то 21 июля сидел бы за банкетным столом в «Астории».

Но до обозначенного в пригласительном билете дня осталось меньше недели, а он, Данвиц, лежит на госпитальной койке более чем в двухстах километрах от проклятого Петербурга... И рядом умирает офицер его отряда, а сам отряд не только не продвинулся вперед, но и отброшен русскими южнее тех рубежей, с которых начал свою злополучную атаку.

«Так ли я представлял себе эту войну какой-нибудь месяц тому назад? — спрашивал себя Данвиц. — Она рисовалась мне романтически кровавой битвой. Я видел себя современным Зигфридом, шагающим по колено во вражеской крови. А здесь грязь и болота. Солнечный зной и выжженное пространство. Пули не только в бою, пули из-за каждого угла».

И вдруг Данвицу показалось, что он стоит на зеленом ковре в кабинете Гитлера в Бергхофе. Он снова видел все до мельчайших подробностей: покрытую голубыми изразцами печь, книжные шкафы справа от письменного стола фюрера, настольную лампу с красным абажуром, кресло, обтянутое голубой кожей, то самое окно, у которого он стоял так недавно, — огромное, почти во всю стену стекло, разделенное переплетами на бесчисленное количество квадратов, горы вдали, покрытые вечным снегом...

«Я не выполнил приказ, — подумал Данвиц. — Обманул доверие фюрера».

«В путь, майор Данвиц! — прозвучал в его ушах голос Гитлера. — В путь, господин майор Данвиц!» Но почему «господин майор Данвиц»? Фюрер не мог так сказать.

Прошло несколько секунд, пока Данвиц понял, что слышит не фюрера, а капитана Миллера. Капитан попрежнему лежал на спине неподвижно, но с губ его срывались настойчивые слова: «Господин майор Данвиц... Вы здесь, господин майор?..»

— Я здесь, Миллер! — поспешно ответил, приподнимаясь на локте, Данвиц. — Вам лучше, Вилли?

— Это уколы, господин майор... Со мной все кончено. Я слышал ваш разговор с врачом... там, за дверью... Но все это уже не играет роли. Сейчас мне очень хорошо... я так ждал этого часа...

— Ждали, Миллер? — недоуменно переспросил Данвиц.

— Да, да. Хотя бы одного часа без шума боя, хотя бы одного отрезка дороги без запаха смерти и пожаров... Вы знаете, что мне сейчас хочется услышать?.. Сейчас, пока еще не все кончено?.. Смех ребенка...

«Он бредит», — подумал было Данвиц, но тут же отбросил эту мысль: ни разу еще за все эти часы капитан не произносил слова столь отчетливо и осмысленно.

— Я хочу спросить вас, господин майор, — снова заговорил Миллер, — почему все это произошло?

— Мы подорвались на их минных полях, Миллер, — ответил Данвиц, и снова горькая мысль о своей вине вытеснила из его сознания все остальное.

— Ну... а другие? — спросил Миллер.

— О чем вы, капитан? — не понял его вопроса Данвиц.

— Другие... прошли?

— Не знаю точно, Миллер, — ответил Данвиц, сознавая, что говорит неправду, и радуясь, что капитан не может видеть его лица. — Во всяком случае, одно несомненно — мы будем в Петербурге и выпьем вместе с вами в «Астории» за победу.

— Нет, — тихо произнес Миллер, — я уже не выпью...

Он помолчал немного. Было слышно его тяжелое, хриплое дыхание. Потом вдруг спросил:

— А вы, майор, уверены?..

— Конечно, уверен, Вилли,— поспешно ответил Данвиц. — Вы будете жить, вы же сами чувствуете, что вам лучше!

— Я не о том... Вы сами, Данвиц, уверены, что... будете пить в «Астории»?

Данвиц вздрогнул. Его первой мыслью было ответить резко, но тут же он понял, что было бы чрезмерно жестоко говорить так с человеком, уже стоящим одной ногой в могиле.

— Мы будем в «Астории», Миллер, — спокойно, но строго, точно уговаривая ребенка, повторил он, — и вы и я.

— Вы никогда не видели, как бурят землю? — точно не слыша его слов, спросил Миллер. — Я видел. Сначала бур идет легко... потом все труднее... потом буры начинают ломаться, крошиться... все чаще... и, наконец, наступает предел...

— Перестаньте, капитан, — на этот раз уже резко сказал Данвиц, — я понимаю, вы серьезно ранены и...

— Нет, нет, господин майор, дело совсем в другом, — настойчиво и как бы отмахиваясь от его слов, произнес Миллер. — Нам просто казалось, что эта земля... очень мягкая... А это был только первый, поверхностный слой... а дальше... дальше гранит...

— Перестаньте! — крикнул Данвиц. — Я приказываю вам замолчать!

Он почувствовал, как загорелось его лицо, как неожиданно снова вспыхнула боль в кистях рук.

— Я замолчу, Данвиц... я очень скоро замолчу навсегда... — тихо сказал Миллер.

— Спите, Миллер, вам нельзя много говорить, — глухо произнес Данвиц, — надо спать. Я сейчас потушу свет...

Он понимал, что покрытые толстым слоем ваты и марли глаза Миллера не могут видеть света. И тем не менее он тыльной стороной забинтованной руки нажал на рычажок выключателя стоящей рядом, на тумбочке, лампы. Комната погрузилась во мрак.

Так Данвицу было легче. Он больше не видел лежащую на подушках, похожую на спеленатый обрубок голову Миллера. Ему казалось, что темнота не только скроет от него капитана, но и заглушит его голос, его слова, срывающиеся с черных, распухших губ.

Он снова лег на спину, вытянул руки. И вдруг подумал о своем дневнике. Том самом, что начал вести там, в Клепиках... Тонкая, в клеенчатой обложке тетрадь лежала в его планшете. Только четыре страницы успел заполнить в ней Данвиц. Он писал о победах. О расстреле т о г о чекиста. О слизняке-мальчишке, чье поведение лишь подтвердило предсказание фюрера. О наслаждении чувствовать себя хозяином на чужой земле, знать, что жизнь и смерть ее обитателей зависят только от тебя...

Но сейчас Данвиц думал не о победах. К нему вернулось чувство смутной тревоги, которое владело им, когда он сидел в той комнате, где раньше размещалось правление колхоза, под портретом Сталина, пронзенным немецким солдатским ножом, и глядел на еще не высохшее кровавое пятно на полу...

Это была даже не тревога, нет, а скорее недоумение, непонимание. Зачем, ради чего взорвали себя те русские солдаты в бункере? Зачем отравил колодец тот крестьянин, которого он, Данвиц, приказал повесить там же, на колодезном журавле?.. Что же руководило ими? Тупость? Страх? Отчаяние? Или... Как он сказал, этот несчастный Миллер, — «второй слой»?..

Нет, нет, чепуха, предсмертный бред. Просто эта война не для таких, как Миллер. Она для тех, у кого железные нервы. Для тех, кто не знает жалости. Для тех, кто подчинил все свои желания, всю волю, всю жизнь великим целям фюрера!

В темноте ночи Данвицу снова показалось, будто он видит перед собой Гитлера, видит таким, как тогда, в минуты прощания...

«Фюрер!.. — мысленно произнес Данвиц. — Я хочу спросить вас... Почему, потеряв столько земли и столько своих солдат и офицеров, русские все еще сопротивляются? Как удалось им задержать наши войска на Луге? Я знаю, мой отряд потерпел поражение по моей вине. Ну, а другие части? Ведь, по слухам, на этом участке не удалось продвинуться никому. Ни танкам, ни пехоте — никому! В чем же тут дело? Подоспели резервы? Или... или «второй слой»?..»

Он оборвал себя. На какую-то долю секунды ему показалось, что Гитлер и впрямь может услышать его слова.

Фюрер все еще стоял перед глазами Данвица. Ему чудилось, что Гитлер что-то говорит. Потом исчезло и это... Данвиц снова лежал в кромешной тьме. Она давила его, окружала со всех сторон, точно броня танка.

«Нет, нет, все это неправда! — повторял про себя Данвиц. — Не может быть никакого «второго слоя», ты не прав, Миллер. Фюрер предусмотрел все. Если бы ты имел счастье говорить с ним, то одного его слова было бы достаточно, чтобы...»

— Капитан Миллер! — негромко произнес Данвиц.

Ответа не было.

«Он заснул», — подумал Данвиц. Ему захотелось вдохнуть в капитана бодрость духа. Убедить, что все его мрачные мысли лишь от боли, от горечи поражения...

— Миллер! — уже громче позвал Данвиц.

Но капитан молчал.

В темноте Данвиц нащупал настольную лампу. Долго возился с выключателем, наконец зажег свет.

Капитан лежал неподвижно.

— Миллер, Миллер! — снова повторил Данвиц, чувствуя, как его охватывает страх.

Он вскочил с постели и склонился над капитаном. Прошло не менее минуты, прежде чем Данвиц понял, что Миллер мертв.

На следующий день Данвиц потребовал от главного врача немедленной выписки.

Майор медицинской службы возражал. В душе он все еще побаивался этого сумасбродного офицера, который пригрозил сдать в гестапо или перестрелять весь медицинский персонал госпиталя. Но было обстоятельство, которое теперь помогало врачу держаться уверенно: утром позвонили из штаба самого генерал-фельдмаршала с указанием держать майора в госпитале до полного его выздоровления. Приказ было велено сохранить от майора в тайне.

В течение нескольких минут врач почтительно, но вместе с тем настойчиво объяснял Данвицу, какие тяжелые последствия могут иметь плохо залеченные ожоги рук, что в том состоянии, в каком находится сейчас господин майор, он никакой пользы на фронте принести не сможет...

Говоря все это, врач внимательно наблюдал за Данвицем, опасаясь внезапной вспышки гнева, но тот слушал его молча.

От врача не укрылось, что майор вообще как-то переменился за эту ночь. Очевидно, смерть Миллера сильно на него подействовала. На лице Данвица лежала печать усталости и даже равнодушия ко всему, что его окружало.

Выслушав врача, он произнес только одну фразу:

— Я должен... понимаете, должен быть в своей части!

В душе врач не поверил Данвицу. За эти недели войны он уже успел насмотреться на раненых офицеров разных званий. Редко кто из них торопился обратно на фронт. Создать впечатление готовности немедленно встать в строй и при этом возможно дольше задержаться в госпитале — к этому сводились их истинные стремления.

Убеждение, что он раскусил тайные намерения Данвица, придало врачу еще большую уверенность. В конце концов кричать и грозить расстрелом — это одно, а самому лезть под пули — совсем другое.

— Нет, нет, господин майор,— с улыбкой, но твердо сказал врач, — это невозможно! Вы должны остаться у нас до полного выздоровления. И кроме того... на фронте сейчас... временные затруднения. Судя по словам поступающих к нам раненых офицеров, в районе Новгорода нашим частям пришлось отойти... Разумеется, через несколько дней все снова пойдет на лад. К тому времени и вы будете здоровы, и тогда...

О том, что этого ему не следовало говорить, врач сообразил лишь в следующую минуту, когда перебинтованная рука Данвица медленно поползла к правой части живота, где обычно висел на ремне пистолет. Но сейчас Данвиц был одет в пижаму...

— Негодяй... мерзавец! — проговорил Данвиц так тихо, что врач даже не сразу понял значение этих слов. — Вы хотите сказать, что...

...К вечеру в кителе, наброшенном на плечи, с обеими руками на перевязи Данвиц, поддерживаемый приехавшим за ним адъютантом, выехал в свою часть.

— Здравствуй, мой Данвиц! — воскликнул Гитлер, увидя застывшего в дверях салон-вагона майора. Левая рука Данвица все еще была на перевязи, а кисть правой покрывала марлевая повязка. — Входи! — Гитлер сделал несколько шагов навстречу приближающемуся Данвицу.—Ты был ранен? Знаю. Расскажи... Впрочем, это потом.

Он прошел мимо майора, едва заметно волоча ногу, приблизился к двери и, полуоткрыв ее, тихо сказал кому-то несколько слов. Затем вернулся обратно и остановился против застывшего в центре салона Данвица.

— Я награждаю вас, майор Данвиц, орденом Железного креста! — торжественно произнес Гитлер.

Данвиц услышал за своей спиной чьи-то шаги. Гитлер через его плечо взял протянутый ему адъютантом поблескивающий черно-серебристой эмалью крест и приколол его к кителю Данвица. Он хотел торжественно пожать Данвицу руку, но, сообразив, что майор не может ответить на рукопожатие, потрепал его по плечу. Затем отошел на шаг и удивленно спросил:

— Почему ты молчишь?

— Мой фюрер! — тихо, но твердо произнес Данвиц, глядя прямо в глаза Гитлеру. — Я не заслужил этот орден. Мой отряд отступил. Мой танк был подбит. Я получил ожоги и выбыл из строя...

Несколько мгновений Гитлер пристально смотрел на стоящего перед ним офицера. То, что Данвиц в ответ на оказанную ему великую честь не поблагодарил своего фюрера, не понравилось Гитлеру.

Но может быть, дело просто в скромности Данвица, в желании майора подчеркнуть, что вряд ли кто-нибудь вообще достоин чести получить орден непосредственно из рук фюрера?

— Ты храбро воевал, — снисходительно сказал Гитлер, — и в ближайшие дни у тебя будет возможность доказать, что ты достоин полученной награды. Сядь.

Он подвел Данвица к креслу, заставил сесть. Затем, почти не поднимая ног и шурша подметками сапог о ворсистый ковер, прошелся взад и вперед по вагону.

— Мне нужен Петербург, — проговорил он, останавливаясь перед креслом, в котором сидел теперь Данвиц. — Но он до сих пор не взят. Я хочу знать — почему?

— Но фельдмаршал фон Лееб... — начал было Данвиц, однако Гитлер прервал его.

— Я знаю, что думает фон Лееб. Генералам всегда не хватает солдат, орудий и самолетов. Меня не интересует сейчас мнение фон Лееба. Я хочу слышать твое мнение, мнение участника боев. И знаешь почему? Потому, — продолжал он, не дожидаясь ответа, — что я веду эту войну не для фон Лееба, а для тебя. Фон Лееб стар. А ты молод. Ты заинтересован в нашей быстрейшей победе, это будет твоя победа. Я спрашиваю тебя как фронтовика, как боевого офицера, знающего про-

тивника: почему до сих пор не взят Петербург? Я велел тебе быть моими глазами и ушами. Теперь я хочу, чтобы ты сказал мне все, что думаешь. Все, что ты видел и слышал. О Хепнере, о Рейнгардте, о Леебе. Все!

Но Данвиц молчал. В то время как Гитлеру казалось, что майор просто не решается критиковать высших военачальников, Данвицем владели совсем другие мысли.

«Вот он стоит рядом, мой фюрер, человек, служению которому я посвятил свою жизнь, — думал он. — Одной его фразы, одного его слова достаточно, чтобы ответить на вопросы, которые уже столько дней не дают мне покоя. У меня нет никого — ни семьи, ни друга. Только он, мой фюрер. Перед ним у меня не может быть тайн. Все эти дни я мечтал о несбыточном счастье снова увидеть его. И вот эта мечта неожиданно осуществилась. Так почему же я молчу? Чего боюсь? В чем сомневаюсь?..»

— Почему же ты молчишь, Данвиц? — уже с некоторым раздражением спросил Гитлер. Он ждал от майора каких-то слов, которые укрепят его в мысли, что неудачи последних дней являются следствием нераспорядительности Лееба, Хепнера, Рейнгардта, Манштейна, — ему было все равно кого, лишь бы иметь еще одно подтверждение чьей-то вины.

Но Данвиц воспринял слова Гитлера как поощрение, даже приказ поделиться всеми своими сомнениями...

Он встал.

— Мой фюрер! — произнес Данвиц срывающимся от волнения голосом. — Может ли это быть, что мы... недооценили противника? Я не знаю, что движет им — страх, отчаяние, привычка повиноваться приказу или большевистский фанатизм. Но враг сопротивляется. И я не могу понять, что происходит. Они сопротивляются даже тогда, когда сопротивление бессмысленно. Продолжают драться в окружении. Дерутся, когда мы превосходим их количественно вдвое и втрое. Они подрывают себя вместе с окруженными нами дотами, — да, да, расстреливают весь свой боезапас и подрывают себя. На каждого захваченного нами пленного приходится не меньше трех таких, которые пускают себе последнюю пулю в лоб. И я не могу понять: почему?

— И по-твоему, это может служить оправданием... — зловеще начал Гитлер. Но Данвиц, целиком захваченный своими мыслями, не замечал, каким тоном прервал его Гитлер.

— Нет, нет, мой фюрер! Не оправданием! Я готов пустить себе пулю в лоб за то, что отступил! Но... но вы приказали мне говорить правду. И я ее сказал. Научите, — уже с отчаянием в голосе проговорил он, — как сломить сопротивление врага? Одно ваше слово, и я все пойму. Только одно ваше слово!..

Было мгновение, когда Гитлеру захотелось закричать, заставить Данвица умолкнуть, даже ударить его. Этот обласканный им майор выражал те же самые сомнения, которые в замаскированном, сглаженном виде позволяли себе высказывать некоторые и там, в «Вольфшанце».

Но перед ним стоял послушный его воле человек, его раб, готовый на все, и сознание этого взяло верх.

Раб ждал повеления. Ждал магического слова. Что ж, он услышит это слово...

— Жестокость! — неожиданно громко выкрикнул Гитлер прямо в лицо Данвицу. — Мы должны быть настолько жестокими, чтобы заставить содрогнуться человечество! Мы должны растоптать все эти жалкие законы старого мира с его еврейско-христианскими традициями! Мы должны стряхнуть со своих ног эту тину! Когда мне говорят, что нам нужна новая, покорная Германии Польша, я отвечаю: нет! Мне не нужна никакая Польша! И нет никакой Польши! Есть принадлежащая Германии земля, которая, к сожалению, еще будет в течение ближайших лет заселена поляками, но и только! Пусть на какое-то время останется польская рабочая сила, но и только!.. Когда мне говорят о будущей государственности России, о дружественном Германии правительстве, я отвечаю: нет! Мне не нужна Россия, ни враждебная, ни дружественная, мне нужны просто восточные земли. Поэтому я никогда не приму капитуляции — ни Петербурга, ни Москвы! Я сотру их с лица земли, превращу в прах, в пепел, в гигантские, наполненные водой воронки!..

Он умолк, задохнувшись, кулаки его поднятых рук некоторое время конвульсивно сжимались и разжимались.

Данвиц стоял неподвижно. Был момент, когда ему хотелось сказать, что и сейчас он сам и его солдаты жестоки до предела. Он вспомнил повешенных на телеграфных столбах, на деревьях, вспомнил заживо сброшенных в колодцы, и ему хотелось сказать, что он не знает, какие новые проявления жестокости смогли бы устрашить, парализовать русских, но сдержался. Он думал теперь о том, что должен поскорее вернуться в войска и сделать все, чтобы выполнить приказ фюрера.

— Петербург должен быть захвачен в самое ближайшее время, — снова заговорил Гитлер. — Ради этого я пошел даже на то, чтобы несколько ослабить группу «Центр»... Новое наступление начнется, как только фон Лееб перегруппирует силы. У тебя есть какие-нибудь просьбы, Данвиц?

— Только одна. Разрешите мне немедленно вернуться в свою часть.

— Хорошо. Иди. — Гитлер кивнул головой.

Данвиц пошел к двери. У порога он остановился, резко повернулся и, выкинув вперед правую руку с забинтованной кистью, воскликнул:

— Хайль Гитлер!

Он остался стоять с вытянутой рукой, потому что увидел, как Гитлер медленно подходит к нему. Фюрер шел мелкими шажками, казалось, что пушистый ковер мешает ему передвигать ноги.

Подойдя к Данвицу, он впился в него своими колючими, глубоко запавшими глазами.

— Запомни: жестокость! — сдавленным голосом произнес он и повторил: — Еще и еще раз: жестокость!

Глава XII

Тридцатого июля, в шесть часов двадцать минут вечера, двое американцев медленно поднимались по кремлевской лестнице вслед за указывающим путь советским полковником, чтобы в шесть тридцать встретиться со Сталиным. Одного из этих американцев хоро-

шо знали в московских официальных кругах. Его звали Лоуренс Штейнгардт, он был послом Соединенных Штатов Америки в Советском Союзе.

Второго американца в Москве лично не знал никто, хотя имя его было известно дипломатам из американского и английского посольств. Его звали Гарри Гопкинс, и в Соединенных Штатах он не занимал никакой официальной должности.

Высокий, худой до крайности, в помятом пиджаке и пузырящихся на коленях брюках, он шел на полшага впереди одетого по всем требованиям дипломатического протокола Штейнгардта, погруженный в свои мысли.

Указывающий путь полковник время от времени оглядывался и, видя, как медленно движется долговязый американец, сам невольно замедлял шаг.

«Кто он такой?» — с любопытством спрашивал себя полковник. Ему никогда ранее не приходилось слышать эту смешно звучащую по-русски фамилию — Гопкинс. Из того, что ему было приказано проводить этого Гопкинса в кабинет Сталина, полковник делал естественный вывод, что странно выглядевший американец — важная птица. А то, что посол почтительно следует несколько позади, лишь подтверждало этот вывод. Но если вылощенный, с галстуком-бабочкой Штейнгардт выглядел в глазах полковника типичным капиталистом, то относительно Гопкинса, неряшливо одетого, истощенного, полковник терялся в догадках. «Может быть, он представитель американского пролетариата?» — подумал полковник, но тут же откинул эту мысль как нелепую: представителей зарубежного пролетариата послы не сопровождают.

Советский полковник был далеко не единственным человеком, задававшим себе вопрос: «Кто же он такой, этот Гопкинс?» В течение ряда лет такой же вопрос задавали себе многие и в Соединенных Штатах, в том числе даже те, кто был близок к Белому дому. Особенно это стало занимать всех после того, как Гопкинс, пробыв короткое время на посту министра торговли, неожиданно подал в отставку, переехал по приглашению Рузвельта на жительство в Белый дом и, став неофициальным помощником главы государства, очень скоро проявил себя активным сторонником проводимого тогда президентом «нового курса».

Одни считали Гопкинса умным и проницательным человеком, другие — выскочкой, интриганом, «злым гением» президента. На него постоянно нападали в газетах и на пресс-конференциях в Белом доме те, кто объявлял «новый курс» президента покушением на свободу частной инициативы и традиционный для страны культ индивидуализма.

Резкий, немногословный, энергичный, Гопкинс в течение короткого времени завоевал полное доверие президента и стал для него незаменимым.

Происходивший из небогатой семьи, воспитанный в религиозных традициях, он сочетал в себе многие противоречивые черты.

Убежденный в том, что американский образ жизни является наилучшим, он не закрывал глаза на вопиющую нищету в этой самой богатой в мире стране. Работая в конечном итоге в интересах американского капитала, он сам оставался небогатым человеком, его влекла жажда деятельности, а не наживы. Оставаясь в глубине души пуританином, он в то же время презирал типично американские ханжеские предрассудки. Защищая то, что считал американской демократией, он ненавидел бюрократизм и политиканство.

Будучи прагматиком, иронически относящимся к любым социальным теориям, Гопкинс ценил в людях ум, способность к анализу и считал тупицами противников «нового курса» Рузвельта, не понимающих, что президент столь же далек от социализма, сколь и они сами, но хочет сделать реальные выводы из кризиса, недавно жестоко потрясшего страну.

Гопкинс сознавал, что Советский Союз никогда не угрожал и не угрожает Соединенным Штатам. В стремлении же Гитлера к мировому господству Гопкинс видел угрозу американским интересам.

В то время позиции Гитлера в Америке были довольно сильны. Многие буржуазные газеты пели ему осанну, изображая немецкого диктатора крестоносцем в борьбе с коммунизмом. Изоляционисты под флагом «истинно американского» патриотизма на все лады перепевали знаменитую доктрину Монро «Америка для американцев», требовали невмешательства в европейские дела и, следовательно, предоставления Гитлеру и в дальнейшем полной свободы действий.

Влияние изоляционистов в конгрессе было огромным. Они выступали даже против расширения военной помощи Англии, утверждая, что эта находящаяся при последнем издыхании страна никогда не сможет расплатиться за военные поставки.

Рузвельт, будучи умным и дальновидным политиком, понимал, какую потенциальную угрозу для положения и влияния Соединенных Штатов представляет собой немецкий нацизм.

Президент был популярен в стране. Его реформы, умелое пользование либеральной терминологией, словесные нападки на монополии, пропаганда социальных реформ привлекли на сторону Рузвельта широкие слои народа и обеспечили ему беспрецедентную в истории Соединенных Штатов победу: переизбрание на третий срок.

Его поддерживали наиболее дальновидные представители капиталистических кругов, те, кто хорошо понимал, что реформы Рузвельта, на которые, подобно быку на красное, ожесточенно нападали «узколобые», в конечном итоге преследуют цель наилучшей организации частнокапиталистического хозяйства.

И тем не менее Рузвельту приходилось нелегко в условиях сложной политической жизни страны, с ее борьбой явных и тайных интересов, коррупцией, кулуарными сделками.

Президент лавировал. Сидя в своей коляске или поддерживаемый под руки телохранителями, он выступал в конгрессе, на пресс-конференциях, по радио, нередко с противоречивыми заявлениями. Он объявлял Соединенные Штаты оплотом демократии, давая понять, что отрицательно относится к гитлеризму, и в то же время клялся, что ни при каких условиях не отправит ни одного американского солдата сражаться за океан. Он требовал от конгресса утверждения программы, предусматривающей огромный рост военного

производства, заявлял, что «нет ни одной существующей оборонительной линии, которую не надо было бы укреплять», имея в виду угрозу со стороны Гитлера, но тут же произносил другую речь, полную самых тривиальных антисоветских нападок. Он оказывал военную помощь Англии и тут же заверял репортеров в том, что никаких новых просьб от этой страны не поступало и что ни одного цента не будет израсходовано безвозмездно.

Но если Рузвельт, который все больше и больше отдавал себе отчет в растущей угрозе со стороны Гитлера, в ряде случаев действительно был вынужден лавировать, то его ближайший помощник, формально не занимающий никакой государственной должности, был во многом от этой необходимости избавлен.

Уже первые две недели войны Германии с Советским Союзом убедили Гарри Гопкинса в том, что Советская Армия отличается от тех армий, с которыми до сих пор сталкивался Гитлер.

И в то время как изоляционисты ликовали, уповая на немецкого фюрера как главный оплот в борьбе с большевизмом, в то время как военные специалисты утверждали, что русская кампания Гитлера продлится максимум два-три месяца, Гарри Гопкинс придерживался иного мнения.

Однако ему нужны были дополнительные факты, чтобы в этом мнении укрепиться самому и убедить в своей правоте других. Он хотел ближе познакомиться с загадочной Советской страной, больше о ней узнать, причем узнать, так сказать, из первых рук.

Для начала Гопкинс решил побеседовать с теми американцами, которые побывали в России. Его выбор пал на Джозефа Дэвиса, бывшего посла Соединенных Штатов в Москве. Дэвис уже через два дня после нападения Гитлера на Советский Союз заявил, что «мир будет удивлен размерами сопротивления, которое окажет Россия».

Они встретились в Белом доме, где Гопкинс занимал комнату, некогда бывшую кабинетом Линкольна.

— Каково ваше мнение о перспективах войны в России? — спросил Гопкинс Дэвиса.

Бывший посол ответил, что эти две недели войны показали способность русских к ожесточенному сопротивлению.

Но это Гопкинс знал и сам. Он нетерпеливо сказал, что от человека, который жил в Москве и изучал страну, ему хочется получить прогноз дальнейшего хода войны. Дэвис пожал плечами и ответил, что, с его точки зрения, все решат самолеты. Если Гитлер будет господствовать в небе, то вряд ли советские войска, обороняющие Украину и Белоруссию, смогут противостоять и его наземным атакам.

— Значит, вы не исключаете возможности оккупации этих территорий? — на этот раз задумчиво спросил Гопкинс.

— Все решат самолеты, — повторил Дэвис.

— Хорошо, — кивнул Гопкинс, — предположим, Гитлеру удастся захватить большие территории...

— Не забудьте, — прервал его Дэвис, — что речь идет не просто о географических понятиях, а о шестидесяти процентах всех сельскохозяйственных ресурсов страны. Добавьте к этому шестьдесят процентов промышленной продукции, и вы поймете, что означает для Кремля потеря Украины и Белоруссии.

— Вы хотите сказать, что война на этом закончится? — угрюмо спросил Гопкинс.

— О нет, — покачал головой Дэвис, — напротив. — Он с улыбкой посмотрел на Гопкинса и, закурив сигарету, сказал: — Видите ли, Гарри, мы с вами не на пресс-конференции и можем говорить откровенно. Мне не нравится коммунизм, я отнюдь не поклонник Сталина. Хотя те глупости, которые пишут о России у нас в Штатах, вызывают у меня отвращение.

Он отхлебнул кофе из чашечки.

— Так вот, — продолжал Дэвис, — сегодня главное заключается в том, чтобы быть реалистами и знать, что если Гитлеру и удастся занять Украину и Белоруссию, то война на этом не закончится.

— Вы в этом уверены? — быстро переспросил Гопкинс.

— Я в этом убежден. Это будет пиррова победа для Гитлера, потому что он наверняка столкнется с рядом новых, не менее сложных, чем чисто военные, проблем. Вы, конечно, ознакомились с недавней речью Сталина по радио?

— Разумеется. Мне она показалась сильной и энергичной, хотя те, кому удалось ее слышать непосредственно, говорят, что Сталин был очень взволнован.

— Я бы не взялся делать выводы о состоянии Сталина на основании тембра его голоса, — заметил Дэвис. — Я убежден, что эта речь найдет огромный отклик в стране. Я имею в виду призыв Сталина к партизанской войне и повсеместному саботажу на занятых немцами территориях. Вы знакомы с историей наполеоновских войн?

— Я не ученый, Джозеф, но если вам кажется необходимым...

— Нет, нет! Я понимаю, что вам могут немедленно составить любую справку, — с легкой иронией остановил Гопкинса Дэвис. — Я хотел только обратить ваше внимание на то, что Наполеон, прежде чем он устремился в Россию, завоевал всю Европу.

— И что же?

— А то, что нигде, кроме Испании, он не встретил массового сопротивления. В России же партизаны подстерегали его солдат за каждым деревом. А в России очень много деревьев, Гарри.

— Вы убеждены, что история повторится?

— История вообще не повторяется. В данном же случае позволю себе сказать: я знаю Россию достаточно хорошо, чтобы уверенно утверждать, что с немцами будет воевать весь народ. Их будут убивать даже там, где не окажется ни одного советского солдата. Вот проблема, с которой столкнется Гитлер, если ему и удастся захватить Украину и Белоруссию.

— Но в этом случае власть Сталина уже не будет распространяться на...

— Будет, Гарри! Даже если ему придется отступить в глубь страны. Россия огромна, а Сталин — это не только руководитель и человек. Это, если хотите, олицетворенная идея. Я не думаю, чтобы немцам удалось ликвидировать его физически. А против идеи пули вообще бессильны.

— Вы исключаете возможность внутреннего заговора? Измученное кровопролитной войной население...

— Россия не Южная Америка, Гарри. Успешный заговор в России? Это нереально. Заговор в пользу немцев? Это полностью исключено. К тому же я убежден, что военные испытания еще больше сплотят русских.

Гопкинс встал и сделал несколько шагов по комнате. Дэвис глядел на него с любопытством. Неужели он и впрямь, как говорят злые языки, по два дня не меняет свои сорочки? Интересно, сколько лет подряд он носит эти стоптанные туфли? И сколько сигарет в день выкуривает? Две пачки? Три?

— Считаете ли вы, что мы должны оказать помощь Кремлю? — неожиданно спросил Гопкинс.

— Полагаю, что да. Но хочу, в свою очередь, задать вопрос: уверены ли вы, что Советы эту помощь примут?

Брови Гопкинса высоко поднялись.

— Я вас не понимаю, — сказал он, пожимая плечами. — Русские армии истекают кровью. На Гитлера работает вся Европа. И вы сомневаетесь, что...

— Видите ли, я не уверен, что вам известно о психологии Сталина больше, чем об истории наполеоновских войн... Не сердитесь, Гарри, — торопливо сказал Дэвис, поднимая руку, — я знаю, что вы в любое время дня и ночи можете предсказать исход голосования в конгрессе по любому вопросу. У каждого своя профессия. Вы не дипломат. Ваши глаза были всегда обращены внутрь страны. А мои — вовне... Итак, попытайтесь поставить себя на место Сталина. Он всегда был убежден, что Россия окружена врагами, и, говоря между нами, убежден небезосновательно. Он не доверял ни Англии, ни Франции. Не верил в их способность и желание противостоять Гитлеру, которого и раньше ненавидел не меньше, чем теперь...

— Но это не помешало ему заключить пакт с Гитлером!

— Боюсь, Гарри, что вы все еще находитесь под влиянием президентской речи, которую он произнес, если не ошибаюсь, в феврале сорокового. Между прочим, не вы ли составили для него эту речь?

— Нет, — холодно ответил Гопкинс.

— Допустим. Тогда вам следовало бы понять, что русские, что бы мы ни говорили публично, пошли на этот договор по чисто практическим соображениям. Сталин полагал, что этим обеспечит на какое-то время мир для России. А что на его месте сделали бы вы? На кого ему следовало надеяться после Мюнхена? Ведь не на Соединенные же Штаты?.. Короче говоря: я не уверен, что у Сталина хватит решимости перечеркнуть прошлое. Недоверие Советского правительства к нам слишком велико. Принять помощь Америки — значило бы связать себя определенными обязательствами. Пойдет ли на это Сталин?..

Когда Дэвис покинул Белый дом, обещав изложить свои мысли в специальной записке, Гопкинс еще долго сидел в кресле, куря сигарету за сигаретой.

Он напряженно думал, сопоставляя то, что за эти дни ему удалось почерпнуть из военных сводок, донесений американского посла в Москве, со словами Дэвиса...

«Дэвис прав, — думал Гопкинс, — Россия будет сопротивляться немцам до последнего человека, это несомненно. Возможность мира между Советским Союзом и Германией исключена. Любое орудие, любой самолет, который был бы предоставлен Сталину Штатами, он использовал бы по прямому назначению. Но согласится ли Сталин их принять?

Да, этот вопрос не столь элементарен, как кажется на первый взгляд. Не решит ли Сталин, что Штаты намерены связать Советский Союз, взять в кабалу, воспользоваться плодами будущей победы или уже теперь потребовать что-то весьма существенное взамен?

Правда, Сталин подписал соглашение с Англией и приветствовал заявление Черчилля о совместной борьбе с фашистской Германией.

Но Англия находится в тяжелом положении и сама нуждается в помощи. Вряд ли Сталину теперь приходится опасаться ее козней. А Соединенные Штаты — большая, мощная, богатая, не затронутая войной страна...

Что ж, у русских есть основания для подозрительности. Интересно, какой компенсации потребовали бы и республиканцы, и демократы, если сегодня открыто поставить перед ними вопрос о помощи России?.. Вряд ли они способны понять, что, дав возможность Гитлеру разгромить эту страну, мы в конечном итоге потеряем куда больше, чем любая компенсация...»

Гопкинс умел быть честным с самим собой. Он понимал, что если Соединенные Штаты окажут помощь России, то сделают это далеко не бескорыстно. Советский Союз, даже одержав победу над Гитлером, будет обессилен кровопролитной борьбой. И тогда настанет час Соединенных Штатов...

Но все это — потом. Сегодня Россия — на краю гибели. Сталин должен думать не о далеком будущем, а о сегодняшнем дне. Но как убедить его в том, что сегодня интересы России и Америки во многом совпадают?

...Однако Гопкинс напрасно терялся в догадках и старался найти аргументы, которые должны были бы убедить Сталина пойти на союз с Соединенными Штатами Америки.

В таких аргументах не было необходимости. Потому что задача создания антифашистской коалиции являлась одной из тех важных задач, которые ставил перед собой Сталин.

Дипломатия Советского правительства всегда была дипломатией активной. Советский Союз выступал инициатором создания системы коллективной безопасности еще в конце двадцатых и в начале тридцатых годов, стремясь создать преграду на пути любого агрессора.

Ненависть империалистов к социалистическому государству, их тайная вера в возможность «умиротворить» Гитлера на Западе, предоставив ему свободу рук на Востоке, были причиной того, что в предвоенные годы создать антигитлеровскую коалицию не удалось. Но теперь, в грозные дни войны, Сталин не сомневался в том, что горький урок не пройдет бесследно для тех, кто, подобно Советскому Союзу, стал жертвой гитлеровской агрессии. И он оказался прав.

22 июня, уже через несколько часов после того, как радио оповестило затаивший дыхание мир о напа-

дении гитлеровских полчищ на Советский Союз, Черчилль выступил с речью, в которой провозгласил военную солидарность Англии со Страной Советов.

Сталин никогда не встречался с Черчиллем, но отлично знал его политическое лицо.

Имел ли он основания доверять дружеским словам того самого Черчилля, который два десятилетия назад возглавил «крестовый поход» против большевизма, а несколькими годами позже — ожесточенную антисоветскую кампанию, приведшую к разрыву англо-советских отношений?

Можно ли было вообще верить этому политику, несомненно умному и решительному, но склонному к авантюрам?..

Разве не он, Черчилль, был автором книги «Великие современники», в которую включил портрет Гитлера? Разве не восхищался он в начале тридцатых годов «настойчивостью», с которой вел борьбу за власть фашистский фюрер, «преуспев в восстановлении Германии в качестве самой мощной державы в Европе»? Разве Черчилль не выступал за то, чтобы Германия была превращена в «бастион против России»?

Правда, в середине тридцатых годов Черчилль понял, что Германия может ударить не только на Восток, но и на Запад. В отличие от Чемберлена, стоявшего за умиротворение немецкого фюрера на любых условиях, он стремился сохранить равновесие сил в Европе. Но Черчилль ни разу не выступил в английском парламенте с резкой критикой Чемберлена, когда тот пытался опорочить любое предложение Советского Союза, направленное на организацию коллективного отпора Гитлеру.

Разумеется, Сталину было известно, что после Мюнхенских соглашений Черчилль охарактеризовал эту сделку с Гитлером как несомненное поражение Англии и накануне второй мировой войны стал энергично доказывать необходимость англо-советского союза.

Однако вся биография Черчилля, вся история его политической деятельности свидетельствовала о том, что этому человеку доверять опасно.

Но не только эти события прошлого настораживали Сталина.

Немногим более месяца до того, как Гитлер напал на Советский Союз, его бывший секретарь, а впоследствии заместитель по руководству национал-социалистской партией, человек, считавшийся тенью немецкого фюрера, Рудольф Гесс, неожиданно вылетел на самолете в Англию и приземлился в шотландском имении герцога Гамильтонского.

С той минуты он как бы канул в небытие.

Что же происходило с Гессом в действительности? С какой миссией направился он к Черчиллю? Какими полномочиями располагал? И в самом ли деле он был арестован, как объявило об этом английское правительство?

Все это оставалось непроницаемой тайной. Скупой немецкий комментарий, объясняющий поступок Гесса тем, что он «жил в мире галлюцинаций» и полагал, что «сможет содействовать установлению понимания между Германией и Англией», лишь усилил подозрения советских руководителей.

Сталин имел основания опасаться, что могут возникнуть обстоятельства, при которых Гитлер, убедившись, что продолжительная война на два фронта ему не под силу, и понимая, что жребий на Востоке уже брошен и битва с Советским Союзом может закончиться лишь разгромом одной из сторон, попытается заключить сепаратный мир с Англией.

Как же следовало в таких условиях отнестись к нынешнему предложению Англии?

При решении этого вопроса Сталин проявил присущие ему смелость и последовательность в достижении поставленных целей.

Если в определении возможного срока начала войны Сталин допустил несомненный просчет, который дорого обошелся стране, то в международных делах он показал себя проницательным политиком. Он был убежден в необходимости создания антигитлеровской коалиции и решительно использовал для этого все имеющиеся возможности.

Получив послание Черчилля от 8 июля, в котором тот, выражая восхищение храбростью и упорством советских солдат, заверял Сталина, что Англия окажет Советскому Союзу серьезную помощь, он пригласил к себе английского посла Стаффорда Криппса и сообщил ему о готовности Советского Союза подписать декларацию о совместных действиях в войне против Германии.

12 июля декларация была подписана.

В ней говорилось, что «оба правительства взаимно обязуются оказывать друг другу помощь и поддержку всякого рода в настоящей войне против гитлеровской Германии». Договаривающиеся стороны заявляли, что «в продолжение этой войны они не будут ни вести переговоров, ни заключать перемирия или мирного договора, кроме как с обоюдного согласия».

...11 июля, за день до того, как англо-советская декларация была подписана, Гопкинс по поручению президента Соединенных Штатов вылетел в Лондон, чтобы составить объективное представление о боеспособности Англии и необходимой ей военной помощи.

Неизвестно, информировал ли Черчилль Гопкинса во время пребывания американца в Лондоне о своей переписке со Сталиным, скорее всего — лишь в общих чертах. При всей любви к красноречивым заверениям английский премьер-министр был склонен к двойной игре и никогда полностью не отождествлял британские интересы с американскими. Если бы Гопкинс имел возможность прочесть подлинный текст ответа Сталина от 18 июля на второе послание Черчилля, он понял бы, что отношения между новыми союзниками начинают развиваться далеко не гладко.

...Письмо Сталина было коротким, но определенным. В нескольких вступительных строках Председатель Совета Народных Комиссаров благодарил Черчилля за личные послания. Он писал, что разделяет его удовлетворение по поводу того, что Англия и СССР стали теперь боевыми союзниками. Сообщал, что положение советских войск на фронте продолжает оставаться напряженным. И далее Сталин со всей определенностью высказывал свое мнение о том, что открытие второго фронта против Гитлера могло бы

значительно улучшить положение как Советского Союза, так и Великобритании. Он называл районы, в которых этот второй фронт мог бы быть создан: на Западе — в Северной Франции и на Севере — в Арктике.

...Пройдут годы, и вопрос о втором фронте станет предметом спекулятивных, противоречивых суждений буржуазных историков.

Те из них, кто стремится во всех случаях доказать правоту мира старого, капиталистического, станут писать, что практической возможности открыть второй фронт не было не только в сорок первом и в сорок втором, но и в сорок третьем году и что, следовательно, Советское правительство требовало невозможного.

Однако это будет неправдой.

В своем послании Черчиллю Сталин писал, что представляет себе трудности, связанные с открытием фронта против Гитлера на Западе, однако считает, что легче всего создать такой фронт именно теперь, когда основные силы Гитлера отвлечены на Восток и немецкие войска еще не успели закрепиться на занятых ими позициях.

Это было сугубо деловое письмо: Сталин не терпел многословия ни в речах, ни в письмах, ни в разговорах.

Пожалуй, только один абзац не имел непосредственного отношения к вопросу, составляющему суть этого письма.

Но он, этот абзац, имел прямое касательство к другому весьма острому вопросу и выражал явное стремление Сталина поставить все точки над «i». Речь шла о недавнем договоре Советского Союза с Германией, вероломно нарушенном Гитлером.

Сталин хорошо знал, что договор этот был широко использован буржуазной пропагандой для обвинения Советского Союза в измене интересам демократии и цивилизации.

И в своей речи 3 июля он счел необходимым со всей откровенностью сказать народу о том, что вынудило Советский Союз пойти на подписание этого договора.

И вот теперь в письме Черчиллю Сталин еще раз подчеркнул, что положение немецких войск было бы несравненно более выгодным, если бы советским войскам пришлось принять удар не на новых своих границах, а много восточнее, в районе Одессы, Каменец-Подольска, Минска и окрестностей Ленинграда.

Для чего Сталин напомнил об этом в письме, посвященном актуальным вопросам ведения войны? Несомненно, он хотел с самого же начала дать понять Черчиллю, что Советский Союз никогда и ни при каких условиях — ни сейчас, ни в будущем — не допустит каких-либо попыток использовать факт заключения советско-германского договора в целях пропаганды против социалистического государства.

Ответ Черчилля пришел через три дня. И этот ответ показал, что напоминание Сталина, казалось бы не имеющее прямого отношения к делу, было не напрасным.

Английский премьер счел возможным подчиниться голосу фактов. В самом же начале своего письма он недвусмысленно заявил, что вполне понимает те преимущества, которые приобрел Советский Союз, вынудив врага вступить в боевые действия на выдвинутых вперед советских границах.

В то же время Черчилль именно этим своим письмом положил начало длительной игре, смысл которой заключался в бесконечных оттяжках открытия второго фронта.

Английский премьер к этому времени уже не сомневался, что предсказание Гитлера о разгроме России в течение четырех — шести недель окажется блефом. Не сомневался он и в том, что советские армии будут сражаться до последнего солдата. Опасность вторжения немцев в Англию? Вряд ли Гитлер, не решившийся произвести высадку на Британских островах через Ла-Манш даже тогда, когда сражался с Англией один на один, предпримет этот шаг теперь, когда его основные силы скованы на Востоке. Таким образом, Англия получает передышку, во время которой сможет оправиться от недавних ударов, накопить силы.

То, что в это время союзник будет истекать кровью, мало заботило Черчилля.

Не потому ли, что он уже в эти первые недели войны закладывал основы той политики, которую открыто будет проводить позже, прилагая все усилия, чтобы не дать возможности Советскому Союзу воспользоваться результатами завоеванной им победы?..

А пока Черчилль писал Сталину:

«С первого дня германского нападения на Россию мы рассматривали возможность наступления на Францию и Нидерланды. Начальники штабов не видят возможности сделать что-либо в таких размерах, чтобы это могло принести Вам хотя бы самую малую пользу».

Правда, Черчилль обещал провести некоторые военно-морские акции на Севере, чтобы лишить врага возможности перевозить войска морем для нападения на советский «фланг в Арктике», но тут же описывал трудности проведения даже таких операций и подчеркивал, что «это — самое большое», что Англия «в силах сделать в настоящее время».

...Но так или иначе «Соглашение о совместных действиях» между Советским Союзом и Англией было подписано.

И этот факт не мог не послужить толчком для развития мыслей Гопкинса о возможности аналогичного соглашения между Советами и его страной.

Находясь в Лондоне, Гопкинс со всей отчетливостью осознал, что во всех своих планах Америка должна исходить из положения на советско-германском фронте.

Он понял, что именно там решаются дальнейшие судьбы не только Англии, не только Европы в целом, но и всего мира.

Но, не зная, каково реальное состояние советских войск, достаточно ли обеспечены они вооружением, каковы дальнейшие перспективы немецкого наступления, невозможно было ответить и на вопросы о будущем Англии.

Из всех путей Гопкинс всегда предпочитал кратчайший. Он послал Рузвельту телеграмму, в которой просил президента разрешить ему поездку в Москву для встречи со Сталиным.

Ответ Рузвельта пришел незамедлительно. Гопкинс

получил его в Чекерсе, загородной резиденции Черчилля. Президент одобрял намерение Гопкинса и сообщал, что сегодня же перешлет ему личное послание для вручения Сталину...

В воскресенье 27 июля английский гидроплан «Каталина» с Гопкинсом на борту, несмотря на неблагоприятную погоду, вылетел из Инвергордона, с восточного побережья Шотландии, держа курс на Архангельск.

Перелет занял 24 часа. Самолет не отапливался. Однако очень худой, бледный человек в серой шляпе, на этот раз не в старой, с жеваными полями, какую носил обычно, а вполне приличной, поскольку принадлежала она не ему, а Черчиллю, стоически перенес перелет, хотя изнемогал от болей в желудке, — в последние годы они все чаще мучили Гопкинса.

Он опустошил несколько термосов с черным кофе и выкурил три пачки сигарет. В Архангельске его пришлось выносить из самолета на руках.

После четырехчасового отдыха и обеда Гопкинс на советском самолете полетел в Москву.

В американском посольстве он долго беседовал с послом Штейнгардтом, поздно лег спать.

На следующее утро Гопкинса известили, что Сталин примет его в шесть тридцать вечера.

Весь день Гопкинс старался мысленно представить себе эту встречу и наметить внешнюю линию своего поведения. Там, в Чекерсе, все ему представлялось очень простым — он встретится со Сталиным, выскажет ему предложения президента, выслушает ответ и в зависимости от его содержания или попрощается и улетит обратно, или встретится еще кое с кем, с Молотовым, например, с военными экспертами.

Но теперь, в Москве, Гопкинс почувствовал, сколь сложна его миссия.

Как примет его Сталин? Вернее всего, будет сух, скрытен и категоричен. Возможно, что неудачи на фронте побудят его пытаться во что бы то ни стало сохранять престиж и вести себя еще более невозмутимо, уверенно, чем в обычное время.

А может быть, все будет иначе? Ведь Сталина называют в газетах не только стальным диктатором, но и изощренным политиком. И не исключено, что он проявит сегодня именно эту, вторую свою сторону и, сознавая всю тяжесть ситуации, в которой оказалась его страна, попытается выторговать у Соединенных Штатов как можно больше...

«Кого же, какого Сталина предстоит мне встретить?.. — задавал себе вопрос Гопкинс. — И как он отнесется к предложению президента, которого, наверное, считает «акулой империализма»?..»

Гопкинс не знал, что Сталин был далек от того, чтобы оценивать президента США столь прямолинейно, как был далек и от его идеализации.

Он считал Рузвельта наиболее дальновидным из всех современных деятелей буржуазного мира.

Ведь именно Рузвельт был тем американским президентом, правительство которого наконец официально признало Советский Союз. И хотя Сталин не сомневался, что решающими причинами этого признания были возросшая мощь и международное значение Советского государства, он не был склонен недооценивать ту роль, которую сыграл в нормализации отношений между их странами Франклин Рузвельт. Однако у Сталина не было иллюзий относительно политических взглядов президента и мотивов, определяющих его поступки.

Реально оценивал Сталин и смысл мероприятий президента, связанных с «новым курсом», хотя враждебные Рузвельту американские газеты объявляли этот курс чуть ли не «социалистическим».

Трезво оценивал он и противоречивую внешнюю политику Рузвельта в прошлом.

На Дальнем Востоке президент фактически способствовал агрессии Японии против Китая, одновременно натравливая ее на СССР.

Несколько лет тому назад тот же Рузвельт объявил «воюющей стороной» испанское республиканское правительство, отказался продавать ему оружие и тем самым фактически помог Франко и Гитлеру.

Он отклонил предложения Советского Союза о создании мировой системы безопасности для обуздания Гитлера. До тех пор пока можно было надеяться, что политика Мюнхена достигнет своей цели, то есть умиротворит Гитлера на Западе и толкнет его на Восток, Рузвельт поддерживал эту политику.

Но теперь ситуация решительно изменилась. Инициаторы Мюнхена стали его жертвами. Гитлер рвался к мировому господству. Коренные интересы Соединенных Штатов оказались под угрозой.

Трудно было себе представить, чтобы столь крупный и дальновидный политик, как Рузвельт, не сделал из этого необходимых выводов...

В Советском Союзе внимательно следили за всеми публичными выступлениями Рузвельта. В Москве не прошло незамеченным, что уже вскоре после нападения Гитлера на Англию президент заявил на пресс-конференции в Белом доме, что сопротивление этой страны является в то же время и обороной Соединенных Штатов.

Несколько позже Рузвельт открыто предупредил американский народ, что Соединенные Штаты не избегнут «ни страха, ни реальной опасности», если «будут лежать в постели, натянув одеяло на голову», и что в случае победы Гитлера в Европе людям на Американском континенте пришлось бы жить под угрозой нацистских орудий.

Правда, эти заявления носили скорее эмоциональный, чем практический, характер. Но Сталин учитывал сложность внутренней жизни Соединенных Штатов: антисоветские настроения правящих кругов, борьбу за власть, противоречивые интересы финансовых олигархий.

Сталин верил, что объективная логика событий в конце концов вынудит Соединенные Штаты к активным действиям против Гитлера, верил в то, что антигитлеровская коалиция может быть создана.

Такова была позиция Сталина, когда он получил извещение о намерении Рузвельта послать в Москву своего личного представителя...

И вот Гопкинс медленно идет вслед за советским полковником по кремлевскому коридору.

Полковник остановился у высокой двери, открыл ее и, посторонившись, сделал движение рукой, приглашая американцев войти.

Первым перешагнув порог, Гопкинс увидел невысокого бритоголового человека в гимнастерке защитного цвета, перепоясанной широким ремнем. Тот встал, вышел из-за письменного стола и молча открыл другую дверь, ведущую в следующую комнату.

Убежденный, что именно сейчас встретит Сталина, Гопкинс, мысленно повторяя подготовленные слова приветствия, прошел туда, но вместо Сталина увидел лишь нескольких военных, сидящих на расставленных вдоль стены стульях.

Бритоголовый все так же молча открыл следующую дверь и отошел в сторону.

Гопкинс и Штейнгардт оказались в пустой просторной комнате. Первое, что бросилось Гопкинсу в глаза, был большой письменный стол и стоящий в стороне другой стол, длинный. На стене висели портреты. Два портрета Гопкинс узнал сразу, — это были портреты Маркса и Ленина. Люди, изображенные на двух других, были ему незнакомы, какие-то русские генералы старых времен.

Гопкинс хотел было спросить Штейнгардта, кто эти генералы, но в этот момент увидел, как неслышно открылась не замеченная им дверь в противоположной стене.

Пересекая комнату, к ним приближался легкой неторопливой походкой человек в серой, наглухо застегнутой куртке и в мешковатых, невоенного покроя брюках, заправленных в до блеска начищенные сапоги.

Подойдя к Гопкинсу, он протянул ему руку, произнес что-то по-русски, а неожиданно возникший за спиной американца переводчик повторил по-английски:

— Здравствуйте!

Глава XIII

Дни, предшествовавшие приезду Гопкинса, были для советского руководства днями напряженнейшей организационной работы.

Созданная в первые дни войны Ставка Главного командования 10 июля была преобразована в Ставку Верховного Главнокомандования, а 18 июля Сталин официально принял на себя и руководство Наркоматом обороны.

Вся страна перестраивалась на военный лад.

Надо было провести грандиозную работу по эвакуации промышленности из западных областей в глубь страны.

Надо было резко увеличить производство военной техники, построить новые оборонные предприятия и новые железные дороги.

Надо было сформировать новые резервные соединения Красной Армии.

Сталин выдвинул задачу создать в тылу советского фронта, развертываемого на Днепре, новый, Резервный фронт из шести армий.

Это потребовало от Комитета Обороны, от руководителей армии нечеловеческого напряжения нервов и железной выдержки.

Положение на фронтах оставалось крайне напряженным, хотя было уже ясно, что план Гитлера в считанные недели разгромить Красную Армию, захватить Ленинград и Москву и выйти на берег Волги сорван.

Однако на решающих направлениях немцы по численности войск по-прежнему превосходили нашу армию в три-четыре раза. Особенно велик был перевес в танках и самолетах.

На севере враг бросал все новые и новые силы, чтобы прорвать Лужскую оборону, соединиться с финнами и штурмом взять Ленинград.

Тяжелая обстановка сложилась на юге. Прорвав оборону Южного фронта, немцы нанесли удар через Могилев-Подольский и вышли в тыл нашим армиям. На Юго-Западном фронте они прорвались к Запорожью, Днепропетровску, Одессе.

15 июля противнику после упорных боев удалось ворваться в Смоленск.

После захвата Минска потеря Смоленска была для Сталина наиболее тяжелым ударом.

Еще триста лет назад Смоленск называли «ключом государства Московского». Этот древний русский город всегда был последней грозной преградой на пути врагов к Москве. И сегодня Смоленск был последним стратегическим опорным пунктом на пути к Москве, удобным плацдармом для наступления. Со взятием этого города черная, зловещая тень немецких полчищ нависала уже над столицей Советского государства.

Сталин негодовал, осыпая упреками командование Западного фронта.

Был ли он прав в своем гневе? Разве он не знал, что на подступах к Смоленску войска генерала Курочкина, фактически находясь во вражеском окружении, своим мужественным сопротивлением сковали более десяти немецких дивизий? Разве ему не было известно, что части генерала Бакунина двадцать три дня обороняли окруженный вражескими войсками Могилев? Разве он не знал, что войска генерала Качанова стояли насмерть под Рославлем?

Нет, Сталин хорошо знал все это. Сознавал он и то, что впервые с начала войны Советская Армия оказала именно здесь, в районе Смоленска, сопротивление столь яростное, что врагу пришлось пересмотреть свои оперативные планы. После захвата немцами Смоленска сражение в этом районе продолжалось с еще большим ожесточением.

И все же Сталин в конце июля предложил снять командующего Западным фронтом Тимошенко.

Начальнику Генштаба Жукову удалось отстоять маршала: слова о том, что Тимошенко командует фронтом менее четырех недель и, задержав противника в районе Смоленска почти на месяц, сделал все, что можно было сделать на его месте, как будто убедили Сталина. Тимошенко, вызванному в Ставку, было приказано немедленно выехать обратно на фронт.

А 29 июля, накануне приезда Гопкинса, у Сталина произошло серьезное столкновение с самим Жуковым.

Поводом послужило предложение начальника Ген-

штаба оставить Киев. Жуков считал это неизбежным, поскольку врагу удалось захватить плацдарм в районе Ельни, который немцы могли использовать для броска на Москву. Он предложил Сталину отвести войска Юго-Западного фронта за Днепр и, усилив их за счет нескольких дивизий, создать мощный кулак для удара по немцам в районе Ельни.

Однако сама мысль, что Киев, древний Киев, столица Украины, окажется в руках врага, была для Сталина нестерпимой. К тому же он еще находился под тяжелым впечатлением событий в районе Смоленска.

Услышав, что начальник Генштаба предлагает оставить Киев, Сталин гневно обрушился на Жукова, заявил, что тот говорит вздор.

Жуков, не сдержав обиды, попросил освободить его от обязанностей начальника Генштаба. Присутствовавший на докладе начальник Главпура Мехлис, явно подыгрывая Сталину, подлил масла в огонь.

Уже спокойным, но не предвещавшим ничего хорошего тоном Сталин заметил, обращаясь к Жукову, что если тот так ставит вопрос, то можно обойтись и без него.

После короткого совещания с Мехлисом Сталин вновь вызвал Жукова и сообщил ему, что от обязанностей начальника Генштаба он освобожден. На вопрос Жукова о новом назначении Сталин ответил, что предлагает ему принять командование Резервным фронтом и подготовить тот самый контрудар под Ельней, который Жуков столь настойчиво предлагал организовать.

Предложение Жукова об отводе войск было в создавшейся обстановке единственно верным. Но Сталин сразу не понял и не принял этого. А в том, что Жуков попросил освободить его от обязанностей начальника Генштаба, усмотрел проявление уверенности в своей незаменимости.

Но незаменимым человеком Сталин считал прежде всего себя. Нетерпимость к любым проявлениям тщеславия и самомнения — подлинным или мнимым — в других людях сочеталась в Сталине с поощрением культа собственной личности. И в этом было одно из резких противоречий, которыми изобиловал его характер.

Очевидно, Сталин был уверен, что, после того как сама жизнь подтвердила правильность и необходимость народных свершений, инициатором которых он нередко являлся, любое его решение, каждый поступок не может не быть бесспорным и непогрешимым.

Партия, миллионы людей вкладывали всю свою энергию в строительство социализма. И сам Сталин не забывал письменно и устно напоминать об этом. Но все остальные должны были видеть только в нем, в Сталине, вдохновителя и организатора всех достижений, всех побед.

Требуя оценивать людей прежде всего по отношению к тому делу, которое он считал главным в своей жизни, Сталин в то же время нередко бывал субъективен и жесток в своей субъективности.

Многие факты свидетельствуют о том, что уже в первый период войны Сталин стал более терпимым, больше прислушивался к советам военных специалистов; его просчет в оценке сроков нападения гитлеровской Германии, столь тяжело отразившийся на положении советских войск в летние месяцы 1941 года, не мог не повлиять на его характер, не склонный к критическому самоанализу.

Пройдут годы, столь трудно доставшаяся, выстраданная партией и народом Победа, в достижение которой Сталин, как Верховный Главнокомандующий, внес значительный вклад, во многом заглушит в его сознании понимание истинного значения коллективного разума и коллективного руководства.

Но в трудные дни 1941 года, когда фашистские снаряды и авиабомбы терзали советскую землю, когда враг рвался к Москве и к городу Ленина, когда сотни русских, украинских, белорусских и прибалтийских городов и сел уже истекали кровью под немецким владычеством, Сталин, очевидно, ощутил, что, только опираясь на опыт многих людей, можно руководить гигантским сражением, от исхода которого зависела судьба страны.

И это стало решающим обстоятельством, определившим существо и стиль деятельности Сталина как Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Советского Союза.

Принимая те или иные ответственные решения, он, как правило, опирался на знания и опыт крупных военачальников и руководящих партийных деятелей, которые входили в состав Ставки, учитывал мнение Генерального штаба и командующих фронтами.

В годы войны проявились лучшие черты Сталина — его воля, острый ум, организаторский и военный талант.

И тем не менее и в этот период Сталин подчас бывал субъективен и несправедлив.

Так случилось и 29 июля во время беседы с Жуковым.

Жукова Сталин любил, Жукову он верил.

Но то, что Жуков воспринял его резкие слова как личное оскорбление, не укладывалось в сознании Сталина. Он был убежден, что на Сталина нелепо, даже преступно обижаться, как нелепо и преступно обижаться на партию, на государство, на народ.

Жуков позволил себе в столь тяжелое для страны время пригрозить отставкой, разумеется будучи уверен, что она не будет принята. Что ж, пусть он отучится бросаться словами, разговаривая со Сталиным...

Возвращаясь в ночь на 30 июля в свой загородный дом, Сталин был в тяжелом настроении — потеря Смоленска, судьба Киева не давали ему покоя.

Вспомнив с раздражением об инциденте с Жуковым, он старался не думать больше об этом и сосредоточиться на предстоящей завтра встрече с посланцем Рузвельта Гарри Гопкинсом.

...— Я приехал как личный представитель президента, господин Сталин, — сказал Гопкинс, садясь на указанное ему место за длинным столом и стараясь говорить так, чтобы слова его звучали как можно менее торжественно. — Мне хотелось бы изложить вам некоторые общие взгляды президента на происходящие события.

Сталин, сидевший напротив Гопкинса, молча кивнул.

Американец говорил резкими, короткими фразами. И переводчик тщательно подражал его интонации,

чтобы Сталин мог получить полное впечатление, переводил английские слова на русский почти синхронно, откликаясь, точно эхо.

— Президент считает Гитлера врагом человечества... — звучало в ушах Сталина. — Он видит свой долг в защите демократии... Он желает помочь Советскому Союзу в борьбе против Германии...

«Кто же он все-таки такой, этот Гопкинс?» — думал Сталин. Американец импонировал ему своей суховатой, лишенной пафоса манерой говорить. Но может быть, это только игра, попытка покорить собеседника чисто внешними средствами?.. Говорят, что этот Гопкинс пользуется несомненным влиянием на Рузвельта. Почему? И какова подлинная цель его приезда? Выяснить, не находится ли Советский Союз на грани полного поражения? И в зависимости от этого решить, есть ли смысл нам помогать? Каковы подлинные намерения Рузвельта и в какой мере они согласованы с Черчиллем, у которого Гопкинс был совсем недавно?

Сталин слушал, не спуская с Гопкинса внимательного, пристального взгляда, стараясь не только не пропустить ни слова из того, что тот говорил, но и проникнуть в его невысказанные мысли.

А Гопкинс, делая паузы между четкими, короткими фразами, говорил сейчас о том, что не является дипломатом, что миссия его неофициальная и что он не имеет полномочий для заключения каких-либо формальных договоров...

Эта фраза насторожила Сталина, хотя он не выдал своих чувств ни одним движением, по-прежнему спокойно и уважительно слушая Гопкинса. Просто его последние слова напомнили Сталину, как два года тому назад в Москву приезжали английская и французская делегации якобы для заключения оборонительного союза против Гитлера. В ходе переговоров выяснилось, что полномочий у них нет никаких, да и стремились они к одному — чтобы переговоры закончились безрезультатно.

Что же означают слова Гопкинса? Хочет ли он сказать, что его миссия является лишь предварительной или, наоборот, что он готов решать вопросы по-деловому, отбросив дипломатические условности?

Гопкинс умолк. Переводчик поспешно перевел его последние слова:

— ...президент желает не только оказать Советскому Союзу всю возможную помощь, но и сделать это в максимально короткий срок.

Сталин наклонил голову в знак того, что понимает и одобряет намерения президента, но продолжал хранить молчание.

Гопкинс обменялся взглядом с сидящим несколько поодаль Штейнгардтом, потом снова внимательно посмотрел на человека в серой, наглухо застегнутой куртке.

Он попытался прочесть тайные мысли Сталина на его лице. Однако это лицо со следами оспы на щеках было непроницаемо.

Сталин медленно опустил руку в карман и вынул небольшую, изогнутую трубку.

«Интересно, какую он курит трубку?» — подумал Гопкинс. Он скользнул по ней взглядом и убедился, что это, во всяком случае, не «донхилл» и не «чарритон». В Штатах или в Англии любой человек, занимающий высокое положение, если бы и курил трубку, то, конечно, одной из этих прославленных фирм.

Сталин не закурил свою трубку, а просто зажал ее в кулаке и снова молча, хотя и доброжелательно посмотрел на американца.

«Видимо, он не доверяет мне, — подумал Гопкинс, именно так истолковав молчание Сталина. — Что ж, по-своему он прав. Я для него представитель чуждого мира. Я приехал из страны, политические деятели которой, не говоря уже о газетах, из года в год поносили его самого и его страну. Сегодня они хором пророчат им гибель...

Но, может быть, — неожиданно пришла в голову Гопкинса мысль, — он думает сейчас о том, что если бы намерения президента были серьезными, то он прислал бы в Москву не меня, а кого-либо из официальных высокопоставленных лиц? Скажем, государственного секретаря или министра обороны?..»

— Я хочу сказать еще несколько слов, — решительно произнес Гопкинс, — на этот раз о себе. Мне трудно объяснить свое место в нашей стране. Однако президент оказывает мне доверие. И если бы я сомневался, что он внимательно прислушивается к тому, что я доложу ему по возвращении, то не сидел бы сейчас здесь. И последнее: намерения президента вполне определенны. Его отношение к агрессии Гитлера вообще и к его нападению на Советский Союз в частности он выразил на одной из пресс-конференций, сказав: «Если в доме соседа пожар...»

Неожиданно Сталин сделал движение рукой с зажатой в кулаке трубкой, как бы прерывая Гопкинса, и повторил:

— «Если в доме соседа пожар, а у тебя есть садовый шланг...» Верно?

— Вы совершенно правы, — поспешно сказал Гопкинс и добавил: — У вас отличная память, господин Сталин.

— Да, у меня хорошая память, — ответил спокойно Сталин.

«Что он имеет в виду, на что намекает? — подумал Гопкинс. — Может быть, на речь президента, ту самую, о которой мне напомнил Дэвис?»

Но Сталин не имел в виду именно ту речь. Он просто хотел сказать, что внимательно следит за высказываниями президента Соединенных Штатов, особенно за теми, которые относятся к войне.

Сталин был убежден, что отнюдь не просто гуманные побуждения руководили Рузвельтом, когда он посылал Гопкинса в Москву. Президент, несомненно, понимал, что если кто-либо в мире и в состоянии сегодня поставить заслон на пути Гитлера к мировому господству, то только Советский Союз.

Готов ли Рузвельт вступить в антигитлеровскую коалицию? Понял ли он, что именно в этом его исторический долг? Только на этот вопрос хотел получить сейчас ответ Сталин.

Гопкинс сказал с неуверенной улыбкой на лице:

— Сегодня вы должны доверять президенту.

— Сегодня я доверяю президенту, — ответил Сталин

без улыбки на лице, и слова его прозвучали серьезно и весомо. — И именно потому, что я верю президенту, — продолжал Сталин, — и верю в возможность создания мощной антигитлеровской коалиции, хочу сказать вам следующее...

В нескольких резких, убийственно разящих словах Сталин охарактеризовал руководителей современной Германии. Подчеркнул, что для них любые договоры не более чем бумажки, хотя долг каждой нации — свято выполнять свои международные обязательства...

Этим он дал понять, что если Советский Союз примет помощь Америки на определенных договорных условиях, то будет неуклонно их выполнять.

Затем он перешел к характеристике событий на советско-германском фронте. Коротко, но откровенно рассказал о тяжелом положении, в котором находится сейчас Красная Армия. Твердо и спокойно заявил, что советский народ никогда не покорится немецким захватчикам и будет сражаться до полной победы.

...Пройдет немного времени, и Гарри Гопкинс изложит свои впечатления о Сталине в одном из американских журналов, а несколько лет спустя, когда болезнь уже сведет Гопкинса в могилу, другой американец, Роберт Шервуд, писатель, близко знавший как Рузвельта, так и Гопкинса, воспроизведет эти строки в своей документальной книге о помощнике президента.

Гопкинс писал, что во время беседы с ним Сталин ни разу не повторился и говорил так же, «как стреляли его войска: метко и прямо». «Иосиф Сталин знал, чего он хочет, знал, чего хочет Россия, и он полагал, что вы также это знаете...»

Но эти свои ощущения Гопкинс сформулирует несколько позже. А сейчас он внимательно слушал Сталина, думая о том, что никто из знакомых ему людей, будучи сейчас на месте этого человека в полувоенной одежде, не смог бы так откровенно и, видимо не заботясь о том, какое впечатление это произведет на собеседника, высказать свою точку зрения.

Желая еще раз подчеркнуть, что он является человеком дела, Гопкинс решил поставить перед Сталиным два вопроса. Он хотел знать, в чем заключаются неотложные военные нужды Советского Союза и что потребуется России, если война затянется.

Гопкинс не рассчитывал на точные ответы, полагая, что Сталин выскажется в самой общей форме или отошлет его к военным экспертам.

Но Сталин ответил немедленно и точно. Казалось, он предвидел, что Гопкинс спросит его именно об этом. Он назвал количество зенитных орудий, пулеметов и винтовок, алюминия для производства самолетов и авиационного бензина... Он говорил открыто и вместе с тем не подчеркивая своей откровенности, как бы давая понять, что считает ее естественной в разговоре между союзниками.

Теперь Гопкинс уже полностью находился под влиянием личности своего собеседника. Он даже забыл о том, что совсем недавно старался прочесть тайные мысли Сталина или произвести на него какое-то особое впечатление. Теперь они разговаривали, как два доверяющих друг другу человека, занятых делом огромной важности и ни о чем, кроме этого дела, не помышляющих.

Они обсудили возможность присылки в Советский Союз инструкторов для обучения советских летчиков вождению тех американских самолетов, которые будут доставлены из Соединенных Штатов, наметили наиболее выгодные и безопасные пути переброски американских грузов...

Наконец Гопкинс, впервые за время этой беседы взглянувший на часы, спросил, не злоупотребляет ли он временем господина Сталина и желает ли тот в дальнейшем лично обсуждать подробности и технические детали или поручит это своим специалистам. Лично он, заметил при этом Гопкинс, предпочел бы и в дальнейшем вести переговоры непосредственно со Сталиным.

В первый раз улыбнувшись, Сталин ответил:

— Вы наш гость. Воля гостя — закон.

Однако улыбка тут же исчезла, и он уже серьезно добавил, что каждый день от шести до семи вечера будет в распоряжении господина Гопкинса.

Уже прощаясь, Гопкинс сказал, что хотел бы дать интервью об этой встрече представителям англо-американской прессы, и поспешно добавил, что не возражает, если сообщения корреспондентов из Москвы подвергнутся контролю советской цензуры.

Сталин раскурил трубку, сделал глубокую затяжку и ответил, чуть сощурившись:

— Для друзей наших и врагов Гитлера у нас нет цензуры.

И, указывая изогнутым мундштуком на Гопкинса, добавил:

— Все, что скажете вы, — он подчеркнул это «вы», — не будет нуждаться в контроле. Наше дело справедливое. Мы не боимся суда истории.

После того как закончилось заседание Политбюро, на котором Сталин рассказал о первой беседе с Гопкинсом, он поехал в Волынское. Машина мчалась по пустому Арбату. Взглянув в окно, Сталин обратил внимание на военный патруль. Командир с красной повязкой на рукаве и двое бойцов с автоматами на груди шли вдоль улицы мерным, медленным шагом.

— Почему патруль с автоматами, когда их не хватает на фронте? — проговорил Сталин.

Не оборачиваясь к сидящему на заднем сиденье генералу — начальнику Управления охраны, он приказал ему напомнить об этом завтра.

Вернувшись на дачу, Сталин соединился с дежурным генералом Генштаба. За истекшие часы на фронтах существенных изменений не произошло. Положение на Киевском направлении продолжало оставаться напряженным.

— Где Жуков? — спросил Сталин, забыв, что Жуков уже не начальник Генштаба.

Ему ответили, что генерал армии отбыл в район Гжатска, к месту нового назначения.

— Хорошо, — после паузы сказал Сталин и добавил: — Передайте, что завтра я с ним свяжусь во второй половине дня.

Он положил трубку на рычаг и вышел в сад. Стояла глубокая ночь. По небу ползали белесые лучи прожекторов, время от времени вырывая из темноты тела аэростатов воздушного заграждения. Было тихо.

Глава XIV

После посещения Ворошиловым и Васнецовым дивизии народного ополчения Федор Васильевич Валицкий был вызван в штаб, где услышал, что отчисляется из дивизии и должен вернуться в Ленинград, к месту своей гражданской службы.

В тот день два полка дивизии проводили операцию по окружению авиадесанта, выброшенного противником, и комдиву было не до Валицкого. К тому же, получив приказ о Валицком от члена Военного совета фронта, он считал этот вопрос решенным. Поэтому на возражения Валицкого комдив отвечал неохотно и односложно.

Растерянный, обиженный, Валицкий бросился к Королеву. Но и тот ничем не мог ему помочь. Королев разъяснил Валицкому, что приказ об отчислении вызван не тем, что он, Валицкий, бесполезен в дивизии, а стремлением не подвергать его жизнь опасности.

Но, понимая, как болезненно переживает старик свою «отставку», Королев, неожиданно для самого себя перейдя на «ты», сказал:

— Не огорчайся, Федор Васильевич! Война большая, и для тебя в Ленинграде дело найдется. Ты ведь теперь солдат. Сказано идти в бой — иди. Велят отправляться в тыл — выполняй и этот приказ. Вот и я так же: послали воевать — воюю. Завтра прикажут на завод вернуться — вернусь без звука. На войне как на войне.

Не сами слова Королева, а то, что он говорил сочувственно и дружески, потрясло Валицкого. Он был уверен, что между ним и Королевым стоит стена, что Королев никогда не простит ему поведения сына и, кроме того, в душе относится к нему, как к старому барину.

Но теперь Федор Васильевич понял, что ошибался, что стены этой больше не существует. Он по-юношески порывисто, с благодарностью пожал руку Ивана Максимовича. Ему захотелось притянуть к себе Королева, обнять его, но он тут же испугался своего, как ему казалось, сентиментального порыва.

Несколько мгновений Королев не выпускал руку Валицкого, сочувственно глядя на стоявшего перед ним высокого человека в красноармейской гимнастерке, которая была ему явно не по росту, в кирзовых сапогах. Он понимал, что делается сейчас в душе старого архитектора, чей путь так неожиданно скрестился с его собственным.

Он, как всегда, когда видел Валицкого, с болью подумал о Вере и с удивлением отметил, что не испытывает никакой неприязни к отцу Анатолия.

Больше того, Королев почувствовал, что судьба Веры теперь не разъединяет, но каким-то образом объединяет их.

Он выпустил руку Валицкого и тихо сказал:

— Кланяйся там Питеру.... Все за него сражаемся. И не горюй, не в Ташкент едешь, Ленинград — тот же фронт.

...На следующий день Валицкий снова оказался в Ленинграде.

Полуторка довезла Федора Васильевича до улицы Стачек, откуда ему предстояло добираться до дома уже городским транспортом.

С трудом перекинув ноги через борт автомашины, Валицкий тяжело спрыгнул на мостовую. Красноармеец-попутчик протянул ему сверху небольшой чемодан и шинель, сказал: «В добрый путь, папаша!» — и помахал на прощание рукой.

Полуторка уже уехала, а Валицкий, высокий, неуклюжий, странно выглядевший в армейской пилотке, из-под которой выбивались седые волосы, в гимнастерке, едва доходившей ему до бедер, держа в одной руке потертый чемоданчик из крокодиловой кожи, сохранившийся у него еще с дореволюционных времен, в другой — помятую шинель, все еще растерянно стоял посреди мостовой.

Он очень давно не бывал в этом далеком, окраинном районе Ленинграда и теперь озирался, стараясь определить, где находится трамвайная остановка. Заметив, что прямо на него движется колонна грузовиков, он поспешно перешел на тротуар. Внезапно Федор Васильевич ощутил страшную усталость, которую не испытывал ни разу, пока был в дивизии.

Да, оказалось, что ему, типично городскому, привыкшему к комфорту, не знавшему никаких бытовых забот человеку армейская жизнь совсем не в тягость.

Он спал, как и все, в блиндаже, на нарах, не раздеваясь, подложив противогаз под голову и укрывшись шинелью. Он не раз слышал свист пуль, когда на переднем крае наблюдал за строительством укреплений, и мысль о том, что одна из этих пуль может стать для него роковой, даже не приходила ему в голову.

Душевное спокойствие, которое Валицкий обрел там, в дивизии, обрел впервые с того дня, как началась война, значило для него гораздо больше, чем все лишения походной жизни.

И вот теперь он медленно шел, с трудом передвигая ноги, и не испытывал никакой радости от того, что вновь находится в родном городе.

Все те мысли, от которых он отрешился, которые перестали мучить его во время короткого пребывания на фронте, снова обрушились на Федора Васильевича.

Еще вчера он был уверен, что делает единственно важное сейчас дело. И вот он снова никому не нужен.

«Нет, нет, — говорил себе Валицкий, медленно идя по тротуару, — я приехал сюда лишь временно. Я завтра же пойду в Смольный к Васнецову и буду требовать, чтобы меня вернули в дивизию. Он не может, не имеет права мне отказать. Я честно работал. Я приносил пользу, пользу, пользу!..

Но может быть, какую-то роль в моем увольнении сыграла та встреча с Ворошиловым и Васнецовым на переднем крае? Конечно, я вел себя глупо, разговаривая с ними недостаточно почтительно! Пришел в ненужное возбуждение. И все-таки я был прав, ведь противотанковый ров отрыли такой ширины, что вражеский танк мог использовать его как укрытие!»

Валицкий вспомнил, как все стояли навытяжку перед маршалом и только он, один он, кипятился, разма-

хивая руками, требовал увеличить штат инженеров, ни к селу ни к городу ссылался на Тотлебена и других классиков фортификационного дела...

«Неужели именно после этого меня решили отчислить? — снова подумал Валицкий. — Но тогда это глупо, нелепо! В конце концов я готов написать Ворошилову письмо, извиниться перед ним, если это нужно! Он должен понять, что лишь забота о пользе дела двигала мною тогда, заставила вступить в спор... Да и спора-то, собственно, никакого не было!

И тем не менее... Нет, я завтра же пойду к Васнецову! Но это завтра. А что будет сегодня? Что будет через час, даже меньше, через сорок минут, когда я переступлю порог квартиры?.. Как встречусь с Анатолием? Ведь после того объяснения между нами не было сказано ни слова. Анатолий даже из дома ушел, когда я собирался в ополчение, ушел, чтобы не прощаться... Да и в Ленинграде ли сейчас сам Анатолий?..»

О жене Валицкий не беспокоился. Уходя, он оставил ей достаточно денег и был уверен, что в доме ни в чем не нуждаются.

...Валицкий шел мимо громады Кировского завода. Из открытых ворот, наполняя улицу гулом мощных двигателей, выползали танки. На броне белой краской было выведено: «Смерть немецким оккупантам!»

Наконец Федор Васильевич нашел нужную ему остановку и сел в трамвай, идущий к центру города.

Вскоре трамвай поравнялся с Нарвскими воротами. Федор Васильевич окинул взглядом это старинное, знакомое ему до мельчайших деталей сооружение и вспомнил неразличимые отсюда, высеченные на воротах надписи: «Бородино... Тарутино... Малоярославец... Лейпциг... Париж...» И ему вдруг представилось, что он видит не эту каменную, девяносто лет назад построенную архитектором Стасовым, а стоявшую некогда на этом же месте другую арку — деревянную, воздвигнутую великим Кваренги в 1814 году в честь победы над Наполеоном, — ведь именно отсюда входили в столицу русские солдаты, возвращавшиеся из Парижа.

Ни отец Валицкого, ни, конечно, он сам никогда не видели той арки, она была знакома Федору Васильевичу лишь по литографиям.

Но сейчас ему казалось, что он видит ее воочию. Под аркой проходят солдаты. Но не те, старые, в высоких киверах, с длинными ружьями на плечах, а сегодняшние, в пилотках, в пропотевших гимнастерках, с развернутыми красными знаменами...

«Интересно,— подумал Валицкий, — соорудят ли новую Триумфальную арку, когда окончится война, — ведь по этому же пути будут возвращаться в Ленинград его защитники... Но когда это будет?..»

Кто-то тронул его за плечо. Резко обернувшись, Федор Васильевич увидел девушку-кондуктора.

— Билет взяли?

— Билет? — недоуменно переспросил Валицкий. — Ах да, да, конечно, простите...

Он поспешно поставил чемоданчик, положил на него шинель и опустил руку в карман своих армейских брюк.

Но там не было ни копейки. Валицкий вспомнил, что, уходя в ополчение, оставил все деньги жене.

Уже убедившись, что в карманах, кроме носового платка, пары грязных подворотничков, записной книжки и огрызка карандаша, ничего нет, Валицкий продолжал шарить, надеясь на чудо. Он заметил, что люди, стоящие рядом, — сержант с треугольниками в петлицах, пожилой мужчина с противогазом через плечо и двое женщин с «авоськами», — внимательно на него смотрят.

— Простите... — пробормотал Валицкий, чувствуя, что краснеет, — но у меня... я не захватил с собой денег! Я сейчас же сойду... Извините!

— Какой разговор, отец! — весело сказал сержант, сунул руку в брючный карман и протянул кондукторше монетку: — Прошу, дорогуша!

— Нет, нет, что вы! — еще больше смущаясь, воскликнул Валицкий.

— Что значит «что вы»? — вскинул свои белесые брови сержант. — Взаимная выручка в бою!

Он подмигнул сначала кондукторше, потом Валицкому, взял билет и, передавая его Федору Васильевичу, сказал полушутя-полусерьезно:

— Прошу, товарищ боец, после войны сочтемся!

Валицкому было неловко: первый раз в жизни незнакомый человек заплатил за него в трамвае. Но к этому чувству неловкости примешивалось радостное чувство общности с этим молодым сержантом, сознание, что оба они приобщены к самому важному, самому опасному и почетному сейчас делу.

— Очень вам обязан, — пробормотал Валицкий.

...Не по возрасту легко Валицкий взбежал по лестнице и нажал кнопку звонка. «Кто откроет мне дверь? Маша? Анатолий? Тетя Настя?» — старался угадать он.

Но дверь не открывали.

Федор Васильевич непрерывно нажимал кнопку, слушая, как там, в прихожей, надрывно звенит звонок. Видимо, дома никого не было.

Только сейчас Федор Васильевич вспомнил, что, уходя в ополчение, захватил с собой ключ от квартиры. Он открыл чемоданчик, нашарил в нем ключ.

В прихожей было темно.

Валицкий бросился в столовую. На большом, овальном, красного дерева обеденном столе белел лист бумаги. Валицкий схватил его и прочел:

«Мой дорогой! Пишу на тот случай, если ты вернешься, а меня еще не будет. Умоляю, не беспокойся. Со мной все хорошо. Просто упала на улице во время воздушного налета и слегка подвернула ногу. Однако взяли в больницу. Я не хотела, но одной дома мне было бы трудно. Настя поступила работать на завод, а Толеньку призвали в армию три дня назад. На кухне есть кое-какая еда — консервы и копченая колбаса, поешь, очень тебя прошу. Деньги — в серванте, под твоей любимой чашкой. Я в больнице, она находится...»

Придя в больницу, Валицкий узнал, что жена, конечно же, обманула его. Она не «подвернула ногу», а была ранена осколком в бедро. Врач сказал, что ей придется пробыть в больнице еще не меньше недели...

Федор Васильевич провел у постели жены несколько часов. Она лежала маленькая, похудевшая, еще больше постаревшая. Задавала ему бесконечные вопросы — как жил, где спал, как питался, было ли очень опасно... Говорила об Анатолии — как пришла повестка, как про-

вожала его до места сбора, на площади перед Московским вокзалом. И ни слова о себе.

Валицкий слушал ее, едва сдерживая слезы.

Когда медсестра выпроводила его из палаты, был уже вечер. По дороге домой Валицкий зашел в маленькое, освещенное синей лампочкой кафе-«забегаловку», съел пару крутых яиц, выпил чашку кофе.

Дома было пусто и сумрачно. Федор Васильевич проверил маскировку на окнах, зажег свет, прошел к себе в кабинет.

Его снова окружали привычные, некогда так любимые им вещи. На столе, на рамах картин, на стеклах книжных шкафов лежал слой пыли.

Валицкий вдруг почувствовал, что не хочет ни к чему прикасаться. Ему казалось, будто он в музее, где собраны вещи, памятные ему по далекому детству, но ненужные сейчас, ставшие чужими.

Он сел в глубокое кожаное кресло. Расстегнул воротничок гимнастерки. Прислушался. Было тихо.

«Доктор говорит, что кость не задета, через неделю, максимум через десять дней Маша будет здорова, — думал он. — Ее надо отправить к дальним родственникам в Куйбышев. Ленинград может стать фронтовым городом. К тому же и я здесь только временно. Добьюсь разрешения вернуться в дивизию.

Анатолий на фронте. Что ж, это хорошо. Нет вины, которую нельзя было бы искупить. Даже преступникам нередко дают право смыть свой позор кровью...»

Валицкому вдруг стало страшно. Он понял, что сына могут убить. Толя может погибнуть, так и не узнав, как был дорог отцу, считая его своим врагом.

«Нет, нет, этого не может быть! — в смятении подумал Валицкий. — Маша сказала, что Толя обещал написать, как только узнает номер своей полевой почты». И тогда он ответит ему. Немедленно ответит...

Вдруг Федор Васильевич услышал звонок. Робкий, настолько короткий, что Валицкий решил, что ему почудилось. Прислушался. Звонок раздался снова.

«Кто бы это мог быть? — подумал Валицкий, направляясь в прихожую и на ходу проверяя, хорошо ли замаскированы окна, — дежурные МПВО иногда звонили или стучали в дверь, когда из окон на улицу пробивался свет. — Может быть, почтальон? Письмо от Толи?..»

Он поспешно открыл дверь. На пороге стояла девушка. Невысокая, совсем молоденькая. В белом плаще, с противогазной сумкой через плечо. Очевидно, все-таки дежурная...

— Простите, — сказал она неуверенно, — ведь это квартира архитектора Валицкого?

Очевидно, ее смутила красноармейская форма, в которую был одет хозяин дома...

— Да. Чем могу служить? — спросил Валицкий.

— Извините, — еще более робко сказал девушка,— я хотела бы... Анатолий дома?

Валицкий вздрогнул, сделал полшага назад, провел языком по мгновенно ставшими сухими губам и спросил, осененный внезапной догадкой, почти шепотом:

— Вы... Вера?!

— Да, — так же тихо ответила она, — я Вера.

«Ну вот, ну вот, — стучало в висках Валицкого, — вот и возмездие. Она пришла для того, чтобы сказать Анатолию в глаза все, что думает о нем!.. Это ее он бросил в беде, оставил, предал!..»

— Он... на фронте, Толя на фронте! — торопливо проговорил Валицкий.

— Толя на фронте... — точно эхо, повторила Вера и добавила уже чуть слышно: — Тогда... простите...

Она медленно повернулась и пошла к лестнице.

«Что я делаю, я негодяй, подлец, — опомнился Валицкий, — ведь эта девушка вернулась, вернулась оттуда!.. Она спаслась, жива, а я...»

— Ради бога! — крикнул он, выбегая на лестничную площадку. — Вера! Куда же вы?!

Вера обернулась. Она все еще не понимала, что происходит, кто этот старик в красноармейской форме, откуда он ее знает.

— Вы... отец Толи? — вымолвила она наконец.

— Да, да, конечно! — торопливо ответил Валицкий. — Но ради бога, заходите, мне нужно с вами поговорить.

Вера неуверенно пошла обратно к двери.

— Я вам все расскажу, все расскажу, — повторял Валицкий, помогая Вере снять противогаз и плащ.

Он провел ее в свой кабинет, усадил в кресло.

Теперь Валицкий не знал, что сказать. Перед Верой, одного слова которой было достаточно, чтобы окончательно пригвоздить Анатолия к позорному столбу, Федор Васильевич вдруг почувствовал себя совершенно беспомощным.

— Я знаю, как вы попали к немцам, — наконец проговорил Валицкий. — Анатолий мне все рассказал. Это — счастье, что вы вернулись... Расскажите, пожалуйста, что было с вами потом, когда Анатолия увели немцы. Как вам удалось спастись?

Вера вздрогнула.

— Я не хочу говорить об этом! — вскрикнула она.— Ничего не хочу вспоминать! И о нем не хочу сейчас говорить. Не хочу!

Валицкий стоял, потрясенный не только словами Веры, но и той переменой, которая в ней произошла.

«Что ж, — горько подумал он, — я должен и через это пройти. Сын за отца не отвечает. А отец за сына?.. Боже мой, да захочет ли она выслушать меня? О чем думает сейчас? Неужели в ее душе нет ни капли снисхождения к нему?»

Если бы он знал, о чем думала сейчас Вера!..

С тех пор как Вера рассталась со Звягинцевым, она жила мыслями об Анатолии. Она считала его погибшим и, услыхав, что он жив и находится в Ленинграде, не могла прийти в себя от радости.

Но проходили часы, и к этому чувству стало примешиваться другое, тревожное и горькое. Она представляла, как они встретятся, и ей становилось жутко.

Горечь, отчаяние, отвращение к себе овладели Верой. Она не могла спать, потому что, как только закрывала глаза, все начиналось сначала. Ее слепил пронзительный луч фонарика, она ощущала на своем лице зловонное дыхание немца... Вера в ужасе вскакивала. Ей хотелось уйти, убежать от самой себя, сбросить собственную кожу, которая была ей теперь ненавистна, потому что к ней прикасались т е руки...

Страшные минуты, которые Вера пережила там, на чердаке дома Жогина, перевернули ей душу. Ей хотелось мстить, только мстить. Бездонная, черная пропасть лежала между ее безмятежной юностью и сегодняшним днем, между прошлым и настоящим. Вера сказала себе, что не должна встречаться с Анатолием. Ей достаточно знать, что он жив, что ему удалось спастись...

Однако, вернувшись в Ленинград, она в первый же день не выдержала и позвонила Анатолию.

Вера убеждала себя, что звонит не для того, чтобы говорить с Анатолием, что повесит трубку, как только услышит его голос: ей только нужно убедиться в том, что Толя здесь, что он жив и здоров.

Пусть он не знает, что она вернулась. Пусть для него ее не будет на свете, она умерла, погибла там, у немцев. Может быть, когда-нибудь потом, когда кончится война, она все же даст ему знать о себе. Но голос его она должна услышать. Только голос!.. Вера назвала номер и застыла, до боли сжимая трубку.

Никакого ответа.

Она позвонила через полчаса снова. И опять никто не подошел к телефону.

Вера пошла в райком комсомола. Она решила просить, чтобы ее отправили на фронт медсестрой.

Но в райкоме сказали, что она должна явиться в свой мединститут, где продолжаются занятия по ускоренному курсу обучения.

В институте подруги рассказали Вере, что пока неизвестно, сколько времени они будут учиться, выпустят их врачами или фельдшерицами, все зависит от положения в Ленинграде.

Вечером Вера снова позвонила Анатолию. И снова его телефон молчал. Ложась спать, она решила, что все к лучшему и больше звонить не будет. Утром пошла в институт. Вернувшись домой, позвонила опять...

На следующий день из института она направилась не домой, а к Анатолию. Вера знала, где он живет.

В доме был всего один подъезд, а квартиру Вера легко нашла по дверной медной дощечке, на которой старинной, причудливой вязью было выгравировано: «Федор Васильевич Валицкий».

Нажав кнопку звонка, она испугалась, поняв, что сейчас увидит человека, встретить которого мечтала и боялась больше всего на свете.

Но дверь никто не открывал.

«Ну вот, ну вот, — повторяла про себя Вера, — значит, Анатолия все же нет в Ленинграде, а родители его, наверное, эвакуировались. Но где же он?..»

Она на всякий случай еще раз нажала кнопку звонка. Дверь открылась, и на пороге появился седой старик в военной гимнастерке...

Странное поведение отца Анатолия, который откуда-то знал ее, привело Веру в состояние полной растерянности. Но потом, поняв главное: что Анатолий жив и здоров, но его здесь нет, — она почувствовала огромное облегчение и теперь думала только о том, как бы скорее уйти.

Но этот старик, отец Анатолия, не отпускал ее.

Когда Валицкий с какой-то неистовой настойчивостью спросил, что с ней произошло после того, как Толю увели немцы, Вере на какое-то мгновение показалось, что ему известно о самом ужасном, самом страшном, что ей пришлось пережить. Охваченная ужасом, она что-то крикнула ему в ответ, чтобы заставить его замолчать...

Но Валицкий понял ее слова совсем иначе, потому что все его мысли были в этот момент обращены к сыну. Он сказал тихо и как-то безнадежно:

— Я не защищаю Анатолия. Нет. Я даже не прошу вас быть снисходительной к нему...

Вера с удивлением прислушалась к его словам. Что он говорит? Кого не хочет защищать? Снисхождение? К кому? Неужели что-то случилось с Анатолием?

Она спросила встревоженно:

— О чем вы, Федор Васильевич?

Валицкому показалось, что Вера просто щадит его. Он с горечью усмехнулся:

— Не надо, Вера. С моей стороны было бы слишком жестоко испытывать ваше благородство.

— Но я не понимаю, о чем вы?! — на этот раз уже настойчиво повторила Вера.

Валицкий пристально посмотрел в ее широко раскрытые глаза.

— Анатолий — мой единственный сын, Вера. Он дорог мне. Но поверьте, я нашел в себе силы, чтобы осудить его.

— Осудить? — с недоумением воскликнула она.

— За то, что он оставил вас там, в этом аду. Сам спасся, а вас бросил, — медленно и твердо, точно вынося обвинительный приговор, сказал Валицкий.

Вера вскочила с кресла.

— Как «бросил»? Откуда вы это взяли? Толя хотел защитить меня! Его избивали на моих глазах! А потом увели. Я не знаю, как ему удалось бежать.... А мне... мне потом помогли женщины-колхозницы.

Валицкий стоял ошеломленный. Он вслушивался в сбивчивую речь Веры, впитывал каждое ее слово, стараясь понять, говорит она правду или просто простила Анатолия и теперь старается защитить, обелить его.

Наконец он произнес почти беззвучно, с надеждой, но все еще боясь поверить в искренность Веры:

— Значит, вы думаете... значит, он...

Вере стало жалко старика. Он стоял перед ней, седой, нелепый в своем не по росту подобранном красноармейском обмундировании...

Ей показалось даже, что он пошатнулся.

Она схватила его за руку.

— Федор Васильевич, что с вами? Вам нехорошо?

Валицкий перехватил ее руку, крепко сжал.

— Нет, нет, — сказал он, — все хорошо. Так, как никогда не было...

Он снова умолк и стоял неподвижно, глядя куда-то в пространство, по-прежнему сжимая руку Веры.

То, что Вера — именно Вера! — защищала Анатолия, не сомневалась в его порядочности, было для Валицкого важнее всех собственных логических сопоставлений.

Страстно желая, чтобы свершилось чудо и сын оказался действительно ни в чем не виновен, Валицкий в эти минуты был не в состоянии снова анализировать поведение Анатолия. Он не думал ни о чем, кроме одного: «Вера, сама Вера защищает его!

Боже, боже мой, я старый, выживший из ума дурак, сухарь, деспот! — говорил себе Валицкий. — Как я посмел заподозрить его?! Какое у меня было на это право? Мой мальчик ушел на фронт, может быть, на смерть, с сознанием, что родной отец оскорбил его, унизил, обвинил в поступке, несовместимом со званием честного человека... И вот я стою здесь, а он там, под пулями...»

Наконец он перевел свой взгляд на Веру. Она показалась ему милой, ласковой, красивой... Он не замечал ни худобы ее лица, ни потрескавшихся губ, ни лихорадочно блестевших глаз — нет, нет, ее светлые, расчесанные на косой пробор волосы были мягкими, нежными, точно у ребенка, и губы — тоже детскими, и глаза, в которых стояли слезы, — самыми доверчивыми в мире глазами. Подчиняясь непреодолимому желанию, Валицкий притянул Веру к себе, обнял...

Прикосновение к ее волосам вызвало в нем далекое, смутное воспоминание о сыне, когда тот был еще совсем маленьким, о его светлых, мягких, как пух, волосах...

Наконец он резко выпрямился и тихо сказал:

— Сядьте, Веронька, прошу вас. Вы доставили большую радость. Может быть, вы... вы вернули мне сына.

Внезапно он вспомнил...

— Скажите, Вера, — проговорил он торопливо. — Толя рассказывал мне, что получил какое-то важное поручение... Впрочем.... — его голос зазвучал неуверенно, — вы могли об этом не знать.

— Нет, нет, я знала! — столь же поспешно откликнулась Вера, всем существом чувствуя, как важно Валицкому знать все о своем сыне. — Это был человек, с которым мы встретились в поезде. Я даже фамилию его запомнила: Кравцов! Он действительно дал Толе поручение, только не знаю, какое именно. Они скрывали от меня, боялись, что не выдержу, если попаду к немцам...

Валицкий облегченно вздохнул. Значит, и это правда!

Теперь он думал о том, что если в рассказе Анатолия и были какие-то несообразности, противоречивые факты, если, например, Толя утверждал, что имел при себе комсомольский билет, который в действительности оставил дома, то все это психологически объяснимо. Ведь бывает, что человеку, чувствующему, что его в чем-то напрасно подозревают, кажется, что, рассказав чистую правду, он не сумеет рассеять подозрения, и он старается представить все в более красочном виде...

В эти счастливые для него минуты Валицкий не мог предполагать, что Вера ошибается, что ей неизвестна вся правда об Анатолии...

Валицкий торжествовал. Сама Вера говорит, что Анатолий не виновен! Если бы это мог слышать сейчас Королев!

— Вы видели своего отца, Вера? Он знает, что вы вернулись? — спросил Валицкий, уже через мгновение сообразив, что Королев, с которым он простился только вчера, ничего не знает о дочери.

Вера покачала головой.

— Папы нет в Ленинграде. Он в ополчении, и я...

Валицкий всплеснул руками, не дал ей договорить:

— Я отлично знаю, где Иван Максимович! Я только сегодня вернулся из той самой дивизии! Могу дать вам адрес, то есть номер полевой почты, вы должны немедленно ему написать!

Веру тронула забота этого странного человека о ее отце, хотя то, что они знакомы, показалось ей невероятным.

— Спасибо, я все знаю, — сказала она. — Хотела поговорить с папой по телефону из Луги, но не работала связь. А потом его не было на месте. В дивизии обещали обязательно ему сообщить...

— Вот и прекрасно, вот и отлично! — приговаривал Валицкий, потирая руки и даже чуть пританцовывая на месте. — Ваш отец, Верочка, очень хороший человек! Очень справедливый человек!

Федор Васильевич пришел в радостное, возбужденное состояние.

Он обошел вокруг кресла, в котором сидела Вера, снова погладил ее по голове, затем потрепал по плечу и, воскликнув: «А сейчас мы будем пить чай!» — выскочил из кабинета.

Вера осталась одна. Она сидела, утопая в глубоком кожаном кресле, и думала:

«Хорошо, что Толи нет в городе. Было бы ужасно, если бы я встретила его именно сейчас. Только бы его не ранило там, на фронте! Только бы он остался жив. Мы еще увидимся когда-нибудь. Не может быть, чтобы э т о не прошло.

Но ведь он-то не знает, что я жива, что я существую на свете!.. Откуда же ему знать! Я напишу ему. Обязательно напишу. Сейчас вернется его отец, и я спрошу адрес... Его отец... Могла ли я думать, что доставлю ему такую радость? Неужели я еще могу кому-то доставлять радость?..»

Валицкий вошел в кабинет, держа две чашки в вытянутых руках, осторожно ступая, чтобы не разлить чай.

Поставив одну чашку на край письменного стола, он протянул Вере другую и сказал:

— Прошу вас, пейте!

Она поднесла чашку к губам, сделала глоток. Чай был горячий и чересчур сладкий, очевидно, Федор Васильевич положил в чашку несколько ложек сахару.

А Валицкий опустился в кресло напротив и снова стал неотрывно глядеть на Веру, забыв о своем чае.

Неожиданная мысль пришла ему в голову: как было бы хорошо, если бы Вера осталась здесь, в этом доме, навсегда! Он не связывал это с будущим своего сына, просто подумал о том, как было бы хорошо, если бы эта маленькая девчушка каждый вечер сидела здесь, в этом кресле...

— Федор Васильевич, — сказала Вера, — можно, я запишу Толин адрес?

Этот вопрос вернул Валицкого к действительности.

— Адрес?.. — переспросил он. — Но у меня еще нет его адреса! Он обещал, что напишет, как только прибудет на место. Если придет письмо, я вам тотчас же дам знать! Разрешите, я запишу ваш телефон.

Она нерешительно назвала номер, и Валицкий записал его на листке настольного календаря, не думая в эту минуту о том, что сам намеревался пробыть в Ленинграде очень недолго.

Записывая, Валицкий взглянул на Веру. Она впилась

глазами в карандаш, которым он выводил цифры. Губы Веры были полураскрыты, вся она подалась вперед.

— Скажите, Вера, — нерешительно спросил Валицкий, — вы... любите Толю?

Она молчала.

— Я прошу вас понять меня, — продолжал он смущенно, — это не любопытство, не контроль, мой сын уже взрослый. А я... я сухой, совсем не сентиментальный человек. — Он говорил, все более волнуясь. — Вся личная жизнь Толи прошла мимо меня. Но теперь война. Я не знаю, увижу ли его снова, нет, нет, я верю, он останется жив, но мне-то, мне уже много лет... Я хочу представить себе его дальнейшую жизнь... Вы... вы будете вместе, когда кончится война, да?

Вера хотела что-то сказать, но губы не слушались ее. Она встала, отошла к окну. Плечи ее тряслись.

— Вера, Веронька, милая, что, что с вами?! — в испуге проговорил Федор Васильевич, подходя к ней. В эту минуту он вдруг вспомнил: Анатолий говорил ему, что там, в Белокаменске, они поссорились. — Толя чем-то обидел вас в этом городке, скажите мне, вам будет легче, скажите! — повторял Валицкий.

— Нет, нет, — сдавленным голосом проговорила Вера, — он ничем не обидел меня. Мне просто... мне просто трудно поверить, что все... все ушло... все кончилось.

Валицкий сжал ее мокрые от слез ладони.

— Родная моя девочка, я очень старый человек и уже совсем не помню, когда я любил и меня любили. Но я знаю жизнь. Вы не хотите сказать, в чем причина ваших слез. Но поверьте мне — это пройдет. «И это пройдет», — сказал когда-то мудрец. Кончится война, снова всюду зажгутся огни... Неужели вы не понимаете, что у вас вся жизнь впереди?!

— Нет, Федор Васильевич, спасибо вам, но я... Если бы я могла отомстить им за все! Я хочу жить только для этого.

— Я сегодня вернулся с Луги, — глухо проговорил Валицкий. — Мой сын на фронте, моя жена ранена во время бомбежки. И все же я живу надеждой. Надеждой на победу и, значит, на будущее. Может, сам я не доживу. Но с меня хватит веры в то, что это будет! Будет победа, будет счастье!

— Если вы бы знали, что я пережила, — безнадежно проговорила Вера.

Валицкий покачал головой.

— Не так давно я пришел к одному человеку и сказал, что у меня большое горе и что поэтому хочу пойти на фронт. Он мне ответил, что на фронт идут не для того, чтобы забыть свое горе, что в такое время нельзя думать только о себе. Слишком много горя кругом. Знаете, кто был этот человек? Ваш отец, Вера! Иван Максимович Королев. И он был прав.

— Но я видела то, что не может присниться даже в страшном сне! — неожиданно горячо заговорила Вера. — Вы когда-нибудь видели, как вешают людей? Как по голове ребенка бьют винтовочным прикладом? Слышали, как воет, страшно, по-собачьи воет обезумевшая мать? Мстить! Только мстить!

— Я понимаю вас, Вера, — с трудом проговорил Валицкий. — Это очень страшно, то, что вы говорите. Я читал о подобном в газетах, но впервые встретил человека, который видел все сам... Представляю себе, сколько вы натерпелись! А ваша матушка дома? — спросил он, чтобы как-то отвлечь Веру от страшных воспоминаний.

— Мама дома.

— Ну вот, это очень хорошо, — удовлетворенно заметил Валицкий. — А Толина мать в больнице. Я постараюсь, чтобы она уехала в тыл, как только вернется домой... А вам, Верочка, не кажется, что и для вас было бы лучше уехать?

Он произнес эти слова под влиянием внезапно родившейся мысли: а что, если организовать все так, чтобы они уехали вместе — Маша и Вера?

— Куда уехать? — недоуменно спросила Вера.

— Ну... я имею в виду... эвакуироваться.

— Нет, нет. Ни за что!..

— Я понимаю... — кивнул Валицкий. — Мне вот тоже предлагали... в свое время.

— А теперь я пойду, спасибо вам. За все, — сказала Вера и встала. — Уже поздно. У меня нет ночного пропуска.

«Ну вот и конец! — с горечью подумал Валицкий. — Сейчас она уйдет, и я останусь один. Без Маши. Без Анатолия. Один...»

— Я провожу вас, — сказал он неожиданно, — до трамвая.

Они вышли на темный Невский и направились в сторону Литейного, там Вера должна была сесть на трамвай, идущий к Нарвской заставе. Ниоткуда не пробивалось ни единой полоски света, только изредка вспыхивали на мгновенье затененные фары автомашин.

На улице было мало прохожих, а те, что встречались, шли торопливо и молча.

— Можно мне взять вас под руку? — неожиданно спросила Вера.

— Да, да, конечно, Верочка, — несколько удивленный, поспешно ответил Валицкий.

Он почувствовал прикосновение ее руки. Она даже слегка прижалась к нему, точно ища защиты от какой-то, лишь ею одной ощутимой угрозы.

«Или это мне показалось?» — подумал Валицкий.

Но нет. Это ему не показалось. Здесь, в темноте, она и впрямь искала защиты у этого старого, странного человека. Здесь он не видел ее лица, ее слез. Она могла не бояться его расспросов...

Они молча дошли до Литейного. Вскоре подошел трамвай. Его освещенный синим фонариком номер можно было разглядеть только вблизи. Внутри вагона тоже горели тусклые синие лампочки.

— Прощайте, Федор Васильевич, — чуть слышно проговорила Вера.

— Вы будете мне звонить, да? — сказал Валицкий, с усилием произнося слова. — Вы будете помнить, что я один, совсем один... Впрочем, наверное, я скоро вернусь в ополчение. И все-таки...

Он не договорил. Раздался звонок трамвая, и Вера вошла в вагон.

...Некоторое время Федор Васильевич молча стоял один. Откуда-то издалека доносились звуки радио. Он

прислушался. «Врагу удалось...» — говорил диктор, но дальнейших его слов Валицкий не разобрал.

И вдруг его охватил приступ жестокой, всепоглощающей злобы. Ему хотелось своими руками убивать, душить, уничтожать тех, пришедших из страшного, чужого мира извергов, которые топтали, заливали кровью его родную землю.

«Так почему же я здесь, а не там, где должен, где обязан быть?! — с отчаянием подумал Валицкий. — В Смольный! Завтра же в Смольный!»

Глава XV

Итак, во второй половине июля Гитлер объявил, что считает своей главной целью захват Украины и Ленинграда, Москва же «может подождать».

...Пройдет много лет, бесславно для Третьего рейха закончится война, и оставшиеся в живых немецкие генералы объявят «роковым просчетом», «нелепой случайностью», «причиной катастрофы» многие приказы Гитлера, но ни словом не обмолвятся о подлинной причине причин этой катастрофы — о Красной Армии, о советском народе, сорвавшем все планы Третьего рейха.

«Фатальной ошибкой», «упрямством фюрера» назовут они много лет спустя и этот приказ Гитлера, объявивший в июльские дни 1941 года захват Украины и Ленинграда главной целью на данном этапе войны.

«Надо было идти на Москву!», «Фюрер вырвал из наших рук победу!» — станут много лет спустя жаловаться немецкие генералы.

Но отнюдь не характерное для Гитлера упрямство, не стратегический просчет были причинами появления его июльской директивы.

В основе ее лежала обоснованная тревога.

Отчаянное сопротивление, оказанное немецким войскам на Западном фронте, огромные потери фон Бока, опасение, что это сопротивление удвоится, если будет решаться судьба Москвы, — из всего этого неумолимо вытекали роковые вопросы: как быть, если к наступлению зимы ни одна из главных целей войны по-прежнему не будет достигнута? Не вызовет ли это разочарование в войсках? Не поднимут ли головы сотни тысяч новых рабов Германии в порабощенных странах Европы? Не вдохновит ли срыв немецкого блицкрига Красную Армию на еще более отчаянную борьбу за каждую пядь земли? Не превратится ли из символа в реальность антигерманская коалиция?

«На Украину и к Балтике, к Ленинграду!» — вот в чем Гитлер видел выход из создавшегося положения. Следующей на очереди будет Москва, но Москва, уже отсеченная от своих северных и южных коммуникаций, лишенная материальных ресурсов, обессиленная и, стало быть, обреченная. Однако уже ближайшие после подписания этой директивы дни показали, что «тевтонская хитрость» фюрера и на этот раз не принесла желаемых результатов.

Правда, на юге 11-я немецкая армия прорвала оборону советского Южного фронта и, нанеся удар через Могилев-Подольский, выходила во фланг и тыл трем советским армиям.

Однако на Луге все попытки пробить советскую оборону оставались безрезультатными. Ни посещение Гитлером ставки фон Лееба, ни последующие телеграммы и телефонные звонки из «Вольфшанце», ни переброска с запада на север нового танкового корпуса не помогали: Лужская оборона казалась непреодолимой...

Почти целый месяц — с 10 июля по 8 августа — двадцать девять дивизий фон Лееба, тысяча двести самолетов, почти полторы тысячи танков, двенадцать тысяч орудий штурмовали, бомбили и обстреливали укрепления, созданные ленинградцами и обороняемые войсками Северного фронта. И хотя положение Ленинграда с каждым днем становилось все более угрожающим, потому что еще 16 июля финнам удалось прорваться к Ладожскому озеру, разрезав тем самым наши войска на две части, — тем не менее на всей линии Лужской обороны, от Новгорода до Кингисеппа, части Северного фронта стояли непоколебимо.

Около миллиона ленинградцев под непрерывным обстрелом с земли и с воздуха продолжали в июле и начале августа день и ночь возводить все новые и новые укрепления к югу от родного города. Эти оборонительные рубежи проходили в лесах и по топким болотам. Доты, дзоты, противотанковые рвы и железные надолбы преграждали теперь путь врагу не только на дальних, но и на ближних подступах к Ленинграду.

В течение трех недель пехота и танки фон Лееба предпринимали все новые и новые атаки, пытаясь нащупать слабое звено в Лужской линии обороны, усеивая землю Ленинградской области трупами немецких солдат.

И все же судьба этой оборонительной линии была предрешена. Предрешена потому, что сопротивление численно превосходящему и лучше вооруженному противнику не могло продолжаться бесконечно, предрешена потому, что все возможные резервы Северного фронта были уже исчерпаны, а положение на западном и юго-западном направлениях оставалось столь напряженным, что помочь Ленинграду серьезными подкреплениями Ставка Верховного Главнокомандования была не в состоянии.

Восьмого августа, сконцентрировав ударные силы на западном участке Лужской линии, под Кингисеппом, при поддержке крупных сил авиации немцы прорвали нашу оборону. Спустя еще четыре дня им удалось осуществить прорыв и на центральном участке.

Вечером того же дня фон Лееб обратился по радио к войскам.

«Солдаты! — заявил он. — То, что вы видите перед собой, не только остатки большевистской армии, но и последние людские резервы гражданского населения Ленинграда. Город пуст. Еще один рывок, и группа армий «Север» отпразднует победу. Скоро война с Россией будет закончена!..»

Генерал-фельдмаршал лгал. Не «остатки» армии и гражданского населения защищали ленинградскую землю. Город Ленина обороняли десятки тысяч бойцов и народных ополченцев, героически сражались моряки Балтийского флота.

И хотя немцам удалось прорвать нашу оборону,

каждый метр дальнейшего продвижения на север стоил им огромных жертв.

На четвертый день после того, как немцам удалось прорвать Лужскую оборону, советские войска нанесли им сильный контрудар. По приказу Ставки вновь сформированная и переданная Северо-Западному фронту 34-я армия совместно с частями 11-й армии перешла в наступление из района Старой Руссы. Уже в первые три дня боев нашим войскам удалось не только отбросить немцев на несколько десятков километров, но и создать реальную угрозу окружения их группировки, находящейся в районе Новгорода.

Это явилось полной неожиданностью для фон Лееба, сосредоточившего свои ударные силы на противоположном, западном крае Лужской обороны, в районе Кингисеппа. Он срочно перебросил в район Старой Руссы две моторизованных дивизии, послал в «Вольфшанце» паническую телеграмму, требуя новых подкреплений...

Советское контрнаступление на северо-западе привело Гитлера в бешенство. 15 августа он велел перебросить из района Смоленска в помощь фон Леебу моторизованный корпус. В тот же день генштаб сухопутных войск приказал дополнительно передать фон Леебу «возможно большее количество соединений из танковой группы генерала Готта»...

Немецким войскам с огромными для себя потерями удалось отбить советскую контратаку. Но темп их продвижения значительно замедлился.

По 25 километров в день преодолевали немцы до 10 июля. Теперь же им редко удавалось продвинуться более чем на два с половиной километра в сутки.

И все же они продвигались. Непосредственная опасность вторжения врага нависла над Ленинградом.

20 августа на собрании партийного актива об этом со всей прямотой сказали коммунистам Ворошилов и Жданов.

Люди, переполнившие огромный зал, затаили дыхание, когда маршал, взяв в руки деревянную указку, показал на огромной карте Ленинградской области, где проходит сегодня линия фронта. Это была ломаная линия, немцы врезались в нашу оборону клиньями, и от острия одного из этих клиньев — на гатчинском участке — до Ленинграда было всего сорок пять километров.

...Тревожные, горькие мысли владели Ворошиловым в последние дни. Он понимал, что не сумел выполнить возложенной на него титанической задачи — не только остановить врага на дальних подступах к Ленинграду, но и погнать его вспять.

Выдающийся полководец времен гражданской войны, один из строителей и организаторов Красной Армии, комиссар по складу своего характера, по темпераменту, Ворошилов принадлежал к тем коммунистам, которые идут впереди войск и падают первыми с верой в конечную победу и с боевым призывом на устах.

Не жалея сил, пренебрегая опасностью, он появлялся на переднем крае, спал урывками в автомашине, возвращаясь в Смольный, проводил множество различных совещаний с командирами и политработниками, снова мчался в дивизии... Но от военачальника, ведущего сражения с армией, имеющей опыт современной войны, до зубов вооруженной, сегодня требовалось нечто иное...

Сознавать, что он не в силах совершить то, ради чего послан, было для Ворошилова нестерпимо больно.

Думал ли он в эти горькие августовские дни о том, что в создавшихся обстоятельствах поставленная перед ним задача вряд ли была по силам кому бы то ни было?

Он был слишком требователен к себе, этот немолодой человек и старый коммунист. И поэтому не мог даже мысленно переложить на кого-нибудь вину за отступление руководимых им войск.

Резкие слова Сталина, тяжело переживавшего сообщение о том, что немцы прорвали Лужскую линию и продвигаются к Ленинграду, звучали в его ушах. «Специалисты по отступлению!» — бросил Сталин по адресу руководителей Ленинградской обороны...

Но даже отголосок тех горьких мыслей, которые владели Ворошиловым в последние дни, не прозвучал в его речи. Он не скрывал нависшей над городом опасности. И тем не менее все его выступление было проникнуто бодростью и оптимизмом. Он говорил, что у советских войск есть возможность не только задержать продвижение противника, но и уничтожить его. Призывал выпускать больше снарядов, мин и минометов. Утверждал, что «расколотим» врага под Ленинградом...

Не показалась ли эта бодрость чрезмерной Жданову, выступившему на собрании актива после Ворошилова? Не подумал ли он о том, что после речи маршала коммунисты все же не смогут представить себе реальных масштабов опасности, перед лицом которой оказался Ленинград? Так или иначе, но речь Жданова была куда более суровой и горькой.

Он говорил о том, что надо, откинув всякую утешительную фразеологию, готовиться к защите города. Организовать тесное взаимодействие между войсками, защищающими Ленинград на подступах к городу, и артиллерийскими и противовоздушными частями, находящимися в Ленинграде. Немедленно начать обучение ленинградцев правилам и тактике уличной борьбы. Провести такую же мобилизацию населения, как это было сделано в 1918—1919 годах...

«Враг у ворот! — говорил Жданов, и высокий, звонкий голос его, казалось, доходил до самых дальних комнат огромного Смольного. — Либо рабочий класс Ленинграда будет превращен в рабов и лучший его цвет истреблен, либо соберем все силы в кулак и устроим фашизму могилу под Ленинградом...»

...На следующий день в ленинградских газетах появилось подписанное Ворошиловым, Ждановым и Попковым воззвание. Оно начиналось словами:

«Над нашим родным и любимым городом нависла непосредственная угроза нападения немецко-фашистских войск...»

21 августа командующий Северным фронтом Ворошилов получил короткую телеграмму от начальника Генерального штаба. Маршал Шапошников от имени Верховного Главнокомандующего предлагал «срочно представить соображения по плану действий».

Военному совету и штабу фронта было ясно, что

войска фон Лееба пытаются прорвать Красногвардейский укрепленный район, чтобы соединиться с немецко-финскими войсками, наступающими с севера, и начать штурм города.

На следующий день план мероприятий по обороне города был передан в Москву. При этом Военный совет обратился в Ставку с просьбой разделить Северный фронт на два, поскольку при создавшемся положении руководить боевыми действиями непосредственно под Ленинградом и вдали от него — в Карелии, на Свири и у Мурманска — было чрезвычайно трудно.

Ответ Ставки пришел поздней ночью. Верховный одобрил план, обратив особое внимание Военного совета на необходимость надежно прикрыть железнодорожные пути, связывающие Ленинград с востоком. Одновременно сообщалось о разделении Северного фронта на два: Северный и Ленинградский. Задача последнего заключалась в непосредственной обороне города.

Чем еще могла помочь Ленинграду Ставка, руководившая сражением на всем необозримом советско-германском фронте? Войсками? Но только в течение предыдущей недели по приказу Ставки для усиления оборонявших Ленинград войск были переброшены с других направлений три стрелковых дивизии и три авиаполка. Теперь начальник Генштаба сообщал Военному совету Ленинградского фронта, что под Ленинград дополнительно направляются 17 маршевых батальонов.

Кроме того, уже 22 августа на линии Тихвин — Малая Вишера — Валдай — Осташков приступила к боевому развертыванию резервная армия, чтобы ударить по наступающим на Ленинград немцам с востока.

И тем не менее было ясно, что основная тяжесть борьбы за Ленинград ложится на самих ленинградцев.

Вокруг города спешно возводился новый оборонительный вал. Партийные организации отбирали новых добровольцев для партизанской борьбы в тылу врага.

На предприятиях и в учреждениях началось обучение населения приемам и тактике уличных боев. День и ночь заводы изготовляли сборные железобетонные орудийные и пулеметные огневые точки, артиллерийские доты и противотанковые надолбы. Казалось, что руки оставшихся в городе трех миллионов человек сжались в один железный кулак.

Военный совет фронта дал секретное указание подготовить минирование важнейших промышленных и военных объектов Ленинграда...

Пройдет время, и некоторые из тех буржуазных историков, которые в течение 900 дней ленинградской блокады предсказывали неминуемую гибель этого города, станут утверждать, что осенью сорок первого года Ставке и Смольному прорыв врага в город представлялся неизбежным.

Действительно, разве во второй половине августа и в начале сентября в городе не стали готовиться к уличным боям? Разве не сооружались на площадях, проспектах и перекрестках мощные узлы сопротивления, баррикады и огневые точки? И разве Военный совет не дал указаний приступить к минированию наиболее важных военных и промышленных объектов города?..

На все эти вопросы должен быть дан один короткий ответ — да, так было.

Что же касается утверждения, что Ставка и Смольный, да и сами ленинградцы смирились с мыслью о неизбежной потере города, то оно насквозь лживо.

Да, ленинградцы готовились сражаться не на жизнь, а на смерть за каждую пядь земли, за каждый метр каждой улицы, за каждый дом. Да, в сентябре сорок первого года партийное и военное руководство города приняло решение о минировании ряда расположенных в городе объектов. И это было естественным, необходимым, потому что война есть война.

Но, готовясь к самому худшему, защитники Ленинграда знали, что враг может пройти в город только по их телам. Они были готовы умереть, защищая свой город, и непоколебимо верили, что фашистам никогда не удастся его захватить.

...25 августа немцы возобновили наступление вдоль шоссе Москва — Ленинград, сосредоточив для этого три пехотных, две моторизованных и одну танковую дивизию при поддержке основных сил 1-го воздушного флота и авиакорпуса пикирующих бомбардировщиков.

Уже понесшая значительные потери в предыдущих боях, советская 48-я армия оказала врагу героическое сопротивление. Но силы были слишком неравными. Немцам удалось прорвать оборону в районе Чудово и к исходу дня овладеть участком основной магистрали Октябрьской железной дороги от Чудово до Любани.

На следующий день Ставка вызвала к телефону Ворошилова и Жданова. Маршал и член Военного совета не скрывали тяжелого положения, создавшегося после взятия врагом Любани. Они просили оружия. Ставка разрешила использовать для нужд фронта четырехдневную танковую продукцию ленинградских заводов.

29 августа враг захватил Тосно и на следующий день вышел к Неве, перерезав последние железные дороги, связывающие Ленинград со страной.

Но днем позже немцы, убежденные, что теперь никто и ничто не в силах остановить их на пути к городу, встретили упорное сопротивление 55-й армии. С 29 августа по 10 сентября пытался враг прорвать главную полосу обороны Слуцко-Колпинского укрепленного района, но безрезультатно.

Однако на другом направлении, там, где еще 25 августа врагу удалось захватить Любань, положение для защитников Ленинграда создалось неблагоприятное. На участке Мга — Кириши наши войска отошли к северу...

4 сентября стены ленинградских домов внезапно содрогнулись от разрывов. Ни радио, ни гул самолетов не предупредили жителей о воздушном налете. Люди с недоумением глядели на тихое, безоблачное небо...

И никто из них еще не знал, что не бомбы, а снаряды рвутся на улицах города. В тот день немцы, установив севернее Тосно дальнобойные орудия, начали обстреливать ленинградские улицы.

8 сентября враг захватил Шлиссельбург и тем самым замкнул кольцо блокады. В этот же день немецкая авиация произвела первый дневной налет на город...

Все свидетельствовало о том, что немцы готовятся к штурму Ленинграда...

9 сентября, вечером, к смольнинским воротам подъехала легковая автомашина. Из нее вышли три генерала.

Один из них — невысокий, широкоплечий, большеголовый — шел первым. Другие следовали за ним.

Стоявший у ворот часовой потребовал пропуск.

— Я генерал армии Жуков, — сказал тот, что подошел первым, — мы только что прибыли из Москвы.

На какую-то долю секунды часовой растерялся. Рядом с генералом армии стояли генерал-лейтенант и генерал-майор. За всю свою короткую военную жизнь часовому не приходилось иметь дело с командирами таких высоких званий.

Он снова в нерешительности перевел взгляд на Жукова. Тот смотрел строго и выжидающе.

— Не имею права пропустить, товарищ генерал армии! — громко, с каким-то отчаянием в голосе произнес часовой. — Сейчас вызову начальника караула.

— Но это же генерал Жуков!.. — начал было стоявший рядом генерал-лейтенант, но Жуков, не оборачиваясь, прервал его:

— Часовой прав.

Прижимая к груди автомат, боец бросил благодарный взгляд на Жукова и скрылся в будке. Потом показался снова и доложил:

— Сейчас явится, товарищ генерал армии.

Минут через пять появился начальник караула, старший лейтенант. Вытянувшись перед стоящими у ворот генералами, он доложил свое звание и фамилию.

— Я — Жуков, — повторил генерал армии,— со мной генералы Хозин и Федюнинский.

Пухлые губы старшего лейтенанта чуть дрогнули, он еще больше вытянулся и сказал с явным усилием:

— Извините, товарищ генерал, я должен сначала доложить... Имею строгий приказ без пропуска никого не допускать.

— Но это же... — с раздражением начал было генерал-майор, но Жуков прервал и его.

— Идите и доложите, — коротко бросил он старшему лейтенанту.

Тот бегом устремился обратно к подъезду. Прошло не менее десяти минут, пока он вернулся.

Еще за несколько шагов до ворот он поднес руку к козырьку фуражки и произнес:

— Пожалуйста, товарищи генералы!

В подъезде их встретил полковник. Он сделал шаг по направлению к идущему впереди Жукову и начал было рапортовать, но тот прервал его вопросом:

— Где маршал?

— Товарищ Маршал Советского Союза проводит заседание Военного совета, — понизив голос, доложил полковник.

— Ведите! — приказал Жуков.

Полковник торопливо пошел вперед, указывая путь.

На втором этаже у двери кабинета Ворошилова полковник остановился и сказал:

— Я сейчас доложу...

— Не надо! — бросил Жуков и резким движением открыл дверь.

...В большой комнате за покрытым красным сукном столом сидели человек десять. Ворошилов стоял у торца стола. Жданов и Васнецов расположились рядом.

Ворошилов, видимо, что-то говорил, но, когда дверь резко открылась, умолк на полуслове, с недоумением глядя на входящих.

Хозин и Федюнинский, перешагнув порог, остались у двери. Жуков же уверенным, твердым шагом направился прямо к Ворошилову и, подойдя к нему, сказал:

— Здравствуйте, товарищ маршал. Я прибыл.

Ворошилов растерянно смотрел на него, но Жуков уже перевел взгляд на сидящего рядом Жданова:

— Здравствуйте, Андрей Александрович!

Затем он снова повернулся к Ворошилову, опустил руку во внутренний карман кителя и, вынув сложенный вчетверо листок бумаги, молча протянул маршалу.

В абсолютной тишине, воцарившейся в кабинете, Ворошилов развернул листок. Пальцы его дрогнули — он сразу узнал твердый характерный почерк Сталина.

В записке было всего несколько слов, но Ворошилов прочитал ее дважды и трижды, пока до него дошел ее смысл.

Сталин приказывал Ворошилову передать командование фронтом Жукову, а самому немедленно вылететь в Москву.

Конец второй книги

Александр Борисович Чаковский
БЛОКАДА

Зав. редакцией В. ИЛЬИНКОВ Редактор Б. ФИЛЕВ

Художественный редактор Г. Масляненко. Технический редактор Л. Платонова.
Корректор Г. Асланянц
Фото Н. Кочнева

Сдано в набор 19/VI 1970 г. Подписано к печати 4/VIII 1970 г. А10007. Формат 84×108 1/16—7 печ. л. 11,76 усл. печ. л. 17,195 уч.-изд. л. Заказ № 1257. Тираж 2 200 000, 1-й завод: 1—1 200 000 экз. Цена 34 к.
Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» им. А. М. Горького Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР. Ленинград, Гатчинская, 26
Обложка отпечатана на Ленинградской фабрике офсетной печати № 1, Кронверкская ул., 7